Кристина Живульская

Я пережила Освенцим

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Польская писательница Кристина Живульская в 1943 году попала в гитлеровский лагерь уничтожения — Освенцим. Ей удалось выжить. Советская Армия освободила ее. Кристина Живульская решила рассказать людям о зверствах гитлеровцев, о том, что ей пришлось испытать. Так появилась книга «Я пережила Освенцим».

- Кристина Живульская
  - Об авторе этой книги
  - Знакомство с Освенцимом
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
  - Бжезинки
    -
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
  - В огне
    -
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
  - Фронт приближается
    -
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4

Кристина Живульская
Я пережила Освенцим

Моей матери

Об авторе этой книги

Польская писательница Кристина Живульская в 1943 году попала в гитлеровский лагерь уничтожения — Освенцим. Ей удалось выжить, Советская Армия освободила ее. Кристина Живульская решила рассказать людям о зверствах гитлеровцев, о том, что ей пришлось испытать. Так появилась книга «Я пережила Освенцим».

А лет пять тому назад, в один прекрасный летний день, под Варшавой в доме отдыха Союза писателей Польши, расположенном во дворце, который был построен когда-то одним из польских королей для своей возлюбленной, звонкий женский смех разбудил меня от послеобеденного сна. Я раскрыл окно, и вместе с солнечной зеленью парка и стрекотаньем кузнечиков в лицо мне ударил жизнерадостный смех незнакомой женщины. Она разговаривала с моим другом, польским поэтом. Она заметила, что я смотрю на них, и, еле сдерживая смех, обратилась ко мне:

— Простите, мы, кажется, вас разбудили? — и протянула руку.

Так я познакомился с Кристиной Живульской. На ее руке чуть выше запястья я увидел клеймо — цифру из пяти знаков. Она сделала вид, будто не заметила, с каким вниманием я смотрю на это клеймо.

Мы очень быстро подружились. Не подружиться с ней невозможно. Она любит смеяться и смешить других. Смех для нее — все равно что холодное освежающее вино в жаркий летний день. А ее потребность смешить похожа на гостеприимство хозяйки, угощающей гостей теплом и дружбой своего дома в морозный зимний день.

Кристина Живульская — писатель-юморист, носящий на своей руке знак Освенцима, даже гитлеровцы не могли отучить ее смеяться. С ее юмористическими рассказами вы можете познакомиться, прочтя небольшой сборник «Золотая рыбка», изданный на русском языке библиотечкой «Крокодила» в 1959 году.

Родилась Кристина Живульская в Лодзи, там окончила гимназию, потом училась на юридическом факультете Варшавского университета. В Варшаве во время войны она была связной подпольной организации Польской рабочей партии. В 1943 году гестаповцы арестовали ее.

Я помню, как она говорила, что никогда не собиралась стать писательницей. Первое свое произведение — стихи — она создала

в лагере. Почему она их написала? Как могла она иначе выразить свою ненависть к фашистским палачам? Как могла она иначе противостоять смерти и жестокости эсэсовцев? И вот слова сами слагаются в строки:

Людям, живущим в двадцатом веке,
Можно ль так думать о человеке?
Можно ли бросить живых в могилу,
Употребляя так гнусно силу?
Кто же поверит в такие басни?

Я знаю, какую огромную силу представляют стихи в нашей борьбе против смерти, отчаяния, предательства, против самых невообразимых жестокостей. Один из товарищей Кристины Живульской рассказывал мне, что ее стихи спасли жизнь многим людям и прежде всего, конечно, ей самой.

В 1947 году вышла ее книга «Я пережила Освенцим». Она переведена на многие языки. Совсем недавно я прочел ее на французском. Книга Живульской об Освенциме сильна своей правдой, верой в то, что гитлеровские ужасы не повторятся — человечество не допустит этого.

Назым Хикмет

Знакомство с Освенцимом

Глава 1
Первый день

Павяк, камера 44. Одна из заключенных гадает мне на картах. Казенный дом, дорога, крест… — говорят карты. Глаза всех устремлены на гадалку. Тяжелые предчувствия гнетут нас. Мысли вертятся вокруг одного — пересылка в Освенцим!

Тому, кто не сидел в тюрьме, трудно понять этот страх перед переменой. Разве не известно, что и в Павяке расстреливают, немилосердно бьют, что и здесь поедом едят блохи? И все же мы панически боимся пересылки.

Временами, когда наступала тишина, до Павяка долетал отдаленный скрежет рельсов, звон трамваев — отголоски жизни города. В Павяке можно было получать «почту» из дому, от возлюбленного. Верно, в Павяке били, но ведь это били в Варшаве, и уже только поэтому побои переносились легче. И хотя никто из узников гестапо не мог и помышлять о выходе на свободу, нам достаточно было сознания, что отсюда всего лишь шаг к свободе. Но уж если увезут отсюда… конец всему. Да еще… в Освенцим! Все мы по-разному представляли себе это место. У каждой были свои ассоциации, свои случайные сведения. Как там на самом деле — мы не знали и не хотели знать.

Одно только было всем нам хорошо известно — оттуда не возвращаются!

Гадалка наблюдала настроение в камере и читала дальше по засаленным картам Дальняя дорога… по камням… и крест каменный, и что удивительно — всем выпадает одно и то же…

В камере тишина. И как бы в ответ на эту тишину лязгнули ключи. В дверях появился эсэсовец по прозвищу Вылуп — лупоглазый, — один из тех, кто наводил ужас на весь Павяк. Вид этого человека мог предвещать только смерть. Наши предчувствия и слова гадалки начали сбываться. Он перечисляет фамилии. Меня вызвал третьей. Я вышла из камеры, провожаемая скорбными вздохами остальных. Вот оно… Свершилось.

Рядом со мной стояла Зося, бледная, с посиневшими губами. Я попыталась улыбнуться.

— Ну что ж, ведь не на смерть же.

— Ты думаешь?.. Не на смерть, так на мучения, а это хуже.

— Ты надеялась, что тебя освободят? И там ведь люди живут. Мы едем вместе, это самое главное. Держись, на нас смотрят другие, не надо, чтобы у нас были печальные лица.

— Ты права, это я только так — в первую минуту. Мне писали

из дому, что хлопочут…

— И ты ведь веришь, что они смогут помочь?

— Я все время тешу себя надеждой.

— Ну, так будем и дальше надеяться, что продержимся, все-таки и от нас это немножко зависит…

— Я даже думаю, что от нас многое зависит…

Она произнесла эти слова как автомат.

— Ну, улыбнись.

И Зося улыбнулась. В эту минуту мимо проходил Вылуп. Он так на нее взглянул, что мне показалось — сейчас ударит. Но, махнув рукой, он пошел дальше.

Нас погнали в пересыльную камеру. Там уже были заключенные из других камер и этажей, из изоляторов и карантина. Те, что отсидели в Павяке год, думая, что о них уже совсем позабыли в гестапо, и те, что прибыли всего месяц назад, с еще не угасшим в душе чувством свободы. На них еще видны следы загара, следы солнца, которого в камерах Павяка нет и в помине.

В пересыльной одни горячо молились, другие старательно припоминали подробности об Освенциме и вообще о лагерях. Третьи пытались шутить. Это был, как говорится, юмор висельников.

— Ну, там уж тебя причешут на загляденье, известно, ведь в лагерях бреют наголо.

— Там на тебя навесят номерок, чтоб не потерялась.

— Что-что, а уж добродетели твоей там ничего не угрожает, с мужчинами и разговаривать не разрешается…

— Заткнитесь, — сквозь зубы буркнула Стефа.

Стефа плакала не переставая. Дома у нее остался маленький сын, и она не могла примириться с мыслью, что может никогда больше его не увидеть. Она говорила мне, что ее преследуют глаза ребенка, словно упрекают за то, что она дала себя увести, — она, мать, растерялась перед этими убийцами. Глаза ребенка, его протянутые ручонки ни на минуту не давали ей забыться. Стефа была близка к помешательству. Сжимая мои руки, она повторяла сквозь слезы:

— Что он там сейчас делает, мой маленький? Ждет меня. Боже, как известить моих близких, что меня переводят в другое место!..

Мучительно было слушать все это. Что ответить ей? Так же думала и я о своих родных. Как они узнают, что меня отправили?.. Я представляла себе маму: вот она бежит к надзирателям, передает посылки, а ей возвращают их, — и спазма сжимала мне горло.

— Стефа, нельзя так убиваться, не мы одни… ведь война!

Ничто не помогало. Я окинула взглядом камеру. Смолкли шутки и оживленные разговоры. Все больше плачущих вокруг. Была минута, когда казалось, что стены не устоят перед этими раздирающими душу рыданиями, вот-вот рухнут и выпустят нас на свободу.

Но стены не рухнули, чуда не произошло. Вместо этого безумие охватило пани Павлич. Она выбежала на середину камеры, размахивая руками, лицо ее исказилось в ужасной гримасе, глаза горели неистовством.

— Знаете, куда везут нас? Развлекаться. Такого веселья вы еще не видали. Я беру с собой новую шляпу. Смотрите, туда едут самые красивые молодые женщины. Мы будем танцевать, когда заиграют. Вот увидите сами… увидите…

Пена выступила у нее на губах, взгляд стал неподвижным — мы уложили ее на койку. Долго еще издавала она безумные вопли, наконец смолкла.

— Ну, девушки, помолимся и попробуем заснуть. Завтра нас ждет далекий и нерадостный путь.

Все опустились на колени. Из другой камеры доносилась вечерняя молитва. Сквозь узкую решетку вверху в камеру заглядывала душная августовская ночь. Где-то так близко — и так далеко! — по берегу Вислы гуляли люди. Где-то близко — и так далеко! — спит малютка сын Стефы. Где-то так близко и в то же время так далеко лежит без сна моя мама…

Трудно было заснуть в ту ночь.

В шестом часу — вошел Вылуп, приказал выходить. Немедленно. Вот так, в чем стоим. По пересыльному листу сделали перекличку. Все были на месте. Затем нас вывели. Собаки Павяка заливались бешеным лаем. Никто из нас не успел взять ни хлеба, ни даже верхней одежды. Ведь этот палач сказал, что мы еще вернемся, что нас только пересчитают. Одежда, добытая с таким трудом, запасы, собранные подругами, не попавшими в этот транспорт, — все это осталось в пересыльной камере.

Испуганные, невыспавшиеся, голодные, мы вышли во двор Павяка. В окна глядели бледные лица мужчин — их тоже отправляли, около восьмисот человек. Готовился к отправке большой транспорт.

Тучный эсэсовец выстраивал нас пятерками, пересчитывал, осыпая ругательствами. Я держалась рядом с Зосей. Изо всех сил старалась не нервничать, но это было так трудно… Наконец грузовики повезли нас на вокзал.

Через город мы ехали под конвоем жандармов, вооруженных винтовками, в касках. Люди шли на работу; со страхом поглядывали они на переполненные грузовики — не увидят ли знакомых? Я смотрела на этих счастливцев, которые свободно ходят по Варшаве. Может быть, пройдет кто-нибудь из близких, может быть, крикнет вдогонку… Но никто не прошел, не крикнул…

Нас погрузили в товарные вагоны для скота, заперли дверь, забили оконца.

— Теперь мы заживо погребены, — простонал кто то.

Вагоны перегоняли с одного пути на другой, отцепляли и вновь прицепляли, наконец поезд тронулся.

Не знаю, как это случилось, но без всякого уговора из всех углов вдруг раздалось пение:

Не погибла наша Польша…

Поезд мчался все быстрее, заглушая песню. Он выстукивал только одну пугающую правду, не давая забыть о цели путешествия: «В Ос-вен-цим! В Ос-вен-цим!».

Часов в 10 вечера поезд остановился среди поля.

— Выходить!

Отперли и наш вагон, и снова лай псов, бросающихся на нас, воющих, беснующихся.

И снова пятерками шли мы вперед, подгоняемые окриками эсэсовцев. Шли молча.

Впереди уже виднелся лагерь. Он приближался. На пути перед нами — колючая проволока и словно повисшие в воздухе будки часовых. Мы шли по-солдатски, в ногу, и каждый шаг отдавался в мозгу.

— Так вот это что, вот как это выглядит!..

Я посмотрела на Зосю. Голова ее была странно поднята, губы сжаты. Она знала, что я смотрю на нее, и боялась взглянуть на меня. В эту минуту мы шагнули за ворота лагеря. Я отвернулась. Старалась постигнуть умом: «Я в лагере. Это — Освенцим, лагерь уничтожения, — отсюда нет возврата».

— Мы вошли в ад, — сказала Зося каким-то не своим голосом и с горькой усмешкой добавила — Нас будут поджаривать на сковородках, как ты думаешь?

— Думаю, что погибнем как-то иначе, не знаю только как. Лучше не задумываться. Не смотри вверх, на проволоку. Видишь, бараки, там спят люди, такие же, как мы, взгляни, сколько этих бараков; утром начнется работа, ночь ведь не длится вечно. Подумай над этим… Может быть, кончится война… Постараемся

продержаться, может быть, когда-нибудь в такую же ночь проснешься — и не будет вокруг ни проволоки, ни собак, ни бараков, будет лес, а может, город, далекие просторы… Ради такой минуты… разве не надо стараться все перетерпеть, чтобы дождаться их поражения?

— Конечно надо, но как это мало зависит от нас!

— Там будет видно… Зося, мы должны дать себе слово, что ничто не сломит нас… ничто.

Нас ввели в барак. Мы легли на полу, мы — Зоей, Стефы, Ганки, мы — узницы Павяка, нас роднили и сближали страдания, страх и дружба. Одна и та же мысль настойчиво преследовала всех, не давала ни заснуть, ни даже лежать спокойно.

«Что принесет нам завтрашний день?»

Кто в детстве не слушал сказок? Почти в каждой сказке появляется злой дух. Какая-нибудь баба-яга, скачущая на помеле. Если бы такую сказочную бабу-ягу перенести в действительность, она, конечно, была бы похожа на эту вот немку с черным треугольником{Треугольник с номером — винкель — указывал национальность и род преступления. Например, красный треугольник с буквой «П» означал польку, политическое преступление. Случалось, что красный винкель определяли за контрабанду, за нелегальный переход границы — это зависело от местного гестапо. Еврейки носили звезду, уголовники — зеленый треугольник, а так называемые «асо», то есть «асоциальные», — черный. «Асоциальными» были проститутки, а также все те, кто в течение нескольких дней не выходил на работу. — *Прим. автора.*}.

Я начинаю с черного треугольника и немки потому, что она произвела на нас страшное впечатление. В бараке, куда нас ввели, она сидела на табуретке, раскорячив ноги, с палкой в руке, жирная, одутловатая, непостижимая. Никто из нас не решался подойти к ней. Наконец нашлась одна отважная и спросила по-немецки:

— Нам дадут поесть?

Каждая в эту минуту задала бы только этот вопрос. Мы были страшно голодны.

Немка не расслышала или не пожелала услышать.

Кто-то повторил вопрос:

— Когда нам дадут поесть?

Баба-яга каким-то звериным жестом поскребла под мышками, переложила палку из одной руки в другую (несколько девушек на всякий случай отодвинулись подальше) и вдруг стала смеяться, вернее, рычать мужским, пропитым, охрипшим голосом:

— Ха-ха, уже жрать захотели, проклятые свиньи! Что вам так не терпится, может, рассчитываете, что получите какао и булку с маслом? Я столько лет не жрала, а еще вот смеюсь.

При этом она все время чесалась и размахивала палкой. В тусклом свете лампочки немка эта казалась каким-то чудовищем.

Зося так комично зажмурилась, что я не удержалась от смеха.

— Ущипни меня, — попросила она. — Не сон ли это? Кто это? Женщина?

— Кажется, да… Может, и она была когда-то нормальной, может, и у нее был дом, может, это здесь она так одичала…

— Значит, ты хочешь сказать, что и мы дойдем до такого состояния?

— Нет, мы до такого состояния дойти не можем и потому погибнем.

Та храбрая, что выступила первой, не растерялась и задала бабе-яге новый вопрос:

— Разве здесь сразу умирают?

— Зачем сразу? Я вот уже восемь лет сижу, еще до войны сидела, и жива, но из нашей группы в девять десятков людей уцелела одна я.

Это она произнесла почти человеческим голосом. Мы были потрясены. Каждая подумала об одном и том же — нас 190, сколько же останется в живых через год, через два?

— А отчего поумирали?

Баба-яга обратила мутный взгляд в сторону спросившей.

— От насморка, дурища ты этакая! — Внезапно она поднялась с табуретки и снова зарычала: —От смерти! В концентрационном лагере умирают от смерти, понимаешь?.. Не понимаешь, так, наверно, поймешь, когда сдохнешь.

Зося прикрыла глаза: она поняла ответ, не зная языка. Я сжалась, как от удара. Баба-яга опять уселась, бормоча что-то себе под нос. Мы больше не задавали вопросов. Никто не осмелился.

— Ну… вот мы уже кое-что и знаем… — сказала я громко. — Если все будет таким же, как это начало, то две недели прожить можем.

До утра никто не произнес ни слова.

Утром отворилась дверь барака. Голодными глазами, измученные, смотрели мы на пробуждение дня в Освенциме. В барак заглядывали странные фигуры в полосатых халатах, с бритыми головами. Минуту спустя они отходили, тяжело волоча ноги в огромных деревянных башмаках-колодках. Кто-то спросил по-польски — не из Павяка ли, мы, есть ли среди нас такие-то и такие-то. Кто-то вышел и спугнул эти полосатые тени. Вот так будем выглядеть и мы. Можно было и не объяснять ничего.

— Тебе страшно? — спросила я Зосю. — Жаль волос?

— Ничего мне не жаль, хочу только есть. Когда же нам дадут поесть?

Нас выстроили в ряды на татуировку. Несколько человек упало в обморок, иные кричали. Пришла моя очередь. Я знала, что эта боль, которая продолжается одну минуту, пустяк в сравнении с тем, что нас еще ждет, что будет продолжаться, может быть, годы.

Заключенная с очень малым номером и красной нашивкой без «П» (фольксдейчка) взяла мою руку и начала выкалывать очередной номер: 55 908. Она колола меня не в руку, а в сердце — так я это ощущала.

С этой минуты я перестала быть человеком. Перестала чувствовать, помнить. Умерла свобода, мама, друзья… Не было у меня ни фамилии, ни адреса. Я была заключенная номер 55 908. С каждым уколом иглы отпадала какая-то часть моей жизни.

Зауна — это помещение, через которое должны пройти все заключенные для «обработки от вшей». Лагерное начальство держится непреложного мнения, что каждый, кто попал сюда из тюрьмы или с воли, — вшивый. Мы еще тогда не понимали лагерной терминологии, только слышали постоянно повторявшееся зауна, в зауну. Туда нас и отвели. У стола сидели тоже заключенные со старыми номерами, в черных фартуках. У них уже отросли волосы на голове. Они переписывали нас, отбирали на хранение документы и одежду. Вдруг в окне показалась бритая голова. Мы узнали в ней нашу подругу из Павяка, отправленную сюда с предыдущим транспортом.

— Свитер, — произнесла она тихо и отчетливо.

— Чего она хочет? — спросила Зося.

— Просит дать ей свитер. У нас ведь через минуту отберут, а она мерзнет.

— Но ведь нельзя.

— Здесь, наверно, все нельзя, но все-таки хочется жить…

Зося быстро сияла с себя свитер и просунула в окно. В ту же минуту она получила удар во лицу. Перед нами стояла немка-надзирательница в эсэсовском мундире, в руке у нее был свитер, она размахивала им, крича:

— Небось, когда будешь возвращаться домой, начнешь скандалить, где, мол, мои вещи… ты… — и полился поток непередаваемых ругательств.

Зося держалась за пылающую щеку, в глазах у нее сверкали опасные огоньки.

— Успокойся, Зосенька, ты слышишь, она сказала… когда

будем возвращаться домой… это значит, что такая возможность все же не исключена.

— Нет, правда, Кристя, она так сказала?

— Клянусь нашей свободой…

Зося рассмеялась.

— Ну вот, видишь. А к пощечинам надо привыкать, это, наверно, не последняя. В конце концов не так уж и больно.

«Не больно, — подумала я. — Ах, если бы можно было в ответ влепить в рожу этой зеленой обезьяне, если бы когда-нибудь…»

Нас раздели, кто-то бросил наши вещи в мешки, кто-то переписал анкетные данные, еще кто-то толкнул вперед. Передо мной сидела Зося, совершенно голая, одна половина ее головы была уже обрита, на другой волосы еще лежали волнами. В руках молодой девушки, склонившейся над нею, поблескивала машинка.

— Не смотри, — просила Зося.

Вскоре пришла моя очередь, и волосы мои посыпались на плечи.

Зося стояла около меня.

— А знаешь, тебе даже очень идет, только нос стал в два раза длиннее. Боюсь, что не скоро твои золотые кудри привлекут какого-нибудь мечтателя…

Мы старались шутить, но выглядели настоящими уродами. И все стали похожи одна на другую. Никогда я не думала, что волосы придают столько индивидуальности. С трудом можно было узнать знакомые лица. Когда я вошла в зал, меня встретили смехом. Я почувствовала себя оскорбленной.

— Что вы смеетесь, думаете, вы красивее? Тут сама Грета Гарбо потеряла бы все свое очарование.

— Я предпочла бы быть бритой Гарбо и сидеть теперь в Голливуде.

— Ох, — простонала Зося, — там по крайней мере наверняка дали бы что-нибудь поесть.

Двое суток у нас ничего не было во рту, даже пить не давали.

Где-то рядом слышался шум воды. Я обратилась к проходящей заключенной из числа обслуживающих зауну.

— Простите, можно пить эту воду?.

— Пить можно, но получить дурхфаль тоже можно.

— А что это «дурхфаль»?

— Будешь слишком умной, если сразу все узнаешь. Еще познакомишься со всем, успеешь, не беспокойся.

Наконец нас допустили к этой воде. Она лилась сверху, из душа. Мы пили ее и мылись, конечно без мыла. Купание продолжалось три минуты, после чего нас погнали в следующий

зал. О полотенце нечего было и мечтать. Раздали белье и полосатые халаты. Мне попалась рубашка, вся в каких-то лохматых желтых полосках. Оказалось, это засохшие гниды. Я с отвращением отбросила рубашку, за что мне тотчас же влетело от раздатчицы.

— Надевай, идиотка, закоченеешь во время переклички.

— Не закоченею, ведь август.

— Эх ты, глупый «цуганг»{Цуганги — вновь прибывшие. — *Здесь и далее примечания переводчика.*}, еще узнаешь, как можно замерзнуть в августе.

Я протянула ей рубашку и рискнула спросить;

— А может, ты мне заменишь?

— Ладно, вот тебе другая. Что в той, что в другой, все равно долго не протянешь.

Эта рубашка была лучше, на ней хотя бы не видно гнид.

Халат мне попался слишком длинный, а Зосе до колен. Мы поменялись. Зося с удовлетворением заметила:

— Ну вот, видишь, не так уж все плохо, тебе дали чистую рубашку, халаты теперь в самую пору, а как сидят! Только бы еще шнурок да стянуть его в поясе.

Нам швырнули деревянные колодки. Мы никак не могли к ним приспособиться, и Зося не переставала острить:

— Ножки в них ничуть не хуже, чем в варшавских туфельках. Ко всему можно привыкнуть.

Еле волоча ноги, мы прошлепали дальше. Теперь на нас уже лагерный наряд. То и дело мы оглядывали себя, смотрели на свой номер, на ноги, хватались за бритую голову.

После нескольких часов стояния на ногах, пересчитывания, перестраивания по пятеркам — все это сопровождалось пинками и ударами палок — мы получили порцию хлеба (150 граммов) и суп из мороженой брюквы с каким-то клейким осадком. Нам объяснили, что суп — это обед, а хлеб — ужин и завтрак. Следующая выдача пищи, то есть такой же суп, будет только завтра в двенадцать.

В ту минуту мы не задумывались над тем, что будет завтра. Мы сразу проглотили и хлеб, и суп. Я взглянула на подруг, на себя, и мне стало ясно, что за истекшие 24 часа нас успели превратить в животных. Неужели мы когда-то ели за столом, пользовались вилкой?

Пятерками нас повели в карантинный барак. Я осматривалась вокруг. Повсюду полосатые халаты, такие же, как мы. Заключенные по двое несли носилки с кирпичом, они шли медленно, а рядом покрикивал черный винкель:

— Ну, двигайтесь живее, проклятые, черт бы вас побрал!

Кто-то толкал посреди улицы воз с нечистотами. За возом шла, прихрамывая, немка с черным винкелем. Это была знаменитая тетка Клара, «капо»{Низшее лагерное начальство, бригадир рабочих команд.}. Картина была словно выхвачена из средневековья. Тетка хриплым голосом вопила, размахивая палкой:

— Иди, иди, старый лимон… Не видишь, дерьмо валяется, подними.

Заключенная вернулась и стала что-то поднимать, но тут же получила палкой по спине. Тетка Клара не умолкала:

— Не нравится вам у меня работа? Может, воняет?.. Сейчас преподнесу вам духи Коти.

— Не хотела бы я к ней попасть, — проговорила Зося.

— Думаешь, у другой будет лучше? По-моему, она еще не самая плохая…

— Но такая работа… Кристя?

— Уж лучше толкать вместе со всеми этот воз, чем одной таскать кирпичи. А впрочем, кто знает, где тут лучше.

Нас привели к какому-то бараку. Приказали остановиться. К нам подошла еврейка с красной повязкой на руке, с номером: блок 21. Та, что нас привела, сообщила блоковой, сколько нас, и ушла.

Позже я узнала, что блоковые вербовались преимущественно из словацких евреек. Их привезли сюда с одним из первых транспортов, их руками строили лагерь. Здесь тогда были только рвы, болота да несколько бараков. Много заключенных полегло на этой постройке. Из 50 тысяч человек выжило лишь несколько десятков. Уцелевшие — ясное дело — заполучили «посты». Эти уже забыли, что был у них когда-то дом, своим домом считали лагерь и на новое пополнение заключенных смотрели равнодушно, пренебрежительно. Могли ли мы что-нибудь знать о пережитых ими страданиях? Конечно, ничего. Тогда еще ничего…

Перед бараком раздавали обед. Мы уже получили свои порции в зауне. У бочки толстая Юзка, «штубовая»{Помощница блоковой.}, похожая больше на поросенка, чем на человека, зачерпывала горшком и наливала суп каждой из стоящих в очереди.

— Подходите живее, скоты! Как ты держишь миску, раззява? А ты чего стоишь, мало тебе? Иди, не то так стукну, родной жених не узнает.

Да… это была полька с черным винкелем.

— Поганая интеллигенция, — продолжала рычать Юзка. — «Извините, пожалуйста», — передразнивала она некоторых. — Не

умеешь по-человечески говорить, потаскуха, так научись.

Вдруг мелькнуло знакомое лицо. Я узнала Ганку, прелестную Ганочку, вывезенную из Павяка с предыдущим транспортом.

— Как поживаешь, Ганка? Да не запихивай ты так в рот, ведь подавишься! Придется, видно, учиться здешнему языку, — пояснила я Зосе.

— Кристя! Зося! — воскликнула Ганка.

Она бросилась к нам, стала целовать.

— Кто еще с вами, говорите: Стефа, Марыся здесь?

— Здесь.

— Вот чудесно!

— Так ли уж это чудесно?

— Ну, конечно. Понимаешь ли, вместе веселей. Не так страшно. Разве я плохо выгляжу? Настроение, видите, хорошее, каждый день в поле, загорела, прекрасные новости, война скоро кончится…

И правда, Ганка, даже без ее великолепных светлых волос, была, пожалуй, единственной, которая выглядела сносно. Впрочем, волосы у нее уже отросли сантиметра на два. Она казалась красивым мальчиком. Ганка неустанно болтала, и голос ее звучал звонко, беззаботно.

Мы с Зосей смотрели и изумлялись, откуда у нее этот безмятежный тон, этот не имеющий никаких оснований оптимизм.

— Знаете, самое тяжелое — это апель, проверка. Но мы построимся своей пятеркой и будем болтать, сколько душе угодно. Со жратвой обстоит хуже, но если работаем, то по вторникам и пятницам получаем добавку — хлеб и колбасу.

— А когда можно будет написать домой?

— Говорят, через месяц, да черт их знает.

— Через месяц… Когда же придет первая посылка?

— Ах, дома сами догадаются, пришлют, не дожидаясь письма, вот увидите. Номер не обязательно им знать, достаточно указать фамилию и лагерь… Я, наверно, получу, только бы прислали луку. Знаешь, за лук можно подкупить и блоковую, и штубовую, еще и для себя останутся витамины.

Минуту спустя она что-то вспомнила:

— А как там, в Павяке — многих пустили в расход?

— Расстреляли, Ганочка, несколько наших подруг. Там убивают ежедневно, ты же знаешь.

— Да, знаю. Вот хотя бы поэтому здесь лучше. Все же есть чем дышать. Говорю вам, в поле, когда выйдешь за проволоку, прекрасно. Мы собираем крапиву на суп; жжет руки, но к этому-то можно привыкнуть. Здесь хоть не расстреливают, а бьют наши же,

бьют заключенные, не надо поддаваться, меня еще ни одна не ударила, пусть попробуют…

Зося внимательно слушала. Я видела, что она старается усвоить эту лагерную мудрость.

— Конечно, не надо позволять. Меня сегодня избила эсэсовка, не хватало еще, чтобы от заключенных терпеть…

— Когда нас впустят в барак? — спросила я. — Когда разрешат лечь? Мы так устали.

— Надо набраться терпения. Здесь целый день на «визе», это вроде луга, можно сидеть, если сухо. Только после вечернего апеля впустят в барак. Постарайтесь найти себе место около нашей «кои».

— А что это?

— Это нары, на которых спят. Конечно, на них не слишком удобно. Но что же делать, солдаты ведь спят в окопах, да еще пули свистят над ними. Надо всегда помнить, что может быть еще хуже. Здесь эта истина помогает.

— Да, в этом я уже убедилась. Сколько женщин в таком бараке?

— Пока что больше восьмисот. Когда наберется тысяча, карантинный блок считается заполненным. Еженедельно делают противотифозные прививки. Собственно говоря, в карантине только этим дело и ограничивается. На временные работы внутри лагеря хватают из блока или с этого луга. По окончании карантина переводят за ворота, в лагерь Б, а там уже работают постоянно, идут за проволоку… в поле, на аусен, то есть за пределы лагеря.

— А что за работа в поле?

— Роют рвы, обрабатывают землю, сажают свеклу, — все здесь вокруг принадлежит лагерю. Ведь лагерь — «самоокупаемое хозяйство». Делается очень много бессмысленной работы, только чтобы мучить, но что поделаешь, мы ведь в лагере, не на курорте… Ну, привет, девушки, до вечернего апеля.

Нас погнали за барак, на луг. Почему это назвали лугом, трудно было понять. Может быть, когда-то это и был луг. Теперь здесь группами стояли или сидели — кому как нравилось — заключенные из карантина — цуганги в полосатых халатах. Мы с Зосей бродили по лугу. До нас долетали обрывки разговоров — везде одно и то же.

— Откуда ты? Когда приехала? Можно здесь как-нибудь жить? Что за блоковая у тебя? Очень бьет? Работать ходишь?..

Мы встретили наших, из Павяка: Нату, Марысю, Стефу, Янку.

— Как странно, — говорила Янка, — после одиночки в Павяке здесь я чувствую себя хорошо. Есть с кем поговорить.

Ната, тоже сидевшая в одиночке, согласилась с ней: и она чувствовала себя здесь лучше. Меня это не удивило. В Павяке Нату изо дня в день водили на допрос в гестапо и приносили избитую, без сознания. Каждое утро я, приложив ухо к глазку, слышала, как ее вызывали. В других камерах тоже прислушивались и уже знали — Нату опять взяли. Вернется ли она? В каком состоянии? И она возвращалась — в синяках, с опухшим лицом, но всегда улыбалась мягкой, лучезарной улыбкой. И неизменно повторяла: «Все хорошо». Одну эту фразу. Что, собственно говоря, было хорошо — мы не могли понять, но, когда она это говорила, мы верили ей. И теперь она сказала с той же улыбкой:

— Все хорошо.

Янка в Павяке стеклом перерезала себе вены. Потеряла много крови. Когда утром открыли дверь одиночки, ее нашли полуживой, отправили в больницу. Затем ее отправили в Освенцим. Как она радовалась, что следствие кончилось, что мужа ее, который скрывался, не нашли, что ее маленькая дочка в надежном месте.

— Не знаю, почему я тогда это сделала, — говорила она. — Поверь мне, Кристя, это было слабостью. В другой раз я так глупо не поступлю. Подумать только, ведь я могу еще вернуться к своей маленькой… к своему мужу.

— Мы наверняка вытерпим, — утешала Алинка, «невеста», героиня свадьбы, имевшей такой печальный конец. В костеле св. Креста арестовали даже всех приглашенных на венчание, и Алинка, прямо из костела, с цветами, попала в Павяк. Она говорила мало, но каждое ее слово имело вес. На нее всегда было приятно смотреть.

— Ну, если Алинка утверждает, что мы вытерпим, в таком случае больше не буду реветь (Стефа не переставая плакала).

— Стефа, перестань, — просили мы все. — Видишь, мы держимся, не надо падать духом, постараемся научиться жить лагерной жизнью. Так надо — там должны справиться без нас, а наш долг — выжить.

— Это верно, но не могу я, поверьте, не могу. Ну потерпите, я возьму себя в руки.

Марыся, подруга Стефы, тоже увезенная в числе гостей со свадьбы, гладила её по голове и успокаивала как ребенка.

— Ну, стыдись, такая большая, у тебя уже и сын большой, а ревешь, ну, тише, тише…

Сильно грело солнце, грубый халат раздражал кожу. Мы еще не научились так долго сидеть на земле и все время беспокойно

ерзали на месте.

Зося вздохнула:

— Когда наконец будет этот апель, когда мы ляжем?..

— Терпение, — усмехнулась Ната, — нас позовут.

Мы осматриваемся вокруг. Тут, на лугу, слышатся все языки: греческий, французский, немецкий, польский.

К нам подошла молодая девушка.

— Вам, может, нужен платок на голову?

— А что за него хочешь?

— Одну порцию хлеба.

Зося оживилась:,

— Можно купить.

— Если у тебя хватит воли не съесть хлеб на ужин, а когда получишь посылку, ты сможешь много вещей купить здесь, на лугу. Мы, еврейки, не получаем посылок: нам нельзя, да и не от кого, у нас всех замучили, удушили газом. И все-таки мы хотим жить. Удивляетесь, правда?

— Нет, чему тут удивляться, ты ведь молодая. Но здесь, видно, притупляется и желание жить, а покончить с собой тоже, наверно, нет сил… просто ждешь смерти.

— Все это так, но мучаешься от этого не меньше. Вам легче, у вас есть надежда, вы ждете посылок, писем, а мы чего? Мы ждем «селекции», отбора, а потом… знаем, что в конце концов все мы должны погибнуть. И все же стараемся отдалить от себя смерть, хотя это значит продлить мучения.

— Как тебя зовут?

— Марыля.

— Откуда ты?

— Из Бендина. Вижу, что вы свежие, цуганги, посылок еще не получаете. Когда у вас будет больше хлеба, вы всегда найдете меня на лугу.

Ушла… Мне вспомнилась Ганка, ее оптимизм: «Помни, что тебе еще не хуже всех». Сейчас мне уже казалось, что даже лучше.

Вокруг происходили торговые сделки. На хлеб, на лук, на головку чесноку обменивали какие-то тряпки, рубашки, штаны, а у одной оказался даже свитер. Это был самый дорогой товар, он стоил две порции хлеба.

— А сколько дней я должна не есть, чтобы купить свитер? — соображала Зося.

— Глупости, август и сентябрь мы выдержим без свитера, гораздо нужнее платок на голову, да и чем мы будем вытираться, когда разрешат мыться?

Но Зося уже что-то соображала. Она позвала одну из торгующих:

— Послушай, откуда вы берете эти вещи?

— По-всякому бывает. У меня свитер, потому что я работаю на санобработке вещей, я украла один — не заметили.

— Я тоже украду, — решила Зося, не моргнув глазом. — Я вижу, тут многое зависит от ловкости. Ну, в крайнем случае получу еще раз по физиономии. Постараемся работать там, где можно украсть.

Я глядела на Зосю, изящную варшавянку, из так называемого хорошего общества, вот она сидит с обритой головой и мечтает о том, как украсть…

Вдруг мы услышали свисток и крик: «Zahlappel! Zahlappel!»{Общая проверка.} Кто-то орал:

— Блок двадцать первый, строиться!

Мы сорвались с места и побежали к блоку. Нас начали выстраивать. Больше всего я боялась Юзки. Я ведь тоже могла обмолвиться: «Извините», и тут же услыхала бы насчет «поганой интеллигенции». Я твердила себе, что надо говорить по-иному.

Первый апель в лагере оказался не страшным, мы стояли вместе — Зося, Ната, Янка, Стефа, рядом тоже были заключенные из Павяка. Я поймала себя на том, что уже немного привыкла к виду полосатых халатов и бритых голов. Труднее всего было привыкнуть к колодкам.

Во время вечернего апеля раздавали хлеб. Мы свою порцию уже получили в зауне. Надеялись, что забудут. Нет, не забыли.

Голод уже напоминал о себе, но придется терпеть до следующего дня.

Стояли мы, вероятно, около часа. Появилась рассвирепевшая блоковая. Одна из заключенных украла горшок, другая оторвала кусок одеяла.

— Еще раз поймаю кого-нибудь, и будете все стоять два часа на коленях, вы, подлые свиньи! Буду я из-за вас головой рисковать, что ли? Не дождетесь! Разомкнись! Молчать! Внимание!

Нас уже пересчитывали. Какая-то «ауфзеерка»{Надзирательница.}, миловидная блондинка лет двадцати, медленно проходила вдоль первой шеренги пятерок. Она показалась нам самой приветливой их всех, кто имел право кричать на нас.

Наш блок находится в первой линии блоков, возле самой Лагерштрассе. Ауфзеерки со всего лагеря после переклички становились у пюпитра — будто в школе.

Но вот снова: «Внимание!» К пюпитру подъезжает на велосипеде эсэсовец. Одна из «старожилов» просветила нас:

— Это Таубе, самый жестокий палач в лагере, проводит

апель.

Слова эти распространились мгновенно, всех охватил страх.

Наконец Таубе уехал. Ауфзеерки тоже укатили на велосипедах, был дан отбой. Очевидно, все в порядке. Побегов не было.

— Иногда стоишь так по нескольку часов, — услышала я совсем рядом, — сегодня еще недолго…

Начали впускать в блок. Мы вошли в числе последних. Нас оглушили шум, крики, ругань, в нос ударила вонь.

— Боже, что тут происходит?

За мной шла Янка.

— Ничего удивительного, в блоке более восьмисот человек.

— Как это можно вынести? — потрясенные, мы остановились в дверях.

Нас толкнули куда-то влево и велели размещаться на нижних нарах. Мы с Зосей взобрались туда, и я почувствовала себя будто в гробу. Нельзя было поднять голову, дышать нечем. Кроме нас, на нарах сидели еще шесть халатов. Все они злились на непрошеных гостей.

— Интересно знать, сколько нам сюда еще втиснут, и так уже как сельдей в бочке, черт бы их побрал!

— Ведь мы тут задохнемся, — говорит Зося с ужасом.

— Не задохнетесь, не думайте, что так вот легко — взять да и умереть.

— Откуда вы? — обратилась я вежливо к соседкам.

Одна проворчала в ответ:

— Из Серадза.

— Не твое собачье дело, — ответила другая, добавив крепкое ругательство.

Остальные были заняты своими разговорами.

Мы с Зосей попробовали растянуться на нарах. Прижались друг к другу, чтобы занять как можно меньше места. Зося подложила руку мне под голову, видя, что я никак не могу устроиться. Я прикрыла уши рукой.

Мы жаждали тишины. Силились забыть, что лежим на досках без подушек. Вдруг кто-то толкнул меня.

Я вскочила.

— Что тебе?

— Убери свои колодки на нары, не то их утащат.

— Колодки? Ведь они есть у всех.

— Вовсе нет. Ну, делай как знаешь, только тебе же лучше будет, если послушаешься более опытных.

Я слезла с нар. Осталась только одна пара колодок. То ли мои, то ли Зосины украли.

— Вот видишь, — с радостью сказала та, что предостерегала, — вот и уплыли. Хорошо, что у нас ничего нет, здесь нельзя оставлять, все крадут.

— Зосенька, уже нет одной пары башмаков.

Зося стремительно села, ударившись головой о нары.

— Ерунда, зачем они нам, одно мученье, босиком ходить удобнее.

Все-таки я взяла оставшуюся пару колодок на нары. В это время проходила штубовая Юзка. Она остановилась, кулаками упершись в бока.

— Поставь на место, ты, дерьмо поганое! Дома ты тоже сапоги в постель брала? Посмотрите-ка на нее. Что за воспитание, черт бы тебя побрал. Варшавянка, небось? Ах ты…

Юзка презрительно плюнула и ушла.

Я положила под голову одну колодку, Зося — другую. Мы зажали уши. Отнимешь от уха руку, звенит в голове. Мы лежали рядом, боясь пошевелиться. Вдруг раздался крик:

— Lagerruhe! Отбой! Спать, грязные твари, посмотрим завтра, как вы встанете на апель. Закройте пасти! Еще хватит времени для болтовни, до того как подохнете. Молчать!

Все стихло. Я попросила наших соседок поделиться одеялом. Дали уголок, я пробовала натянуть на себя, но напрасно. На всех нарах не утихали ссоры из-за одеял.

— Она только одна хочет быть укрытой, посмотрите на эту графиню. Дай одеяло, или позову Юзку.

— Плевать мне на Юзку и на тебя тоже…

— Тише, тише, — молили из всех углов.

Но еще долго не умолкали на нарах.

Окончился первый день в лагере. Не знаю, как это могло быть, но мы уснули. На мгновение перед сном мне почудилось, что рядом мама, нормальная варшавская квартира, кровать… О боже, лучше не думать! Кроватей на свете нет, везде нары, всегда были только нары…

Глава 2
Карантин

— Aufstehen! Вставать! — Я вскочила, охваченная ужасом, ударилась головой, кто-то рядом выругался. Шумело в ушах, язык прилип к гортани, бешено колотилось сердце. Пришлось снова лечь, чтобы успокоиться. Я знала, предчувствовала, что ужаснее всего будет пробуждение. Как найти в себе стойкость, как примириться с мыслью о новом страшном дне, который мне предстоит, о многих таких днях впереди.

— Принесли зелье, — заявила соседка по нарам. — Довольно лежать, надо сложить одеяло и выпить эту бурду, тут тебе не позволят валяться.

Я знала, что это относится ко мне. Но еще не умела заставить себя встать. Как ни старалась свыкнуться с мыслью о том, что ожидает нас впереди, — не могла. Мне хотелось плакать и кричать: «Хочу домой, хочу спать на кровати, хочу не думать». Но разве это поможет? Нельзя поддаваться. Ведь мы обещали это себе, убеждали друг друга.

Я поднялась.

Дали зелье. Что за пакость! От этого напитка сводит судорогой внутренности. Почему это не простая вода, чистая горячая вода.

— Они сюда чего-то подсыпают, — послышался голос с нар.

Все же пришлось выпить, как-никак это была горячая жидкость.

— Апель! Выходите, грязные твари! Живо!

Одна за другой мы слезали с нар и выходили из блока по узкому проходу. Я несла в руке нашу уцелевшую пару колодок. Была холодная ночь. После нам уже сказали, что будят в два часа. Следовательно, было около половины третьего. Босые, дрожащие от холода и страха, мы с Зосей держались за руки, боясь потерять друг друга. Нашу пару колодок мы поделили: по одной колодке на пару ног. Теснимые толпой остановились и мы. Все старались стоять плотнее друг к другу, чтобы сохранить тепло. Но нас разогнали и велели строиться пятерками. За порядком следили штубовые, вроде Юзки. Одни орали больше, другие меньше, но все они одинаково «выражались». Мы дрожали от холода, от утомления. Невозможно было представить себе, что это лишь второй день, только второй апель, а мы уже не похожи на людей. В полумраке можно было различить одни глаза, расширенные страданием, ужасом, глаза затравленных людей.

А был еще только август. Синее, усыпанное звездами небо глядело на нас, словно издеваясь. Что нам, что этому полосатому стаду звездное небо? Только еще большую тоску вызывает.

Занимался рассвет. Чем больше светлело вокруг, тем более серыми становились наши лица. Мерзли ноги, мерзла голова. Мы твердили самим себе одно и то же:

— Скорее бы отпустили! Когда же это кончится? Только бы поскорее на нары…

В ту минуту нары казались нам самым желанным местом: там по крайней мере тепло.

Лишь в шесть часов окончился апель. И в блок нас уже не повели — тут же загнали на луг. Снова жались мы друг к другу. Каждой хотелось попасть в серединку, в самую гущу толпы.

А потом взошло солнце и стало понемногу пригревать. Холод не так уже донимал, зато все сильнее терзал голод. Еще столько часов до супа!

Солнце грело все сильнее. Постепенно мы расползлись по лугу.

Один из бараков на лугу, как оказалось, служил уборной. Мы уже в Павяке привыкли, что заключенному одиночество не дозволено ни при каких условиях. В уборной Освенцима полсотни отверстий по обе стороны узкого прохода. В проходе бегала с палкой капо и била по головам.

— Довольно, нечего засиживаться; тут вам, не кафе.

Примерно посредине стояла печь, а на ней котел с супом. Из него ели две женщины, обслуживающие уборную. Они уплетали суп с огромным аппетитом. Нигде заключенные не чувствовали такого унижения, как здесь…

— Может, наведаемся в «вашраум»? — предложила Зося.

Мы перешли к следующему бараку — умывальной, но туда не пускали. Там уже собралось несколько женщин. Некоторые из них запаслись горшками и бутылками. Перед умывальной, как и всюду, размахивая палкой, орал на людей черный винкель.

— Зачем же здесь эти вашраумы, — спросила я проходившую женщину, — если туда нё впускают ни умыться, ни напиться?

— Откуда я знаю, кажется, ожидают приезда какой-то международной комиссии, по этой же причине ежедневно производится уборка в блоках, но нам нельзя входить внутрь. Все твердят об этой комиссии. Вообще, носится много всяких слухов. Например, будто лагерь переходит в ведение вермахта.

— Но когда же нам позволят помыться?

— Черт его знает, может, нас возьмут в зауну, а бывает, что блоковая иногда и приводит в вашраум. Я здесь в первый раз помылась спустя месяц по приезде.

— Послушай, а что же делать женщине, когда она болеет в свое положенное время?

— Не бойся, здесь этим не «болеют». Можешь быть спокойна.

— А если чем-нибудь серьезным, что тогда?

— Никакая болезнь здесь не идет в счет, если температура ниже 39°. Только если выше, тебя еще, может быть, возьмут в «ревир». Такой же барак, только переполнен больными. Разница та, что они не выходят на апель.

— А врачебная помощь?

— Есть врачи из заключенных. Ведут они себя по-разному, в зависимости от того, какая у кого совесть. Конечно, им не платят и никто их не контролирует. Впрочем, и при самом большом желании они сделать ничего не могут — лечить нечем. Лучше не думай о ревире. В ревир идут, если уж нет выбора, живыми возвращаются оттуда очень немногие, тем более что там постоянная угроза «селекции».

— Даже и для «ариек»?

— Да, тяжело больных ариек также отправляют в крематорий. Никогда нельзя угадать, что эсэсовцам придет в голову. Ревира лучше избегать.

Теперь я знала почти все. Так мне тогда казалось. Я уже знала, как спят, едят, как к нам относится начальство, что можно «купить» в обмен на хлеб. Знала, что не скоро можно будет помыться и что ни в коем случае нельзя болеть. Знала, что буду мерзнуть все больше: приближается зима. Знала, что родной дом, Варшава остались где-то очень-очень далеко, на какой-то другой планете. Не знала я только, как найду силы пережить следующий час, ближайший день и месяц.

И однако проходили дни и месяцы. Самой страшной была минута пробуждения: когда сознание возвращало тебя к тому, где ты находишься. Надо было найти в себе мужество, чтобы подняться и начать новый день. Чтобы часами мерзнуть на апеле, затем на лугу, чтобы снова и снова выслушивать грубые ругательства, чтобы постоянно терпеть голод.

Свой ужин мы съедали во время вечернего апеля. Ни у кого не хватало воли оставить хотя бы ломтик до следующего дня. Около десяти часов утра голод становился невыносимым. Мы его «заговаривали» спорами на всевозможные темы. По очереди рассказывали, как нас арестовали, как допрашивали. Вспоминали времена конспиративной работы. Утешались мыслью, что за проволокой Освенцима повсюду продолжается борьба с оккупантами, борьба за право жить на родной земле.

У иных оказывались в запасе «свежие новости». Например, будто кто-то из мужского лагеря сказал: «Конец войны — это

вопрос самое большее нескольких недель».

Мужчин, владевших какой-нибудь специальностью, — их было немного — под конвоем присылали в женский лагерь. Они работали в бараках в качестве столяров, плотников. Иногда появлялся каменщик или слесарь. Наиболее; привлекательные мужчины были почему-то заняты на ассенизационной работе. Они приезжали с ассенизационной повозкой, долго возились с починкой уборной, растягивая эту работу до бесконечности. Никто в женском лагере не протестовал против таких темпов. После окончания «ремонта» уборная действовала не больше двух дней. И снова портилась. Снова надо было вызывать «парней». Они это легко организовали — и починку и порчу. Мужчина, однажды побывавший в женском лагере, пускал затем в ход всю свою изобретательность и энергию на то, чтобы почаще там появляться. Всегда можно было, воспользовавшись невнимательностью часового, провести полчаса у какой-нибудь блоковой или ее помощницы. Блоковые имели в бараках свои комнатки. Это было единственное место, напоминавшее «дом». Блоковая получала дневной паек на всех, и у нее, конечно, было больше маргарина, чем у простой заключенной. У блоковой, которую можно подкупить, имелись в запасе лук и картошка, полученные в лагерной кухне. У блоковых уже отросли волосы. И ходили они в штатском платье. Это были старые, опытные заключенные.

Так вот, в комнатку блоковой приходил этакий «кавалер», получал картофельные лепешки, съедал их, облизываясь, говорил, что война скоро кончится, что «вам, женщины, бояться нечего, мы вас в случае чего в обиду не дадим». «Кавалеру» нетрудно было склонить блоковую, чтобы не слишком жеманничала, — ведь неизвестно, просуществует ли мир еще хотя бы три недели.

Все же случалась и «бескорыстная» любовь, выражавшаяся в том, что «он» приносил контрабандой «кубик маргарина», то есть 10 порций. Во всех уборных затем распевали:

> За кубик маргарина
> целовал он полчаса…

Кубик маргарина был символом чувства, подобно цветам на свободе. Благосклонности некоторых женщин приходилось все же добиваться. Обладательница кубиков маргарина служила объектом зависти и сплетен, как это бывает в жизни всегда и повсюду. Женщины, у которых не было столь счастливой возможности, говорили:

— Что она нашла в этом идиоте? Как она может, продажная женщина…

По существу же каждая мечтала о том, чтобы пришел «он», утешил, сказал бы, что война скоро кончится. Чтобы поцеловал, а на прощание оставил маргарин.

Мужчины, приходившие в женский лагерь, переносили записки, спрятанные в сапогах, зашитые в складки халатов, подвергаясь опасности быть обысканными в воротах, а потом попасть в бункер — каменный мешок, где: человек мог только стоять.

Проходят три недели, месяц, — и начинаешь жить жизнью лагеря. Все внимание, все мысли направлены только на то, чтобы «спокойнее» прожить день.

Как достать (говорили: «организовать») ложку, чтобы при раздаче супа не ждать, пока освободится у кого-нибудь? Как «организовать» свитер, теплые штаны? Как скрыться от черного винкеля, хватающего на работу на территории лагеря? Как войти в уборную, чтобы не получить удара палкой, как найти способ помыться? Прошло уже две недели, а мы еще не знали, как выглядит умывальная. Однажды я увидела свое отражение в барачном окне и ужаснулась. На лбу грязные полосы, и от этого бритая голова казалась еще ужаснее.

— Зосенька, почему ты не скажешь мне, что я такая грязная?

— А что бы ты сделала, если бы я тебе сказала?

— Может, разок не выпьем зелья, а выполощем зубы и протрем лицо? — Теперь я заметила, что и Зося была такая же черная от грязи.

Когда в этот день утром мы выходили на апель, Зося нагнулась и из-под каких-то нар что-то вытащила.

— Что это у тебя там?

— Колодки. С меня хватит хождения босиком.

— Но Зося, ведь у другой не будет.

— Пусть возьмет, где хочет. У меня тоже украли.

У Зоей было такое решительное выражение лица, что бесполезно было с ней спорить.

После апеля мы пошли на работу. За нашим бараком стояла машина, где паром дезинфицировали свитера. Говорили, что свитера и чулки нам начнут выдавать 1 ноября. Я спросила, откуда же у них эти свитера. Оказалось — от еврейских транспортов.

Вещи кипятились, а мы сидели, съежившись, у барака и ждали.

Как всегда, больше всего мерзли ноги. Некоторые девушки

плакали от холода. С тоской ждали мы солнца. Пасмурные дни были невыносимы. К счастью, сентябрь сжалился над нами. Погода стояла прекрасная.

Когда обработанные одеяла выбрасывали из котла, мы брали их — зловонные, горячие, сырые — на спину и переносили в лагерь Б, на склад, откуда их выдавали в бараки.

Я взвалила одеяла на спину и вдруг получила сильный удар. Я повернулась. Передо мной стояла немка — капо команды, в которой мы работали.

— За что? — спросила я и выпрямилась. — За что? — и получила еще пощечину.

Одеяла упали у меня с плеч, руки сами сжались в кулаки. В третий раз я получила удар по лицу.

— Потому что ты дерзкая, — услышала я в ответ.

Зося стояла за спиной капо и делала мне умоляющие знаки, чтобы я не обращала внимания. Я подняла одеяла и пошла.

В тот же день Зося спрятала один свитер под халат. Из зауны выскочила ауфзеерка и избила ее. Та же, что ударила Зосю в день приезда в лагерь. Очевидно, она наблюдала за нами. Когда мы шли на обед, я спросила у Зоей:

— Зачем ты это сделала?

— Не могу смотреть, как ты мерзнешь.

— А ты?

— Мне не холодно, я выносливее, завтра опять попробую.

— Опять изобьют.

— А тебя она избила, хоть ты и ничего не взяла. Если все равно получишь пощечину, так пусть уж будет за что.

Зося на разные лады сочиняла басни о своей выносливости. «Я не голодна, съешь ты», «мне не хочется пить».

— Зачем ты это говоришь, я все равно не съем твоей порции. Как можешь ты не быть голодной, кто тебе поверит?

Она отворачивалась и умолкала. Глаза ее были полны слез. Она не помнила о собственном голоде.

Как-то во время сильного ливня нам разрешили после апеля войти в блок. Мы вошли промокшие, иззябшие и уселись на нарах, как куры на насесте. Вскоре подошли подруги по Павяку — Ганка, Эльза, Стефа и Марыся.

— Зачем мы, собственно говоря, живем? — спрашивала безнадежно Эльза.

— Не задавай глупых вопросов, радуйся, что ты еще не умерла. Ведь мы здесь почти месяц, — сказала Стефа.

— Да, но становится все холоднее, все безнадежнее, все грязнее, мы не знаем, что делается на свете, никаких надежд на перемену к лучшему. Наоборот, когда кончится карантин, нас

пошлют на работу вне лагеря — на «аусен». Будем копать рвы в такой вот денек, как сегодня, например. Чему тут радоваться?

— Надо быть довольной тем, что это только первый дождь, — а вообще сентябрь прекрасный.

— И еще тем, что нас не разлучили, — добавила Марыся.

— И тем, что до сих пор ни одна из нас не попала в ревир.

— Значит, сегодня я должна радоваться, потому что завтра будет хуже — погода ухудшится, работа будет тяжелее, кто-нибудь из нас наверняка заболеет или нас разлучат?

— Да, ты не имеешь права жаловаться, потому что и той, которая сегодня работает в поле, и еврейке, у которой сегодня сожгли в крематории родителей, хуже, чем тебе. Ты забыла, что мы в Освенциме.

Но я все равно не радовалась. Ночью у меня из-под головы украли хлеб, который мы с Зосей отложили, чтобы купить свитер. Невозможно было понять, как это случилось. Зося ничего не говорила, но я знала, что она переживает это очень тяжело. На воле, пожалуй, нет таких потерь, которые могут принести столь сильное огорчение.

Вдруг Ганка услышала, что назвали ее номер и фамилию. Она побежала к блоковой. Вернулась улыбающаяся, держа в руке большую коробку.

— Боже, посылка! — воскликнули мы с восторгом.

Посылка из дому! Непостижимое счастье. Чьи-то руки купили в магазине, в Варшаве, запаковали, сдали на почту… Неужели это возможно?..

Ганка взобралась на нары и заплакала. В первый раз я видела ее плачущей. Мы, конечно, присоединились к ней. Тогда я еще не знала, что первая посылка всегда вызывает слезы. Впрочем, Стефа плакала при каждой посылке. С трепетом вскрыли мы коробку.

— Лук! — воскликнула Ганка. — Хлеб! Свиное сало!

Никогда не слышала я столько криков восторга.

Мы получили по куску «свободного» хлеба с луком. Какое это роскошное лакомство! Все ели молча. Ни единым словом нельзя было нарушать торжество этого пира. Ганка сидела над коробкой гордая, счастливая.

— Ну, говорила я вам, что получу? Моя мама, наверное, весь Павяк перевернула вверх ногами, чтобы узнать, где я. Теперь уж буду получать постоянно. А на лагерный хлеб куплю себе штаны, может, даже сапоги. Лук отдам Юзке, чтобы она не поднимала меня на апель так рано. Ура! Да здравствует посылка!

Известие о посылке быстро облетело всех. Это было событие огромной важности. Посылка из дому! Теперь и у нас появилась надежда. Может, и нам пришлют? Может, все-таки наступит

какое-то облегчение?

На другой день после апеля блоковая заявила:

— Кто пойдет на работу за проволоку, на «аусен», получит сапоги.

Мы стали совещаться. Сапоги — вещь необходимая, правда они тоже деревянные, но все-таки не эти колодки. Кроме того, здесь нас все равно схватят — не тетка Клара, так другая. Да и что может быть хуже этого выстаивания на лугу?

В нашей группе нашлось только 20 добровольцев. Кроме меня с Зосей, в нее вошли еще несколько женщин из Павяка. Нам раздали сапоги. В других группах было по 100 и 200 человек. Мы не знали — лучше это или хуже. Наша «анвайзерка»{Десятница.} показалась нам очень симпатичной. Первый черный винкель, который вел себя по-человечески и говорил нормально.

— Кто знает немецкий?

Я отозвалась.

— Хорошо, будешь при мне, переводчиком. Вы первый раз выходите в поле?

— Да, а что мы там будем делать?

— Ничего трудного, увидите.

И, о диво, она улыбнулась. Конечно, улыбнулись мы все.

— Красота! — услыхала я голос Ганки. — Симпатичная!

Мы шли к воротам, к тем самым, через которые вошли в лагерь.

— Оказывается, отсюда можно и выйти, — сказала одна из нас. Анвайзерка инструктировала:

— Помните, через ворота надо пройти всем в ногу, ошибаться нельзя. Слушайте барабан.

Никогда я не думала, что выход на аусен происходит так торжественно. Мы стояли у ворот, ожидая, когда нам подадут знак. Напротив были другие ворота, отделяющие лагерь Б. Главным образом оттуда и выходили аусен-команды на работу. Их вели анвайзерки. У каждой из них в руках были карточки с номерами десяти заключенных. За выведенную группу отвечала анвайзерка и часовой, шедший с собакой следом за каждой командой.

— Левой! Левой! Левой! — командовала у выхода капо.

Мы вышли за ворота.

— Команда сто шестнадцатая с двадцатью, — сообщила наша анвайзерка «рапортшрайберке» — писарю, отмечающему выходящие из ворот команды.

Мы получили приказ повернуть направо. Все сильно волновались. Возле «блокфирерштубе»{Канцелярия, ведающая делами блоков.} стояло лагерное начальство — Таубе,

оберауфзеерка (главная надзирательница) Дрекслер, ауфзеерка Хазе. Чудовища в человеческом облике. Таубе и Хазе были сама смерть, коса так и просилась к ним в руки.

Дрекслер, называемая коротко «оберкой», была необычайно красивой. Глядя на эту мраморную, надменную красоту, трудно было вообразить оберку улыбающейся. Однако она умела очаровательно смеяться.

«Горгона», — подумала я.

Перед блокфирерштубе играл оркестр из заключенных. Все заглушал барабан, выбивавший такт под левую — непременно под левую! — ногу.

— Links! Links! Links! — «поддавали» у ворот молодые девушки — «лойферки», выполняющие в лагере обязанности курьеров.

Самое трудное испытание мы выдержали. На мое счастье, я не сбилась с ноги. В сапогах, оказывается, ходишь иначе.

Выйдя за проволоку, я глубоко вздохнула. Рядом шел часовой с винтовкой, молодой парень, безобидный на вид.

— Ты здесь давно? — спросила меня анвайзерка.

Я была ошеломлена этим «нормальным» вопросом в устах черного винкеля.

— Месяц, — ответила я, — и мне радостно, что ты умеешь говорить по-человечески. Я здесь еще ни разу не умывалась, — добавила я.

Она усмехнулась.

— Мне это знакомо, знаю, каковы другие ауфзеерки и капо. Меня тут любят. Как тебя зовут?

— Кристя.

— Меня Хильда. Называй меня по имени. Я уже четыре года в заключении.

— За что?

— Убежала с работы. Отправили в Равенсбрюк, оттуда в Освенцим.

— Какой тут свежий воздух! — воскликнула я. — И нет проволоки. Первый раз за эти месяцы мы «на воле». А самые лучшие месяцы лета я провела в Павяке.

— Отдыхай, раз представился такой случай. Сегодня будет хорошая погода. А там, куда мы идем, чудесно.

Я перевела подругам содержание нашего разговора.

День обещал быть радостным.

— Споем, — предложила я. Мы начали: «Зашумели плакучие ивы»{Песня польских партизан.}.

Хильда улыбнулась, заметно довольная.

Пройдя три километра, мы вошли в деревню. В

обыкновенную деревню — с коровами, курами и колодцем. Люди убегали при виде нас. Мы поняли, какое производим впечатление. Я вспомнила, как мне когда-то сестра, вернувшись из Люблина, рассказывала, что видела на улицах города женщин-заключенных из Майданека: «В полосатых халатах, босые, с бритыми головами, озябшие. А рядом шли женщины, одетые нормально. Попасть туда мне или кому-нибудь из родных — нет, уж лучше умереть!..»

«Видела бы ты теперь, дорогая моя сестренка, как пугаются, встретив меня люди, видела бы ты меня ночью во время апеля!.. Какое это счастье, что здесь я, а не ты, не кто-нибудь из вас, моих дорогих».

— Мы, должно быть, прелестно выглядим, — рассмеялась Ганка.

— Нет, — сказала Хильда, — они убегают потому, что боятся контакта с заключенными.

«Какая она приветливая, — подумала я, — ведь в сущности это уж не так важно, как мы выглядим».

Окрестности становились все красивее. Хильда объяснила, что мы идем на берег Солы резать ракитник для корзин. Солнце уже взошло. На небе — ни облачка. Мы чувствовали себя отлично.

— Как мало нужно для счастья, — вздохнула Зося.

— Совсем немного. Только бы позволили идти этой дорогой вперед, без часовых.

— Об этом я теперь даже не думаю. Быть бы сытой. Это все. О свободе я перестала мечтать.

Мы прошли под мостом. Перед нами текла Сола, приток Вислы. На противоположном берегу бродили несколько человек, один с удочкой дружески помахал нам рукой. Не сон ли это? Так близко от лагеря, и все по-другому. Даже трудно поверить, что идет война. И воздух совсем иной. В лагере неистребимый запах трупов и уборной. А здесь — настоящий, зеленый луг и вода. Как давно не видала я реки!

Хильда раздала нам ножи.

— Идите нарежьте ракитника. Срезанные ветки кладите у дороги, после придут мужчины и заберут их на повозку. Не спешите с работой, но смотрите не убегайте. Помните, что я за вас отвечаю головой. Около двенадцати привезут обед.

Мы исчезли в кустах. Ракитник был такой густой, что мы сразу потеряли друг друга из виду, пришлось перекликаться.

— Кристя, — услыхала я голос Ганки. — Как чудесно, что мы пошли, правда? Видишь, я говорила — не так уж все страшно.

— Добавь еще, Ганочка, что война скоро кончится! — крикнула я в ответ.

— Война кончится через две недели, и когда нас спросят дома, как было в лагере, я скажу, что великолепно и что я загорела на берегу Солы.

— Значит, ты здесь загораешь?

— Конечно. Ведь Хильда в кустах со своим часовым. Наша работа ее мало заботит. Ты же слышала, она сказала: «Не спешите».

— Ты — права, пойду-ка и я погуляю.

Я направилась к реке. В ракитнике звенел голос Эльзы, она пела какую-то трогательную, сентиментальную песенку. Один вот такой день, и уже возвращается желание жить!

Я огляделась вокруг. Человек на противоположном берегу подавал какие-то знаки.

«Можно было бы бежать, — подумала я, — стоит только переплыть реку, и если согласятся спрятать…»

Я вернулась к Зосе. Конечно, она думала о том же.

— Ну хорошо, — рассуждала я вслух, отвечая и на ее мысли, — а что дальше? Ты с клеймом на руке, в полосатом халате, обрита, без документов, и если откажутся тебя спрятать… Не забывай, что люди вблизи лагеря живут в паническом страхе, захочет ли кто-нибудь рисковать?

— Может, какой-нибудь храбрец и нашелся бы. Если бы дать знать в Варшаву, уж приехали бы за нами и заплатили.

— Но ведь наш побег подверг бы опасности остальных девушек и Хильду, а она уже четыре года в лагере.

— А что мне Хильда? Немка и только.

— Немка?.. Ну и что из этого? Натерпелась по лагерям уже давно, дольше, чем мы. С гитлеровцами боролась еще до войны. Это они говорят: «еврейка», «полька» и уничтожают другие народы. Мы не должны говорить так: «немка»…

— Если на все это обращать, внимание, то нечего и думать о спасении.

— Если бы мы не обращали внимания на «все это», то не попали бы сюда.

Для приличия мы нарезали немного ракитника.

Я снова подошла к берегу.

Из-за моста выплыла баржа. С углем и людьми. В первую минуту я хотела бежать. Но сделала над собой усилие и осталась на месте. Баржа остановилась. Мужчина в штатском обратился ко мне:

— Полька?

— Да.

— Давно в лагере?

— Месяц. А вы кто?

— Не бойся, свои. Хильда здесь?

— Наша анвайзерка? Здесь.

— Постой, отнесешь ей кое-что.

Они вынули из баржи две бутылки водки, колбасу и белые булки.

— Иди так, чтобы тебя не видели.

— А часовой?

— Часового не бойся. И возвращайся побыстрее.

Я побежала туда, где надеялась застать Хильду. Я поняла, что контрабанда здесь не новость. Отыскала Хильду. Она лежала, опершись на плечо часового. Винтовка — рядом. Оба вскочили.

— Вот, Хильда, никто не видел.

Я подала ей продукты.

— О, хорошо. Они еще здесь?

— Здесь.

— Я пойду с тобой, на вот, возьми.

Она протянула мне кусок булки и колбасу. Взявшись за руки, мы побежали к барже.

Я допущена к великой тайне, у меня есть хлеб, колбаса, и никто на меня не кричит. А часовой еще и улыбался. Невероятно!

Я вернулась к Зосе. Она взглянула на меня, протерла глаза от удивления.

— Откуда это у тебя?

— От друга.

— Давай, ты не представляешь себе, как я голодна. Боже мой, белый хлеб, колбаса!

— Наконец-то ты призналась, что голодна.

Мы ели хлеб, вскрикивая от восторга. Внезапная мысль озарила меня.

— Подожди здесь.

И я побежала к берегу.

Баржа была на прежнем месте. Хильда разговаривала со штатским.

— Слушай, Хильда, — начала я, и все во мне дрожало, — разреши мне попросить их, чтобы они известили мою семью, где я. Я напишу записку.

Мужчина с баржи протянул мне записную книжку и карандаш.

— Быстрее пиши.

«Мы с Зосей в Освенциме, мой номер 55 908, пришлите поскорее посылку, остальное расскажет этот человек».

Хильда оглядывалась, не идет ли кто-нибудь.

— Постарайтесь сами зайти по этому адресу в Варшаве, скажите, что мы долго не выдержим тут, пусть пришлют посылки

или договорятся с вами, а вы нас в этой барже довезете до Кракова.

— Хорошо, письмо передадим и обо всем расскажем, не падайте духом.

Зося напряженно ждала меня.

— Ну, Зося, наконец какой-то луч надежды. Я написала домой. Если наши что-нибудь придумают и мы будем ходить сюда на работу, то недели через две сможем этой баржей поехать домой.

— Все это слишком прекрасно и вряд ли осуществится.

— Посылку уж, во всяком случае, получим.

— Это возможно.

Я лежала в густом ракитнике взволнованная впечатлениями. Было, вероятно, около часу. Солнце сильно пригревало. Я закрыла глаза. Мне казалось, что я нахожусь на берегу моря, вместо ужасного полосатого халата, на мне купальный костюм, на голове — вместо ежика длинные волосы. Как сквозь сон я услышала шелест раздвигаемых кустов. Я не шевельнулась, не открыла глаз.

— Женщина? — услышала я мужской голос. Вопрос был задан по-польски.

— Когда-то была женщина, — неохотно ответила я.

Стоящий в кустах громко и весело рассмеялся.

Я приоткрыла один глаз. Что еще там? Наверное, все это мне только кажется. Все, что здесь со мной происходит, нереально.

— Тебе разве не любопытно, как я выгляжу? — услыхала я ближе, совсем над головой.

— Если бы вы посмотрели на меня вблизи, наверно, вам стало бы очень грустно.

Я говорила это медленно, как бы себе самой, не открывая глаз уже из упрямства.

— Я вижу, вы «интеллигентка». Разрешите представиться?

— Не надо.

— Меня зовут Анджей, а вас?

— Разве это не все равно?

— Прикройте голову.

— Я не вижу, где платок.

Он нашел платок и набросил его мне на голову. «Если бы хоть чуть отросли волосы», — огорчилась я и вспомнила, что при ярком свете дня видно, какая я грязная. Я отвернулась, спрятала лицо. Странный незнакомец обхватил мою голову и повернул к себе. Я не открывала глаз.

— Прошу вас не дотрагиваться до меня, уходите. Разве вы не знаете, что нам нельзя разговаривать с мужчинами?

Он опять стал смеяться. Вдруг произошло что-то

неожиданное. Он наклонился и поцеловал меня в губы. У меня потемнело в глазах. Я вскочила.

— Вы с ума сошли, месяц у меня не мыто лицо, зубы. Вы что, слепой, как можно меня целовать, у вас нет ни капли эстетического чувства.

Он смотрел на меня очень серьезно и очень грустно. Мне хотелось плакать.

— Зачем вы сюда пришли? Мне было так хорошо, я совсем уже забыла, что может быть иначе, что можно…

— Я тоже все забыл, — проговорил он медленно, — впервые за три года я так близко вижу женщину. Прошу вас, поймите меня.

Я взглянула на него. Голос его странно дрожал. В глазах были слезы.,

— Я ведь молодой, знаешь ли ты, что это значит три года в лагере, эта проклятая беспомощность! Я не хотел тебя обидеть.

— Знаю и совсем не сержусь, только удивилась. Я здесь всего лишь месяц, но мне кажется, что прошла вечность, что никогда ничего другого не было.

— Не огорчайся, волосы отрастут, наденешь когда-нибудь красивое платье, вымоешься и снова станешь сама собой. А тогда ты меня поцелуешь? — добавил он, немного подумав.

— Может быть, — улыбнулась я.

— Дай мне руку в знак того, что не сердишься. Ты очень мила, несмотря на то, что такая грязная.

Я настороженно подала ему руку. Он снова хотел притянуть меня к себе.

Вдруг раздался свисток, послышались крики:

— Убежала, убежала, ищите!

Появилась Ганка. Окинула нас удивленным взглядом. Анджей поклонился.

— Мы приехали сюда за ракитником. Из мужского. Что случилось?

— Убежала, кажется, одна из наших.

— Кто же это?

— Какая-то пожилая женщина, не припомню ее.

— Наверное, спит где-нибудь в кустах.

Ганка пошла искать.

— Ты голодна? — спросил меня Анджей.

— Нет.

— Сегодня у меня нет хлеба, завтра тебе принесу, вы, вероятно, опять будете здесь.

— Не знаю, мы сегодня случайно здесь, в этой команде, замещаем других, а так — мы в карантине. Если же та

действительно убежала, то, наверно, и не придем сюда больше.

— Попробуем ее поискать.

Я искала в кустах, звала, но все безрезультатно. Я не помнила, как выглядела та, что убежала.

Анджей снова подошел ко мне.

— Я не знаю твоего имени. Как мне тебя найти?

— Кристя.

— Красивое имя. Завтра приду сюда и принесу тебе хлеба. Раз ты в карантине, ты не можешь не быть голодной. Ну, выше голову, Кристя, будь здорова. Приходи непременно.

Он еще раз обернулся, уходя.

Какой чудак! Уславливается о встрече, будто в Варшаве. Будто это от нас зависит.

Хорошо бы быть в этой команде постоянно и приходить сюда за ракитником. Необходимо держать связь с баржей. Мы оказались в исключительных условиях, у нас возможности, о каких во всем лагере и мечтать нельзя. И вот тебе — этот побег…

Я отыскала Хильду. Она была в отчаянии. Часовой сказал мне:

— Вот видите, какие вы, оказали вам доверие, а теперь что будет? Меня в бункер или сразу на фронт. Хильду в штрафкоманду, если не хуже.

Конечно, они чувствуют себя виноватыми, они ведь не следили за нами. Мозг мой работал, как во время допроса. Женщина эта, конечно, сбежала, что же придумать, чтобы можно было и дальше приходить сюда?

Приближался час апеля. Нам уже давно следовало тронуться в путь. В лагере уже, наверное, выстроились. Хильда плакала, ей было страшно. Больше всего она боялась оберки.

Я глядела на реку и напряженно думала, — утром Хильда говорила, что перед уходом она позволит нам выкупаться, теперь все пропало. Что делать? Вдруг меня осенила спасительная мысль.

— Хильда, идея!

— Ну? — спросила она, плача.

— Мы скажем, что она утопилась.

— Как это так?

— Скажем, что в четыре часа нас пересчитали, все были налицо, потом одна спросила, нельзя ли вымыть в реке ноги. Пошла к мосту и утонула. Я скажу, что с утра она все твердила о самоубийстве, что была не совсем нормальная.

Хильда перестала плакать и внимательно слушала. Часовой поддержал меня.

— Неплохая мысль. Во всяком случае, это лучше, чем

недосмотр. А ваши подруги будут знать, как им себя вести?

— Они только скажут, что в четыре нас пересчитали и было нас двадцать, больше они ничего не знают. Я это устрою.

Хильда, притихшая, только кивнула молча головой.

Я пошла к подругам.

— Ну что? — крикнули все в один голос.

— В четыре нас пересчитали. Если кто-нибудь спросит — нас было двадцать, больше вы ничего не знаете. Скажете так?

— Конечно.

— Помните, что в Освенциме каждая будет допрошена. От показаний зависит судьба остальных.

Мы отправились в лагерь. Час апеля уже прошел. Хильда держала меня за руку. Она шла, опустив голову, ей было страшно.

По дороге нас остановил мотоцикл. Перед нами стояла ауфзеерка Хазе.

— Ну, что случилось, почему опоздали к апелю? — спросила она насмешливо и грозно.

— Одной не хватает, — доложила Хильда.

— Такая маленькая команда, и побег. Хорошо же вы следите!

— Это не побег, она покончила самоубийством.

— Как именно?

— Бросилась в воду.

— Кто видел?

Я выступила вперед.

— Я видела. С утра она говорила, что с нее довольно, что предпочитает погибнуть, чем терпеть такие муки.

— Какие муки?

— Не знаю какие, она так говорила.

— Идите в лагерь, обыщем реку.

Мы пошли. Прибыл в машине комендант лагеря. Это был Крамер, известное чудовище. Всех по очереди он сверлил своими маленькими глазками. Повторился тот же допрос.

— Берегитесь, если окажется, что все это враки… — бросил он и уехал.

— Что будет, когда тело не найдут? — убивалась Хильда.

— Не будут они искать.

— А вдруг ее поймают на территории лагеря?

— Не поймают, мы должны верить в ее и наше счастье.

К воротам лагеря выбежала толстая Катя, рапорт-шрайберка, любимица ауфзеерок и оберки. Начальство всячески старалось отыскать в родословной Кати арийских предков, чтобы сменить ей звезду на винкель. Неудобно ведь на глазах у всех признавать и любить еврейку. Катю по этому делу уже несколько раз вызывали в политический отдел, в город Освенцим. Как

рассказывали старые заключенные, эта Катя добилась того, что апели проходят всегда без недоразумений и сравнительно быстро. Раньше стояли часами. Кате доверен перевод заключенных из одного блока в другой.

— Ну, Хильдхен, что случилось? — спросила она.

Хильда повторила ту же басню о самоубийстве. Катя хитро улыбнулась. Она видела нас насквозь.

— Очень хорошо, — сказала она скорее себе, чем нам. — Ах, самоубийство, жаль, она была еще молода…

Тогда я еще не понимала, сколько было в этом иронии.

— Дай ее номер.

Хильда осталась у ворот для дальнейших разъяснений. Она успела мне шепнуть: спасибо.

— Если это хорошо кончится, возьми нас завтра опять, — попросила я.

— Я взяла бы, но боюсь, не позволят. Дадут евреек. «Арийки» бегут. Разве только после карантина. Когда перейдешь в лагерь Б, разыщи меня…

Мы пошли в барак. Апель еще продолжался. Все расспрашивали, как было. Всем мы повторяли одно и то же: утопилась. Я рассказывала о подробностях, как она взмахивала руками из воды. Ганка лукаво подмигивала мне.

И вот мы снова в своем «гробу». Темно, душно. Зося сказала:

— После такого дня еще ужаснее этот ад. Там на меня дохнуло воздухом свободы.

Я рассказала ей об Анджее.

— Подумай, Зосенька, в мирное время я могла бы с ним познакомиться, например, на балу. Совсем иным был бы наш разговор.

Больше нам не удалось побывать на берегу Солы. С какой тоской вспоминала я об этом чудесном уголке, о барже, об Анджее… Но что делать? Разве можно в концлагере надеяться на что-нибудь хорошее?..

Глава 3
«Аусен»

В 10 часов утра раздался свисток. Лагеркапо свистела и кричала истошным голосом:

— Лагершперре, лагершперре, все в блок. Нас погнали в бараки.

— Что будет? — спрашивали все в страхе. Никто не знал.

— Вероятно «селекция», — догадался кто-то.

— У нас?

— Апель, выходить! — услыхали мы немного погодя.

— В одиннадцать часов апель? — Стефа стояла рядом со мной, бледная, как полотно.

— Нам тоже выходить?

— Сидеть на месте, грязные скоты, апель для еврейских блоков. Пусть только попробует кто-нибудь из вас выйти! Ведра в бараке, но… можете потерпеть, ничего с вами не случится.

Через узкое окно мы видели, как еврейки из соседнего блока выходили на апель. Глаза их бегали, одна пряталась за другую. Некоторые щипали себе щеки. Очевидно, чтобы лучше выглядеть. Спорили, кому стоять в первом ряду пятерок, на самом видном месте. Выталкивали друг друга, будто это могло что-нибудь изменить. Ставкой была жизнь, в такие минуты, видно, не думаешь ни о чем, только бы ее спасти. Наконец выстроились.

Подошли Таубе, лагеркапо и ауфзеерка.

Таубе остановился перед первым рядом и палкой ткнул в одну из заключенных. Она разделась донага. Таубе показал ей — идти направо. Она пошла. Была средней полноты, с чирьями на теле. Но в лагере у всех чирьи. Поэтому никто пока не понял, что означала правая сторона — смерть или жизнь. Разделась следующая, сплошь покрытая нарывами. Таубе палкой указал ей тоже направо. Он был пьян, нетвердо стоял на ногах, взгляд у него был мутный, но он следил, как выполняется его указание. С полсотни женщин пошло направо, несколько — у кого немного чирьев — налево. Все ясно. Правая сторона означала смерть. Обреченные это тоже поняли.

Оцепенев от ужаса, в полубессознательном состоянии, несчастные оглядывались по сторонам — куда бежать. Но они были окружены кордоном из их же подруг. Ни одна не могла ускользнуть. В нашем бараке наступила мертвая тишина. Никто не поверил бы, что в нем около тысячи человек. Солнце ярко освещало место, где происходила «селекция». «Счастливиц»,

получивших право на «временную жизнь», было очень мало. Из 400 девушек 320 были обречены на гибель. Они шли вдоль нашего барака нагишом, съежившиеся, почти уже невменяемые, шли, подгоняемые лагеркапо, такой же, как они, заключенной, шли, освещенные ярким солнцем, — в блок смерти. Шли матери с дочерьми, шла сестра кого-то из оставшихся в лагере, шли чьи-то подруги… Не укладывалось в голове, что так недавно у каждой из них были родители, дом, она была здорова, носила, может быть, шелковые платья, жила в Салониках или в Амстердаме. Были среди них работницы, студентки, врачи и «дамы из общества». Не умещалось в голове: до чего может быть доведен человек. Эти обезображенные тела, торчащие кости, отвислые груди, гноящиеся нарывы — все это люди, измученные люди, которых сейчас, здесь, в эту минуту лишат жизни.

Блок 25 — блок смерти. Туда сваливали человеческий лом после «селекции». Блок этот уже не получал пайка. Это был как бы «зал ожидания» перед крематорием.

Еще долго по всему лагерю неслись из этого блока стоны.

— Мама, пить, пить дайте, умираю, пить…

Ни одна из нас не приблизилась к блоку смерти. Ни одна не подала воды. У нас ее и не было, но если бы нашлась вода, никто не решился бы отнести ее чужой, греческой еврейке. «Ведь все равно она умрет через минуту, через час». Этими словами мы заглушали в себе зов долга перед ближним. Но раздирающие душу крики не давали нам покоя, нельзя было не слышать их. Они проникали в сердце, в мозг.

По окончании лагершперре мы вышли из своего блока.

Из 25-го, через решетку, к нам тянулись руки обреченных. От них невозможно никуда скрыться. Невозможно не слышать мольбу, долетающую оттуда:

— Боже, дайте пить! За что, почему я должна умереть?

Наступили сумерки, вспыхнула цепь лампочек на проволочной ограде. Как загипнотизированная, глядела я на блок смерти. Я видела только эти руки — умоляющие, беззащитные, невинные руки. На какое-то мгновение они неподвижно застывали, а потом медленно сжимались в грозные, угрожающие кулаки…

Этой ночью после отбоя в лагере царила необычайная тишина. Их скоро заберут из блока смерти в крематорий. Все прислушивались. Вскоре прибыли грузовики. Фары осветили барак. Машина остановилась перед 25-м. Сердце стучало, будто хотело выскочить. Я знала: теперь их грузят. Но ничего не было слышно. Грузовики тронулись.

Раздирающий душу пронзительный крик потряс воздух. Мы

все сели на нарах. Мы глядели друг на друга обезумевшими, полными страха глазами.

— А-а-а-а-а-а-а… — неслось из грузовиков.

Крик нарастал по мере приближения грузовиков и, удаляясь, умолкал, как сирена, оставив после себя эхо кошмара.

В глазах Стефы, сидящей напротив меня, застыл ужас. Наверное — и в моих.

Только бы не сойти с ума. Хоть бы научиться смотреть на это «трезво».

Ну… просто-напросто убивают евреев, потому что, говорят, евреи во всем виноваты, из-за них и война. Везде ведь погибают люди, старалась я втолковать себе. Но ум отказывался постичь это. Да, погибают всюду. Но в борьбе, от пули, об бомбы, от снаряда. А эта смерть, эта трагедия бессилия… Что делать, как бороться? Сегодня взяли оттуда, завтра могут прийти и к нам, втащат на грузовики и…

Но ничего, ничего нельзя было придумать. Безграничная ненависть овладела всеми. Ненависть высокой волной прокатилась по всему бараку. Ненависть была самым сильным, объединяющим весь лагерь чувством.

В барак вошла лагеркапо, та самая, что участвовала в отборе. Вместе с ауфзееркой они переходили от нар к нарам и что-то шептали. Мы обеспокоенно вертелись на своих местах. Визит этот не предвещал ничего хорошего. Лагеркапо сказала громко:

— Кто хочет пойти в город, в мужской лагерь? Там есть легкая работа, штатское платье и хорошая пища.

Говоря это, она усмехалась хитро и заискивающе.

— Ну, что же, не объявляются желающие?

Изо всех углов ее засыпали вопросами, как потом оказалось, очень наивными.

Мы, из Павяка, привыкли не доверять, но все же сразу не могли разгадать, какое новое коварство кроется в этом приглашении на «легкую работу».

Блоковая стояла сбоку и тихонько просвещала одну из заключенных.

Я пробралась туда. По-видимому, она что-то знает.

— В «пуф», — услыхала я, — набирают в «пуф».

— А что там делают?

— Ничего. Надо обслужить двадцать мужчин в день…

— Каких мужчин? — спрашивали мы, все еще не понимая.

— А, вероятно, тех, кто уже давно сидит, тех, что на должностях, разве я знаю каких. Во всяком случае, не эсэсовцев, а заключенных…

— И что же — это действительно добровольно или будут посылать силой?

— Не знаю, все возможно. Но пока из блока выходить нельзя.

Я побежала к Зосе. Она сидела перепуганная. Перед ней стояла ауфзеерка и внимательно разглядывала ее. Я решила «действовать».

Когда ауфзеерка на минуту перевела свой взгляд на другую, я подала знак Зосе.

— Бежим, Зося, быстро!

И пошла к выходу. «Торваха»{Сторож у дверей.} не хотела выпускать нас.

— Мне очень надо, у меня дурхфаль, у нее тоже, пусти нас…

— Не могу, ежеминутно удирают, из-за вас и мне попадет.

Кто-то закричал в бараке. Она отвернулась. Мы воспользовались этим моментом и понеслись в сторону уборной.

Зося дернула меня.

— За нами идут.

Я повернулась. Действительно, нас нагоняли. Лагеркапо грозила нам издали. И началась «игра в прятки» между бараками. Мы высовывались по очереди, а она появлялась каждый раз на новом месте. Вырастала как из-под земли. Наконец оставила нас в покое.

Усталые и измученные этой погоней, мы вернулись в барак. Оказалось, что «желающих» нашлось ровно столько, сколько было указано в требовании. Номера их списали. Взгляды всех были устремлены на нары рядом с нашими, и я услышала голоса:

— Ты же полька, постыдилась бы. Позор!

Молодая девушка на нарах твердила одно и то же:

— Я голодна, не ваше дело, не вмешивайтесь.

Видно было, что она боролась с собой.

— Мы не меньше тебя голодны, свинья…

Девушка расплакалась.

Мы не могли понять, что это за история с «пуфом». Почему такие «привилегии»? Для каких заключенных?

Как нам потом объяснили, эта затея возникла у лагерного начальства не случайно. В мужском лагере все больше заключенных участвовало в политических заговорах. Начальство решило придумать что-нибудь такое, что отвлекло бы мужчин от политики.

Мужчины должны отныне интересоваться «пуфом».

Долго еще призрак «пуфа» пугал нас. Каждый раз, когда входила лагеркапо, мы думали, что снова ищут «желающих». К счастью, «новую смену» отбирали раз в несколько месяцев.

Началась пора дождей. Мы мокли на апеле, на лугу. Грязь в Освенциме была, наверно, специально придуманной пыткой. Никогда не просыхала земля, липкая, полная неожиданных «засад». Двигаться было почти невозможно, колодки увязали в клейкой грязи.

Часто обсуждали мы, какие дни кажутся легче. Дождливые меньше вносили диссонанса в наше безнадежное существование: Пасмурное, свинцовое небо было как бы частью нашей лагерной действительности, сливалось с ней. Служило естественным фоном для серых лиц, бритых голов, полосатых халатов, для наших голодных взглядов полуживотных. Мы брели из барака в уборную, из уборной в барак, увязая в грязи, с каждым днем все более смирившиеся с судьбой, отупевшие. Всюду слышны были скорбные вздохи.

Как-то ночью поймали с поличным одну заключенную, она для нужды использовала суповую миску. Это была пожилая женщина, видимо, больная. Ее стащили с нар, и блоковая избила до потери сознания. Утром в наказание мы все стояли почти час на коленях в грязи. После у нас болело все: ноги, голова, сердце. К вечеру у большинства появился жар. На другой день многих из блока отправили в ревир.

В первый раз и я подумала, — не пойти ли в ревир. Я мерзну, голодаю, убеждая себя и подруг, что свершится чудо. К чему это? Все равно ведь погибать. Зачем же тянуть эти мучения? В ревире хоть нет апелей. Буду лежать, пока не умру.

Я поделилась своими мыслями с Зосей.

— Нельзя, Кристя. А вдруг придет посылка? А вдруг что-нибудь изменится?

Я решила потерпеть еще несколько дней. И посылка действительно пришла! Посылка, упакованная руками мамы! Силы оставили меня. Я не могла даже развернуть ее. Подруги смотрели на меня — когда же я наконец открою. А я не могла сдержать рыданий. Каждая весть с воли лишала нас равновесия. Мы уже научились не думать и не вспоминать. А посылки выводили нас из этого состояния, вызывали тоску.

В это время я познакомилась с Ромой, учительницей из Силезии. В лагере она была уже давно. Несколько дней назад она вышла из ревира, перенеся много болезней. Высокая, стройная, Рома казалась совсем прозрачной. Ее огромные голубые, удивленные глаза говорили о затаенной муке. Рома рассказала мне о перенесенных допросах в Освенциме. Полуживой, без сознания, снимали ее с колеса пыток.

Невозможно было понять, как после всего этого она живет. Она попала в лагерь восемь месяцев назад. Правда, ей присылали

много посылок — три-четыре в неделю. Теперь здоровье ее быстро восстанавливалось. Подкупая блоковую и штубовых, она могла сидеть на нарах, и никто ее не подгонял, как нас.

Однажды Рома сказала мне:

— Самое плохое позади, теперь я верю в то, что продержусь. Я прошла через все, что они придумали, чтобы убить человеческое в человеке. Теперь я верю в то, что буду жить.

В этот же день, во время вечернего апеля, остановилась на Лагерштрассе черная карета. Какой-то гестаповец выскочил перед нашим бараком и направился к блоковой. Мы замерли от ужаса. Несколько минут спустя вызвали номер Ромы. Она вышла из рядов и медленно пошла в сторону кареты. И не вернулась.

Пока она находилась в ревире, велось следствие по совершенному ею «преступлению». Кажется, кто-то по ее «делу» «засыпался». Говорили, что она учила детей польскому языку; это лишало ее права на жизнь даже в лагере.

После смерти Ромы еще долго приходили для нее посылки. На воле надеялись, что поддерживают ее.

Окончился срок карантина. Нас разделили. Приходили ауфзеерки и отбирали девушек в разные команды. Забрали Зосеньку и многих других. Тогда я еще не знала, что в лагере можно о чем-нибудь просить. Мы с Зосей стояли, оглушенные этим новым ударом. Нам и в голову не пришло, что следует попытать счастья. Просить можно нормальных людей в нормальных условиях, но тут… кого может тронуть, что мы хотим быть вместе? Если мы выдадим это наше желание, нас, конечно, разлучат. И Зося попала в Буды, то есть на другой участок лагеря.

В Будах находилась постоянная аусенкоманда из 300 женщин. Бараки там не были окружены проволокой. Заключенные работали в поле. На территории лагеря находилось еще несколько таких же, как в Будах, команд.

Названия свои они получили по имени деревень, которые некогда были на этом месте, например Райско, Бабице, Харменза. Считалось, что в Райско самые лучшие условия работы, там разводили овощи и цветы. Попасть туда было вершиной мечтаний. Другим надежным местом, где можно было продержаться, считалась Харменза — ферма-инкубатор. О Будах мы почти ничего не знали. Во все эти команды попали немногие счастливчики.

Мы с Зосей условились, что она заболеет и ее отошлют к нам в ревир — в Будах своего ревира не было. И мы, может, снова будем вместе.

Стефу, Марысю, Ганку отправили в лагерь Б. Я осталась. И

для меня это оказалось лучше. Я попала в распоряжение шрайбштубы — канцелярии. Устроила все это Валя. Она была в лагере уже два года. Попала сюда с одним из первых польских транспортов. Она принадлежала к тем немногим, которые, несмотря на все, не утратили человеческое достоинство. Она была просто хорошим человеком.

Вале понравились стихи, которые я сочинила во время утреннего апеля.

Никогда прежде я не писала стихов. Но так трудно было переносить апель и бесцельное выстаивание на лугу. В уме я стала подбирать рифмы. Нечем было, да и не на чем записать их. Первая придуманная строфа подбодрила меня. Я прочла вслух самые простые слова, вырвавшиеся из глубины сердца.

Над Освенцимом солнце встало,
день загорелся ясный.
Стоим в шеренге: старый, малый,
а в небе звезды гаснут…

Я рассматривала это «творчество» как шараду. Оно было для меня неожиданным благословением, ибо позволяло оторваться от действительности.

Проверка, все должны явиться,
в погоду и в ненастье,
и можно прочитать на лицах
тревогу, боль, несчастье.

Ведь там мой сын в слезах, быть может,
мое лепечет имя…
И мама вспомнила… О боже!
Увижусь ли я с ними?

Быть может, вспоминает милый,
как мы в ту ночь простились…
А если — господи, помилуй! —
они за ним явились?

События идут быстрее,
как на киносеансе.
Вот кто-то едет по аллее
в высоком дилижансе.

Эсэсовки, как на картине,

порхают перед нами.
Стоим столбами соляными,
предметами, номерами.

Потом с презрительной гримасой,
построив нас по росту,
считают люди высшей расы
весь этот скот в полоску.

Вдруг мысль сверкнет и озадачит,
тисками сердце сжато…
Ведь это женщина — так значит,
сестра, невеста чья-то…

Все дальше фильм сенсационный.
Внимание! — команда.
Момент сверхкульминационный:
прибытье коменданта.

Неужто в мире все так мерзко?
Молюсь тому, кто выше…
Но, господи, прости мне дерзкой, —
есть кто-то, кто нас слышит?

А солнце в небе голубином
бросает копны света.
О добрый господи, внемли нам,
теперь недолго это? {Стихи даны в переводе М. Павловой.}

Подруги подхватили эти странные стихи. Они заучивали их на память, декламировали на нарах и в уборной. Так стихотворение «Апель» дошло и до Вали. Она разыскала меня и решила помочь мне.

Как старая, «влиятельная» заключенная, Валя заставила мою блоковую задержать меня на время в карантине. Таким образом я все еще ждала назначения на работу. Утром я шаталась без дела по лугу, тщетно отыскивая знакомые лица. Там было много чешек, француженок, несколько пожилых полек. Они сидели небольшими группами и вспоминали прежние времена. Эти попали сюда преимущественно за своих детей, за сыновей, за мужей. Слабые, измученные, они отдавали себе отчет, что долго не продержатся, но ревира все же избегали, напрягая все силы,

старались выдержать апель.

Нас забрали на санобработку. Первый раз я попала в зауну.

— Это значит, будем мыться! — повторяли мы с восторгом. — Это значит, будем чистые и, может, отдохнем от этого ужасного зуда, ведь халаты тоже обработают.

Пятерками мы отправились в зауну. Действительно, халаты у нас забрали, а нас пустили под душ. Купанье продолжалось три минуты, ведь, кроме нас, подлежало обработать еще несколько блоков. Ни мыла, ни полотенец нам не дали. Мы вышли во двор мокрые, щелкая зубами от холода. Перед бараком стояла заключенная, обслуживающая зауну. Мы гуськом подходили к ней. Она смачивала тряпку в миске с дезинфицирующей жидкостью и протирала нас. Наши неловкие, стыдливые движения вызывали беспрерывный смех у собравшихся поблизости эсэсовцев. Они стояли группками, и видно было, что все это доставляет им развлечение. Если какая-нибудь из нас хотела пройти мимо миски, ее хватали и тащили силой, осыпая ругательствами. Особенно издевательским смехом эсэсовцы провожали пожилых женщин, для которых это представление нагишом было тяжелым унижением.

Одна из пожилых женщин спросила:

— Придет ли когда-нибудь время, когда их матери будут вот так же выставлены на позор?

— Думаю, что придет.

— И мы тоже будем над ними смеяться?..

— На это мы, пожалуй, не способны, но мы скажем тогда громко, на весь мир: «Это матери преступников, это те, которые воспитали их»…

Халаты нам еще не вернули после обработки. Мы ждали их. Близилось время апеля. Вот-вот приедут ауфзеерки и начнут поверку. Апель не может быть нарушен ничем. Нам приказали идти к баракам.

Мы были потрясены. Оказалось, что перед другими блоками тоже согнаны голые женщины.

Возле одного барака стояло несколько детей. «Арийские» дети из Замойска. Дети шести-семи лет, не больше. Они попали сюда в 1942 году с родителями, которых удушили газом. Это был период, когда еще и «арийцев» умерщвляли газом или делали им уколы фенола в сердце. В последнее время условия «изменились к лучшему», как рассказывали нам старожилы. В 1942 году, например, проводились общелагерные, генеральные апели. 31 января 1943 года был последний генеральный апель, когда люди простояли на морозе 14 часов. По окончании апеля всех заставили бегом бежать к лагерю, а тех, что шли медленно или

останавливались, забирали в блок смерти. У тех, кому удалось выдержать этот апель, были отморожены руки и ноги.

Теперь эти дети казненных — постаревшие, все испытавшие дети — стояли серьезные, твердо сжав губы.

Здесь же жались друг к другу пожилые женщины, матери взрослых сыновей. Все нагишом. Был погожий сентябрьский день, но в шесть часов вечера, после мытья, нам было очень холодно без одежды. Наконец прибыли ауфзеерки и эсэсовцы. Посмеялись над этим зрелищем, пересчитали нас и уехали.

Но вот из зауны получены наши полосатые халаты. Совсем мокрые после дезинфекции. Мы надели их. Стало еще холоднее. Подумав, я сняла халат. Легла на нары нагишом. Я была сейчас еще грязнее, чем перед обработкой. А на следующий день по-прежнему по мне ползали вши. Халаты все еще не просохли. После утреннего апеля половину нашего блока отправили в ревир.

«Не пойду, — повторила я себе упрямо, хотя уже чувствовала, что у меня жар, — не пойду, пока меня не отнесут». В полдень показалось солнце. Кто-то дал мне хлеба. Я перестала дрожать.

Хлеб мне дала полная, веселая женщина, у нее были длинные волосы, и она была в штатском платье.

— Где ты работаешь? — спросила я. — Ты прекрасно выглядишь.

— Меня только что выпустили из бункера, я простояла там на ногах восемь месяцев.

— Неужели это возможно? За что?

— Сама не знаю. В один прекрасный день за мной пришли и забрали. Видно, произошло какое-то изменение в моем «деле». Заперли меня в бункер… и все. А выгляжу я так потому, что парни организовали мне помощь. Бункер ведь находится в мужском лагере. Они кормили меня, подбадривали. Все восемь месяцев я стояла без движения и вот… растолстела. А весела я потому, что могу наконец двигаться, дышать воздухом. Ты не имеешь понятия, как это замечательно… после бункера.

Я смотрела на нее с изумлением. Сколько же она выстрадала, если здесь ей кажется «замечательно».

— Никогда не падай духом, — добавила она. — Человек способен многое вынести, гораздо больше, чем он это может себе представить. Пробудешь здесь несколько месяцев, сама убедишься.

— Несколько месяцев?.. Это невозможно!

— Я тоже раньше так думала. Каждая так вначале думает и все-таки переносит. Если бы при аресте тебе сказали, что тебя ожидает, ты предпочла бы сразу умереть. А ведь еще ничего и не

было, только начнется… приближается зима. Теперь, впрочем, лучше, — теперь хоть как-то заботятся о чистоте в лагере. Я знаю, тебе трудно поверить, но, когда я приехала сюда, было гораздо хуже.

На другой день мы работали в поле. Я попала в группу, состоящую из ста женщин. Мы торжественно, в ногу, прошли ворота. День был прохладный. Перед нами и позади нас тянулась бесконечная вереница полосатых халатов, марширующих так же, как и мы. Рядом с каждой десяткой шла анвайзерка. Затем следовал часовой с собакой. Мы проходили мимо мужчин, которые тоже направлялись в поле. Нам приказали петь. Конечно, по-немецки. Некоторые послушались приказа — это были черные винкели. Они пели низкими, охрипшими от крика голосами.

Мы проходили мимо лугов, мимо вымерших усадеб, мимо вырубленных лесов. Изредка проезжал на велосипеде какой-нибудь «вольный». Лишь немногие имели пропуска на территорию лагеря. Им запрещалось заговаривать с заключенными. Они проезжали, не глядя на нас, чтобы не накликать на себя беду. Чужие, далекие. Из другого мира.

Рядом со мной шла русская девушка Шура, студентка из Киева. Она лукаво смеялась, морщила нос и передразнивала нашу анвайзерку:

— «У тебя есть хлеб, давай хлеб». Вот дура, — добавила она певуче по-русски, — дала бы я ей хлеб, как же, с ума сошла, идиотка…

Внезапно Шура остановилась, увидев кого-то в проходившей мимо нас колонне женщин. Она напряженно всматривалась и вдруг выбежала из ряда.

— Наташа! — крикнула она и бросилась к девушке из проходящей группы.

Они прильнули друг к другу, плача и смеясь. Это продолжалось с минуту. Анвайзерка оттащила Шуру от Наташи и втолкнула опять в колонну.

— Пошла, пошла!

— Где мама? — кричала Шура, повернувшись назад, куда уходила Наташа.

— Не знаю, — ответила Наташа, удаляясь.

— А Мишка?..

— Не знаю.

— Молчать! — орала наша анвайзерка. Шура рыдала. Вдруг она что-то вспомнила и снова выбежала из ряда.

— Наташа! — закричала она. — Где работаешь, какая команда?

Ответа не было. Наташа ушла уже далеко.

— Кто это? — спросила я у рыдающей Шуры.

— Сестра. Два года ее не видела. И вот… не знаю теперь, где она… наверно, голодная…

Все шли молча, под впечатлением этой встречи. Два года сестры не виделись и не могут даже поздороваться, неизвестно, когда еще встретятся и встретятся ли… Не могли обменяться словом о своих родных… «А что, если моя сестра тоже здесь? — вдруг пронзила меня мысль. — И так же голодна, как все мы. Или, может, мама…»

Мы проходили мимо обезлюдевших деревень вдоль железной дороги. Перед виадуком остановились. Шлагбаум был закрыт. Проехал пассажирский поезд. Пассажиры высовывались из окон, испуганно указывали друг другу пальцами на наши бесконечные ряды. Дружески махали платками — долго-долго, пока не подняли шлагбаум. Мы шли дальше…

Пастушок, погонявший коров, увидя нас, убежал в поле. Коровы загородили нам дорогу, громко мыча. Анвайзерка разразилась бранью, часовой спустил собаку. Мы отдыхали, пока длилась эта суматоха, затем снова двинулись дальше.

После нескольких километров пути нам раздали лопаты и заступы. Голод уже терзал нас, мы были измучены этим неожиданным маршем, а день еще только начинался. Каждой пятерке был указан квадрат земли, который надо было перекопать к полудню.

Я вбила заступ в твердую землю. Смотрела на других и следовала их примеру. Я выучилась отдыхать с ногой на заступе в момент, когда анвайзерка уже прошла мимо. Труднее всего было отбрасывать землю. У меня не хватало сил поднять лопату. Рядом со мной обливалась потом Шура, с ожесточением отбрасывая землю. При этом она бормотала себе под нос:

— Вообрази, что ты копаешь для них могилу, тебе сразу станет легче, вот увидишь…

Анвайзерка вертелась поблизости, угрожающе поглядывая на тех, кто отдыхал. Время от времени она заговаривала с часовым, кокетливо смеясь, но тут же спохватывалась и кричала в нашу сторону:

— Работать, свиньи! Живей!..

Силы у меня совсем иссякли. Рядом упала какая-то женщина. Мы подняли ее и положили на траву. Она была в обмороке. Я стала щипать ее, чтобы привести в чувство. О том, чтобы дать ей воды, нечего было и мечтать.

— Оставить этот старый лимон! Работать! Живо! — раздался надо мной крик анвайзерки, и она швырнула в меня лопату.

Лопата ранила мне ногу, потекла кровь. Я поплелась к

недоконченному рву.

— Она в положении, — шепнул кто-то.

— Кто?

— Та, что упала. Она говорила мне, что в положении.

К двенадцати часам мы уже насыпали высокий холм, а ров все еще надо было углублять.

Привезли обед в бочке. Не менее получаса я стояла в очереди за супом из крапивы. Суп мне очень понравился, только было слишком мало. Я съела его за несколько минут; это были короткие минуты отдыха. После супа я почувствовала себя еще более голодной.

Вокруг то и дело ссорились. Группы соревновались друг с другом не за увеличение темпа работы, а за уменьшение. Некоторые пятерки окончили свою работу быстрее, и им выделили новые участки, тех же, которые не сумели вырыть за это время свой квадрат, подгоняли и били.

— Не слишком усердствуй, — слышалось отовсюду. — Хочешь у них выслужиться, получить медаль?

— Не вмешивайся, я делаю свое…

— Не хвастайся, если у тебя больше сил. Теперь вот мы страдаем из-за тебя. Эта обезьяна видит, сколько можно выкопать за это время, и орет на нас.

Но ничто не помогало. Усердных было много. Трудно понять, откуда у них брались силы. Они не обращали внимания на товарищей. Бывали, правда, и такие случаи, когда одна выручала другую, заслоняя собой от анвайзерки, чтобы дать подруге отдохнуть…

В пять часов мы сложили лопаты и вернулись в лагерь на апель. Голод терзал кишки. Мучил холод. Болели руки, ноги, болели все кости, и чувствовалось, как слабеет сердце. Я мечтала о минуте отдыха, а нас ждал еще апель. Со всех сторон возвращались маршем в лагерь аусенкоманды. Усталые, едва волоча ноги, мы шли безропотные и злые. Оживить нас — на одно мгновение — мог только раздаваемый во время апеля хлеб. Мы ломали его нервно, дико, съедали быстро, жадно.

Так работали мы в поле неделями. Возвращались в дождь и снег, вязли в грязи по колено, обливались потом на солнцепеке. Ни укрыться, ни пожаловаться. Утром мы бежали за супом, после полудня — за хлебом. Мы уже хорошо знали дорогу, лица ауфзеерок и часовых, знали все их ругательства и мелодии маршей, исполняемых оркестром. По пояс в воде, мы ворошили сено, в липкой мокрой глине копали картошку, сажали брюкву, выпалывали сорные травы…

В жаркую погоду, мучимые жаждой, с пересохшим горлом, с

запекшимися губами, мы вязали снопы, глотая пыль, стояли у молотилки. Часто работали без обеденного перерыва до самого вечера. Вечером мы проглатывали свой суп, прокисший от зноя.

На другой день всех мучил понос. Если хоть одна из нас бежала в ближнюю канаву, часовые спускали на нее собак. Приниженные, затравленные женщины боялись сойти с места, топтались в собственных нечистотах.

Однажды какой-то украинке удалось бежать. В лагере объявили апель. Поставили стол, к нему привязали анвайзерку, ответственную за группу, из которой убежала украинка. Эсэсовец дал двадцать пять ударов палкой. Анвайзерка кричала, потом только мычала от боли. Сам лагерфюрер подошел и прижал ее голову покрепче к столу. При двадцать третьем ударе девушка потеряла сознание. Ее отвязали, она была совсем черная. У нее были отбиты почки. Подруги отнесли ее в ревир в бессознательном состоянии. Спустя несколько дней она умерла.

Иногда удавалось, обманув контроль в воротах, спрятать и пронести несколько картофелин. Иногда удавалось за работу в поле получить «цулягу» — добавку, 150 граммов хлеба и кусочек колбасы. Темой разговоров было одно: дадут нам сегодня цулягу или опять не дадут…

Возвращались с поля, почти всегда неся на плечах труп подруги и отбивая левой ногой такт марша.

Ни на минуту нельзя было остаться одной. Я чувствовала, что все более дичаю, что ненавижу людей, не могу слышать ни ссоры, ни смех. Взгляд у нас всех был угасшим, мы ненавидели молча. После стольких часов стояния я ложилась на нары, полуживая от усталости, и минуточку перед сном отдавалась мстительным мечтам о том, как я становлюсь, анвайзеркой, а они, эти проклятые гитлеровцы, заключенными — «хефтлингами». Мысленно я душила их, и только эти «мечты» могли меня убаюкать.

Глава 4
Работа под крышей

Однажды — это было в воскресенье — нас не повели в поле; вместо этого послали рыть канаву для канализации перед нашим блоком. В этот день пришла Валя и велела немедленно отправляться в зауну. Она знала, что силы мои тают, что долго мне не выдержать. Я поняла, что это решающий момент в моей лагерной жизни. Работать под крышей, где угодно, только бы под крышей! Я шла и ломала голову над тем, как бы произвести в зауне «хорошее впечатление», но трудно было что-нибудь придумать. В зауне меня приняла Магда, та самая Магда, которая так страшно била нас, когда мы прибыли в лагерь. Я хорошо ее запомнила. Мороз пробежал у меня по спине.

— Меня прислали сюда из «центра» на работу, — произнесла я, наученная Валей.

— Воображаю, что ты умеешь! Ты, кажется, стихи пишешь? Говорят, интеллигентная. Ну, так возьми тряпку и протри окна, и чтобы до блеска, посмотрим, на что ты способна.

— А где тряпки?

— Может, я должна дать их тебе в руки? Посмотрите-ка на нее! Сама сорганизуй.

Я отправилась на поиски. На полу валялись какие-то лохмотья. Я подняла рваную блузку. И тут же получила от Магды по рукам.

— Это вшивое, не трогай, идиотка, — сразу видно, что поэтесса.

Я пошла искать чистую тряпку. Какой-то блок в это время мылся. В воздухе, насыщенном запахом человеческого пота, не утихали крики, ругань Магды. Нестерпимый голод мучил меня. Я шла между душами, и вдруг все передо мной закружилось, сердце мне будто кто-то стиснул. Я пошатнулась и потеряла сознание.

Когда я открыла глаза, надо мной стояла Валя с каплями. Не знаю, кто позвал ее.

— Старайся относиться ко всему равнодушнее, — успокаивала она, — привыкнешь. Здесь все же лучше, чем на «аусене». Я вот в течение полугода таскала огромные котлы в кухне, плакала все время, а теперь посмотри-ка на меня…

— Мне нужна чистая тряпка для окон. Магда велела… не знаю откуда… — бормотала я.

Кто-то подал мне тряпку. Я отправилась в большую комнату зауны. Там собрались все после душа. Я стала протирать стекла.

Магда стояла за моей спиной и издавала какие-то странные звуки. Я оглянулась. Оказывается, она смеялась надо мной. Наверное, это и в самом деле выглядело смешно: протирая окна, я держалась за косяки, чтобы не упасть. Магду это забавляло. Стекла были чистые, но все время затуманивались изнутри. Магда истошно орала:

— Это называется вытерто? Это называется работа? Не отойду от тебя, пока не будет как зеркало.

— Магда, стекла запотели…

Она ударила меня.

— Сейчас же скажу ауфзеерке, что ты дерзишь, что ничего не умеешь делать, пойдешь в поле и сразу подохнешь, вместе со своими стихами.

— Магда… Я постараюсь…

— Хотела бы я знать, сколько времени тебе на это потребуется…

Она ушла. Я терла стекла, дула на них, ничто не помогало. Я не знала, что делать. Отошла от окна. «Самое большое — убьет», — успокаивала я себя. Но Магда уже орала на кого-то другого. Мне повезло. Прибыла партия цугангов, теперь Магде есть на ком срывать зло, я перестала ее интересовать.

Это был транспорт из Голландии. Около тысячи женщин. Говорили, что еще несколько транспортов находятся в пути. Надо было торопиться, предстояло работать всю ночь.

Все шло, как обычно. Они раздевались, им брили головы, мыли, они входили группами в комнату, где я «распоряжалась». Магда поставила меня наблюдать за порядком. Моей обязанностью было каждой выходящей после душа указывать направление: за платьем, за колодками, за «штрайфой» (штрайфу — знак в форме креста мазали на спине красной краской). Цуганги не знали, чего от них хотят. В Голландии ни о чем подобном еще не слыхали. Прибывшие не чувствовали за собой никакой вины. Не понимали, что с ними происходит. Они задавали мне вопросы, но я не понимала их языка. Я могла только жестами указывать им направление. Видно, я не внушала им страха, они меня совсем не слушались. Их занимало только одно: у каждой была где-то рядом сестра, мать или подруга, и они боялись их потерять. Я не могла ничего с ними поделать. Просила, кричала, грозила, но они расползались во все стороны, что-то выкрикивая.

Царила полная неразбериха. Это было уже поздно вечером. В зал входила 15-я группа. Я беспомощно стояла среди толпы.

— Кристя! — услыхала я голос Магды. — Что здесь происходит, почему они не построены пятерками?

— Не хотят, не могу ничего от них добиться.

— Бей!

— Что?

— Бей, слышишь! А не будешь бить, завтра же вылетишь отсюда. Ты здесь для того, чтобы помогать, а не путаться под ногами.

— Но, Магда… пойми, я бить не буду.

Она подошла ближе и подала мне палку.

— Будешь… слышишь, будешь! Впереди еще целая ночь работы. Если не будешь бить, никогда не выстроишь их… Ну? Не будь неженкой. Хочешь пережить Освенцим и боишься бить?

— Я не боюсь. Не хочу.

— Посмотрим!

Я подняла палку вверх и крикнула:

— Построиться пятерками! Лос!

Помогло. Я спросила, кто из них знает немецкий. Отозвалась одна. Я опять подняла палку.

— Внимание!

Я просила переводчицу сказать всем, что мне велено бить их, но я не хочу и прошу их построиться пятерками.

Она перевела. Палка жгла мне руку. Я отбросила ее и заплакала. Какая-то голландка подошла, подала мне руку и стала меня в чем-то заверять. Вместе с переводчицей мы начали строить людей в ряды. Дело пошло лучше.

Всю ночь я ни на минуту не присела. Прибывали и прибывали новые заключенные. И все начиналось сначала.

Тот же безумный взгляд, бессвязное бормотанье, после бритья — все на одно лицо. Усталые, измученные люди задают одни и те же вопросы: «Где мы? Где моя мама? Ее взяли из машины. Что здесь с нами будут делать? Когда дадут есть? Когда разрешат лечь?»

Я едва держалась на ногах от усталости. Отвечала слабым, охрипшим голосом.

— Вы в концентрационном лагере. Куда поехали машины — не знаю. Вы будете работать, не бойтесь… — твердила я, не думая.

Утром пришел новый транспорт. Еще тысяча. Тоже из Голландии. Не знаю, откуда брались у меня силы. Я стояла на ногах еще весь день и всю ночь. Может быть, поддерживала себя мыслью: «Я должна быть счастлива, у меня работа под крышей».

За голландками последовал транспорт эвакуированных русских с детьми. С узлами, в которых заключалось все их имущество. Детей тотчас же отбирали у матерей и отправляли в другие лагеря, чтобы воспитывать их в гитлеровском духе,

защитниками рейха.

Матери грозили, плакали, рвали на себе волосы.

Все знали маленького Володю. Малыша привезли в октябре 1943 года с транспортом из Витебска. Ему было пять лет, и он был очень забавный. Еще дома его прозвали комиком. Он смешно гримасничал. Мило копировал взрослых, шалил, всех восхищали его шалости. Когда комендант лагеря Хесслер принимал транспорт и другие дети, судорожно цепляясь за юбки матерей, плакали от холода и усталости, маленький Володя подбежал к Хесслеру, лукаво улыбнулся, отдал честь и крикнул:

— Как поживаешь, дядя?

Хесслер прямо-таки остолбенел. Володе удалось вызвать у него улыбку.

После Хесслер часто заходил в русский блок и уже с порога спрашивал: «Где маленький Володя?»

Все в лагере удивлялись: неужели есть еще человеческое чувство в этом чудовище, который хладнокровно отправил столько детей «в газ»? Да еще по отношению к Володе, которого, наверное, растили большевиком, чтобы отплатить фашистам? Хесслер приводил с собой в русский блок еще и Крамера. И Володя, приводя в отчаяние мать, под ненавидящими взглядами остальных женщин, забавлял эсэсовцев как только мог. Он пел им чудесные песенки. Со скрытым под невинной улыбкой лукавством мальчик пел: «Если завтра война»… О, Володя был на редкость умным ребенком.

Но симпатии лагерных властей не повлияли на улучшение условий жизни Володи. Он получал ту же порцию хлеба, что и все дети. И вскоре заболел. Мать Володи хотела попросить, чтобы ее не разлучали с ребенком, чтобы его не брали в ревир, но эсэсовцы перестали появляться в бараке. Володю отправили в ревир, и он умер. В тот день в бараке появился Хесслер.

— Где маленький Володя?

Ему не ответили. Он повторил вопрос громче, раздраженный враждебным молчанием. Подбежала испуганная блоковая и доложила о смерти Володи так, словно извинялась, что сегодня не может, к сожалению, доставить ему развлечение.

— Умер?.. Гм… быстро… — удивился он. — Ну, а есть еще какие-нибудь другие красивые дети?

По требованию блоковой с нар стали слезать изголодавшиеся, больные дети… на конкурс красоты.

Хесслер окинул их пристальным взглядом, но не нашел никого достойного внимания.

— Тут ничего нет, — плюнул и вышел.

На другой день из Берлина пришел приказ отобрать детей, выслать в Германию и разместить среди населения. Они малы, из них еще можно воспитать полноценных фашистов.

На утреннем апеле дети в последний раз стояли вместе с матерями. Двухлетний Петя капризничал, плакал и вертелся между рядами строящихся пятерок. Эсэсовец, принимавший апель, крикнул: «Смирно», и двухлетний ребенок немедленно выпрямился и стал по стойке смирно.

Тотчас же после апеля Петю и остальных детей забрали. Матери прятали их под нары, рыдали, угрожали… Ничто не помогло.

Явился Хесслер и сказал:

— Вы должны быть счастливы. Там им будет гораздо лучше, а вы плачете, глупые бабы.

«Глупые бабы» по большей части потом погибли от голода, холода, отчаяния и тоски. Выживших, наиболее выносливых, высылали в глубь Германии на работы. А детей и след затерялся.

Иногда в зауну приводили на дезинфекцию лагерь Б. Тогда я встречала подруг из Павяка, с которыми меня разлучили. Многие из них уже побывали в ревире.

Началась эпидемия сыпного тифа. Ната лежала в ревире. Янка была больна, но еще ходила на работу в поле. Стефа выглядела ужасно. Ее бил озноб.

— Долго мне уже не протянуть, незачем себя обманывать.

— Что за работа у тебя в поле?

— Копаю картошку.

— Как твое сердце?

— Ежедневные обмороки.

— А что у вас за анвайзерка?

— Чудовище. Тебе хорошо, Кристя, ты работаешь под крышей, можешь даже помыться.

— Я еще ни разу не мылась. Ты говоришь, мне хорошо. Возможно, но только по сравнению с вами.

К этому времени распространилось множество разных слухов. Мужчины тайно передали, что в окрестностях лагеря действует сильный партизанский отряд, с которым установлена связь, и что надо во что бы то ни стало готовить сапоги в дорогу, — в любой день нас могут отбить.

Мы не задумывались над тем, что фронт был слишком далеко, и если бы даже отбили несколько десятков тысяч заключенных, неизвестно, что с этими людьми сталось бы после. Никто и не пытался рассуждать логично. Мы судорожно цеплялись за каждую, даже самую призрачную надежду выбраться

отсюда. Прошел слух, будто на какой-то международной конференции от Гитлера потребовали ликвидации концентрационных лагерей, и прежде всего Освенцима. Гитлер должен будто бы дать ответ в течение 24 часов. В противном случае Германию сравняют с землей. Мы были уверены, что весь мир занимается прежде всего нами и думает только о нас.

Шрайберка сообщила, что заключенным начиная с 50 000-го номера разрешено писать домой. Нам раздали небольшие бланки — в пятнадцать линованных строчек. О чем писать? Все письма звучали одинаково: «Я здорова, чувствую себя хорошо, шлите посылки». Мы плакали, когда писали первое письмо. Вновь на мгновение ожила мечта о свободе, о родном доме, ожило все, что было самым близким, все, что потеряно.

Мне передали, что Зося в ревире. Я пошла туда. Зося и в самом деле заболела, без притворства — как мы было задумали. Она два дня работала в поле под дождем и вот попала сюда — в ознобе, с высокой температурой. Она лежала на нарах над самым потолком и ждала воды.

Ревир, огороженный проволокой, занимал двенадцать бараков. В одном из них помещалась амбулатория, где выслушивали и мерили температуру. Тех, кого признавали больным, помещали в бараки. В восьми «штубах» (комнатах) было по 36 трехъярусных коек, образующих, как говорилось на лагерном языке, первый, второй и третий этажи. На нижнем было темнее всего, а с верхнего было трудно слезать. Все старались получить среднее место, но и в любом месте койка доставалась не всегда. В проходах между койками стояли ночные горшки. Вдоль всего барака тянулась низкая печь, тут производились лечебные процедуры. Над печкой светилась тусклая лампочка, и там было сравнительно светло.

Я взобралась к Зосе на третий ярус, отовсюду поднялись головы.

— Что нового, как там в политике, долго ли еще?

Все заключенные, независимо от социального положения, интересовались «политикой». Здесь нельзя было услышать: «Я политикой не занимаюсь». Политика — это был фронт, это были союзы, возможность десанта, возможность быть отбитыми — наша судьба зависела от политики, каждая это чувствовала. Поэтому прежде всего спрашивали: как там в политике?

— Они уже близко, — ответила я решительно.

— Откуда это известно?

— Одна тут, из канцелярии, говорила. Самое большее надо продержаться еще недели две. На востоке началось новое

наступление.

Я говорила, как заведенная, конечно ровно ничего не зная. Но ведь люди впитывали в себя каждую новость, в ней черпали силы, в особенности здесь, в ревире.

Хорошие новости были, собственно говоря, единственным лекарством.

Зося ласково улыбнулась мне. В ее взгляде я читала лукавое одобрение моим словам. Наконец она сказала:

— Говори, дорогая, я знаю, что ты выдумываешь, но это хорошо.

Появилась докторша. Я вытянулась рядом с Зосей, чтобы она меня не увидела. Здоровым нельзя было входить в ревир. Тело Зоей горело, глаза блестели.

— Кристя, если сможешь, принеси мне горячей воды. Не могу я пить эту бурду.

— Принесу непременно.

Я совсем не знала, как раздобуду воды и как донесу ее горячей в ревир, но не обещать не могла.

Докторша прошла, я соскочила с кровати и вышла из барака. До отбоя оставалось несколько минут. На пороге я споткнулась обо что-то и в ужасе отскочила. В грязи лежал труп. Рядом другой. Голые. Луна освещала барак, но это место было в тени. Я стояла, не шевелясь. Что-то пискнуло, что-то шевелилось возле трупов. Это были крысы. Я подняла камень и бросила. Попала в голову трупа. Удар отозвался в воздухе глухим эхом. Я бросилась бежать, за мной гнались две крысы. Огромные, жирные, они пищали, а я неслась как безумная, добежала до проволоки ревира, пролезла под нею, пересекла Лагерштрассе и опрометью влетела в свой блок. Я вытянулась на нарах, мокрая — от пота. Одна мысль не давала мне покоя. Если Зося умрет, ее вынесут так же, и крысы выгрызут ей глаза… Крысы преследовали меня во сне, они ползали по мне, разрывали, душили, прыгали на меня.

На другой день в зауну пришла партия выписанных из ревира. У всех был еще дурхфаль, они шатались. Их отправили потому, что не было места для новых больных. Каждая выписанная из ревира должна была пройти через зауну так же, как цуганг. Я пришивала номерок к халату одной из них, она держалась за окно, чтобы не упасть. Вдруг меня позвала Магда:

— Что это? — Она указывала на перевернутую табуретку, полную нечистот. Очевидно, кто-то не вытерпел. — Вытри это. Возьми табуретку и вымой!

— Принесу шланг и вымою.

— Нет, вымой руками. Смотрите, какая неженка!

— Но, Магда…

— Ну, живо.

Она была вне себя от бешенства. Несмотря на это, я все же отправилась за шлангом и стала поливать табуретку. Магда принялась орать:

— Возьми табуретку в руки. Кому говорю!

В ту минуту, когда я подняла табуретку, я готова была швырнуть ее в Магду. Она, должно быть, поняла мое намерение и отскочила в сторону. Все расступились. Я шла как в бреду.

На минуту мною овладело какое-то воспоминание. Вот я дома, за столом читаю книгу… Боже, до чего меня здесь довели. И кто же? Такая же заключенная, как и я. А мне остается только слушаться. Я беззащитна…

В тот же день, после полудня, состоялся концерт в «зале» зауны. Концерт для «функцион-хефтлингов» (заключенных, занимающих посты). Для всех капо, анвайзерок и тех, кому удалось выдержать первые годы, — теперь они работали внутри лагеря, «на должностях» — и для тех, что следили за порядком в целом лагере, — для лагеркапо, лагерельтесте (старших по лагерю) и прочих, обладавших правом бить и истязать, кого мы боялись больше всего. Имена Стени, Лео или блоковой фон Пфаффенхофен вызывали не меньший страх, чем имена палачей-эсэсовцев. Может быть, даже больший, потому что они были всегда рядом.

Дирижировала оркестром Альма Розе. Альма была еврейка, ее привезли с транспортом из Вены. Она попала в так называемый «научный отдел» Освенцима, в опытный «кроличий садок». Когда, наконец, выяснилось, кто она, в лагере как раз создавался оркестр. Кажется, из Берлина сообщили о приезде международной комиссии, и надо было показать, как много хорошего делается для заключенных. Кроме того, лагерные власти скучали. По требованию коменданта лагеря Альму Розе перевели из «кроличьего садка» в оркестр. Пока задачей оркестра было только отбивать такт для марширующих в поле, главным инструментом служил барабан. Теперь в концерте барабан будет заменен скрипкой.

Как принадлежащая к обслуживающему персоналу, я имела право присутствовать в «зале». Перед началом концерта я остановилась на минуту вблизи зауны. Рядом

(в скане книги пропущен один разворот)

Мускелерша танцующим шагом возвращалась с эстрады на свое место. После нее выступила полька — элегантная Ева

Стоевская, варшавская актриса. А затем какая-то молоденькая еврейка с большим темпераментом исполнила джазовые песенки, вызвав явный восторг присутствующих эсэсовцев.

Я выскользнула из зала, наполнила горячей водой бутылку и побежала в ревир. Зосенька лежала и смотрела в сторону двери лихорадочными глазами. Я подала ей бутылку. Она пила и плакала. Не знала, как меня благодарить. В тишине спящего барака слышны были только стоны, бред тяжелобольных да доносившиеся сюда звуки музыки.

Однажды нас, несколько человек, послали в лагерь Б за одеялами, отданными на санобработку. Был уже вечер, после отбоя. Впервые мы переступили ворота лагеря в такой поздний час. Ограда горела огнями лампочек. Лагерь спал. Мы стояли у одного из бараков, ожидая одеял. Вдруг к соседнему зданию с огромной трубой подъехал грузовик. Кто-то прошептал:

— Крематорий, смотрите!

В ту же минуту из трубы вырвались клубы дыма, потом искры, затем вверх поднялось пламя. Из грузовика раздался крик. Кто-то выстрелил. Очевидно, часовой в будке. Может быть, со страху. Пламя все разгоралось.

Мне уже бросили связку одеял. Мы возвращались в молчании.

Ночью я не могла уснуть, ворочалась на нарах. Наконец я встала, вышла из барака. В сильном возбуждении я направилась в сторону луга, к ограде. Вдруг из еврейского блока вышла какая-то женщина. Она шла сначала медленно, потом быстрее, наконец побежала с поднятыми вверх руками. Я поняла: она «шла на проволоку».

— Стой! — крикнула я, пытаясь ее догнать.

Непонятная сила удержала меня, я не могла произнести больше ни слова. «Зачем, — думала я, — зачем мешать, разве не лучше и самой вслед за ней?..»

Проволока притягивала как магнит… Сразу со всем покончить. После этого — ничего, только покой. А Зося?.. Сегодня она снова будет ждать воду. А может, придет посылка? Может, случится какое-нибудь чудо?.. Наступление…

Однако искушение было сильным.

Сейчас начнется апель. А дальше все то же — Магда, зауна… О… та уже… уже подходит к проволоке.

— Куда ты, стой! — крикнул откуда-то часовой.

Женщина вздрогнула, остановилась на минуту, руки у нее опустились, голова упала на грудь. Что вспомнилось ей в эту минуту?.. Вдруг она выпрямилась и снова пошла вперед.

Из будки часового раздался выстрел… другой.

Женщина согнулась и упала навзничь, будто деревянная кукла.

Я вздохнула с облегчением. Теперь ей уже хорошо…

Кто-то рванул дверь ближайшего барака.

— Апель! — хриплым голосом крикнула заспанная, лагеркапо в темную, глубокую ночь.

В бараках зажгли свет.

Апель установил недостачу «номера». Пришел Таубе. Обнаружил «номер» у проволоки. Схватив убитую за ноги, он отшвырнул ее от ограды и напоследок еще пнул ногой по голове.

Он был зол, что из-за нее апель прошел плохо. Бормоча себе под нос ругательства, позвал кого-то, велел еще раз проверить номер.

В 12 часов объявили лагершперре. Снова селекция. На этот раз день был дождливый, прохладный. Но согнанные из бараков — почти все греческие еврейки, часть голландских и польские из Бендина и Сосновца — раздевались и шли голыми в 25-й блок. Однако ни в этот день, ни в следующий грузовики за ними не приехали.

Мы издали обходим это место. Только бы не слышать слабеющие голоса: «Пить, мама, мама, пить!» Только бы не видеть эти глаза, руки…

Спустя три дня произошло небывалое в истории лагеря событие. Открыли блок смерти и выпустили всех обратно в лагерь, в бараки. Когда 25-й открывали, Таубе и ауфзеерка отскочили. Запах разлагающихся трупов был невыносим. Лишенные пищи, воды, воздуха, многие скончались. Это было во время вечернего апеля. Освобожденные из блока смерти проходили мимо нас. Они улыбались, растерянно, удивленно, — возможно ли это, что они будут жить? По улице плелись полутрупы.

Это необычное событие вызвало среди нас большое оживление. Самые оптимистические слухи распространились по лагерю. Будто запрещено уже умерщвлять газом. Распоряжение отдано самим Гиммлером. И будто власть над лагерем переходит к армии.

На следующий день жертвы «селекции» были загнаны обратно в 25-й блок. Их взяли согласно зафиксированным ранее номерам, а вечером свезли в крематорий. Оказалось, что лагерное начальство не получило приказа из Берлина об уничтожении этого транспорта. Приказ пришел в лагерь как раз после того, как их выпустили.

Снова я получила посылку. Яблоки. Я была очень счастлива,

понесла их Зосе. Она ела яблоки, и лицо ее прояснилось. Будто сразу почувствовала себя лучше. Но все жаловалась на вшей. День и ночь напролет она только и делала, что снимала рубашку и искала. Шея у Зоей стала сморщенной, она очень исхудала.

Эпидемия тифа все разрасталась. Никто не вмешивался в дела ревира. Эсэсовцы боялись заразиться. Врачи из заключенных организовали помощь как могли, не имея никаких медикаментов. Для больных уже не хватало мест. Они лежали по трое, четверо на узких нарах. В ревир принимали только с температурой не ниже 39. Я знала, что тиф меня не минует. Подруги предостерегали:

— Зачем ты туда ходишь? Ведь заразишься…

Предостережения эти были наивны. Тифозные вши ползали по всему лагерю. Я была в несколько лучших условиях, работая в зауне. Мне удалось несколько раз вымыться под душем и сменить белье.

По вечерам, когда мы возвращались в блок, происходили дискуссии. Чаще всего на лагерные темы, иногда на политические. Информацию мы получали у девушек работающих в политическом отделе или в канцелярии. Где-то было подслушано радио. Что-то уловили из слов начальника-немца. Кто-то из мужского принес новости. Подслушали разговор ауфзеерок.

— Оберка сегодня злая-презлая, — констатировала Стася из политического отдела.

— Из чего ты это заключаешь?

— Девушек, возвращавшихся с работы, так избила… Потом стояли на коленях. У одной ей не понравилось выражение лица, у другой — как пришит номер, а у третьей — платок плохо повязан.

— За такие преступления она ведь наказывает каждый день, что же особенное случилось сегодня?

— А сегодня причины особые. В политическом отделе отказываются переменить Кате звезду на винкель. Оберка даже рискнула своей репутацией, вмешавшись в это дело. Но Катя вернулась сегодня заплаканная. А в политическом ведь сидит Брот, ты понимаешь, он ни за что на это не согласится.

— Ничего я не понимаю. Почему не согласится?

— Потому, что он любовник Евы, а Ева ненавидит Катю.

— А кто эта Ева?

— Тоже словацкая еврейка, такая рыжая, работает в «центре».

— Почему же она ее ненавидит?

— Женская зависть — из-за влияний, из-за красоты, как везде.

— Это и есть причина злости оберки?

— Да, Катя ее любимица. Катю любят бабы, а Еву мужчины.

— Значит, все из-за того, что эти две ненавидят друг друга?

Плохое настроение начальства, как всегда, отражается на бедных заключенных!

— Конечно. Ты не представляешь себе, какие там интриги. Запомни: если Стеня, лагеркапо, изобьет до смерти несколько человек, причину надо искать именно в этих интригах.

— Кто эта Стеня?

— Молодая девушка, полька, нам стыдно, что она полька. Оказывается, фашисты всюду находят себе лакеев. Выродков на свете достаточно. У Стени на совести, пожалуй, не меньше жертв, чем у иной немки-ауфзеерки.

Глава 5
Ревир

В эту ночь мне снилось, что я прохожу сквозь строй, в котором стоят Катя, Стеня и оберка. В конце этой шпалеры бледная Зося протягивает ко мне руки. Но пройти к ней мне никак не удается. Я проснулась мокрая от пота. Дали уже сигнал утреннего апеля. Я сидела на нарах в каком-то страшном ознобе, не имея сил подняться. Неужели тиф? С трудом я заставила себя встать и выйти из барака. Меня трясло все сильнее. Я уже знала, что больна.

Я слышала, что тиф можно «перенести» на ногах, и решила попробовать. Никому ничего не говорила. На апелях стояла как все. Чувствовала, однако, что жар все усиливается. И наконец однажды потеряла сознание.

— Но ведь у тебя тиф, — решила Валя, приглядевшись ко мне.

— Валя, прошу тебя, сделай так, чтобы мне не идти а ревир.

Блоковая получила лук и не выкидывала меня из блока. Я страшно боялась ревира. Здесь еще ко мне кое-кто заглядывал, а в ревире — люди заживо гнили в одиночестве.

Целый день я пролежала без сознания. Бредила. Это был какой-то приятный полусон. Мне чудилось, будто я иду улицами Варшавы, запруженными народом. В руках полно пакетов, я хожу из магазина в магазин и улыбаюсь людям. Шаг у меня ровный, упругий, я здорова… Пробуждаюсь — лежу вспотевшая на сеннике и чувствую, как ползают по мне вши. Нестерпимо хочется пить, я кусаю губы, но глаза не открываю, стараюсь снова вернуться к своим сонным мечтаниям, и мне это удается.

…Сижу на террасе какого-то большого дома возле самого моря. В лучах заходящего солнца море играет переливами красок. В руке у меня гребень, я расчесываю им волосы… Внезапно просыпаюсь, хватаюсь за голову, волос нет… Открываю глаза, рядом ссорятся две штубовые, вырывая друг у друга хлеб…

— Пить… — прошу я раз, другой, никто не слышит меня. Снова засыпаю. На этот раз мне снится, что я иду среди огромной толпы, со знаменем в руках. Кто-то кричит: «Война окончена, да здравствует свобода!» Мы шагаем к трибуне. На трибуне стоит Таубе — сама смерть с косой. Я рвусь вперед, хочу ударить его и… с криком просыпаюсь.

— Что с тобой, Кристя?

— Ничего… пить…

Я пробую встать с нар. Ноги подкашиваются, они словно не мои, словно из ваты. Падаю обессиленная.

— Что с тобой? — спрашивают меня с нар.

— Ничего.

Никто не слышит меня, но нет сил говорить громче. Лежу до утра на полу и брежу. Утром меня поднимают.

В двенадцать часов дня приходят за мной с носилками из ревира. По поручению Вали.

Морозный день. Солнце стоит высоко. Меня несут через лагерь, покрытую одеялом. Кажется, будто я лечу куда-то. «Как хорошо, что я умираю теперь, — думаю я, — какая прекрасная у меня смерть, пусть бы так длилось бесконечно…»

Вдруг становится темно, душно, меня ставят на пол, кто-то рядом стонет, кто-то отчетливо говорит:

— Смотри, Кристю принесли, боже, как она выглядит!

Другой голос добавляет:

— Долго не протянет, бредит уже несколько дней, у нее слабое сердце…

Меня кладут на сенник. Здесь уже кто-то есть. С трудом вытягиваю ноги. Ступни той, другой, касаются моего лица. Вот так я лежу несколько дней. Голова разламывается от боли. Но все время в памяти держится мысль, что я жду Валю, она приносит мне по вечерам горячую воду. Я получаю посылки, но нет сил открыть их, взглянуть, что там. Я ничего не ем. На соседней койке лежат голодные женщины, ночью я вижу, как они достают из моей посылки еду. Меня это не волнует. Та, с которой я разделяю место на нарах, тоже тяжело больна. Она то и дело толкает меня ногами, мечется в жару. Я прошу ее вести себя спокойнее, но она не отвечает. Однажды вечером я слышу, как Валя говорит:

— Завтра кризис, если выдержит, может, и будет жить. Только вряд ли, сердце у нее слабое…

Я очнулась после этой ночи. Была так бессильна, что не могла ни поднять руку, ни шевельнуться, ни вымолвить слово. Но уже, к несчастью, в полном сознании. Со всех сторон просили то ночной горшок, то судно, воздух был невыносимо тяжелый. Все кости у меня ныли. С соседних коек поднимались больные — голые, сплошь покрытые нарывами. Я ощупала свою голову. Волосы, которые у меня уже немного отросли, слиплись, их невозможно распутать. Невыносимо чесалось тело. Это была чесотка. Ею болели все. Кроме того, нарывы и волдыри между пальцами рук, водяные и гнойные, мучили так, будто тело резали ножом. И это наболевшее зудящее тело атаковали блохи и вши. Невозможно забыться сном ни на минуту.

Однажды ночью я села в постели — в первый раз за время

болезни — и принялась яростно расчесывать тело, рвать его. Я была близка к безумию. И уже не владела собой. Из расчесанных мест лилась кровь, вытекал гной. «Вот и хорошо, — думала я, — теперь, наверное, начнется заражение и я умру». Но кто-то из моих подруг залепил все раны бумагой. И снова я осталась жить.

После кризиса я почти не спала. Ночи были фантастически страшные. Казалось, нет конца этому кошмару. На всех койках сидели голые существа, лысые, покрытые пятнами, нарывами, залепленные пластырями, яростно скребущиеся. Непрерывно то с той, то с другой койки неслись стоны умирающих: «Пить… пить…»

В блок, где я лежала, попало несколько лишившихся рассудка. Одна из них, молодая девушка, советская парашютистка, — ее схватили где-то в окрестностях лагеря — была в буйном состоянии; в конце концов ее связали, и теперь она кричала — на одной ноте — целыми ночами. Казалось, в этом страшном крике она хотела выкричать боль всех страдающих, и часовым в их будках, наверно, было не по себе.

В бараках ревира обычно лежало в среднем по триста больных. Во время эпидемий — не менее девятисот. В январе 1943 года случались дни, когда одних лишь полек умирало до четырехсот человек.

Как только врачи либо санитарки констатировали смерть — тут же трупы выносили и складывали возле барака. Когда набиралось много трупов, приезжала так называемая «лайхенкоманда» — «команда по трупам» — и забирала, их в крематорий.

Больные, стоило им почувствовать себя немного лучше, старались слезть с нар. Держась за доски, они брели к пёчи в центре барака. Так встретилась я с Натой. Когда она проходила мимо моей койки, я остановила ее, она с трудом узнала меня.

— Тебе пишут из дому? — спросила Ната.

— Да, получаю и посылки.

— А знаешь, ведь и Янка в ревире. Оказывается, и муж ее тоже здесь, в лагере… а она так радовалась, что ей удалось надежно скрыть его. Вчера умерла Веся, помнишь ее?

— Помню, это та, у которой маленькая дочка в Варшаве? Она показывала ее карточку еще в Павяке.

— Да, та самая, она отсидела там два года. А сегодня умерла ее подруга, Бася, ей было всего двадцать лет. Но ничего, ничего, все будет хорошо.

— Ты, я вижу, Ната, нисколько не изменилась. Что это значит: «будет хорошо», разве они оживут? А нам с тобой разве вынести все это? Свирепствует эпидемия… Лечить не лечат. Ну, а

как ты?

— Сегодня я третий раз спустилась с нар. Страшно слаба, но так хочется продержаться до конца! Подумай, какая будет интересная жизнь после такой войны…

— Даже если ты переживешь, неужели ты будешь похожа на нормальных людей?

— Лагерь, конечно, оставит свой след, но все-таки мы будем счастливейшими людьми. Нас будут радовать даже пустяки, которых раньше мы не замечали, не придавали им никакого значения. Будет радовать, что у тебя чистое тело, что ты видишь лес, едешь трамваем, живешь в городе, гуляешь на свободе.

— Замолчи, Ната, этого никогда не будет… Я даже стараюсь забыть, что все это когда-то было. Лучше уж думать, что я родилась здесь в бараке, что я всегда была «номером». Так легче. Я отучилась думать, мечтаю всего лишь о лекарстве от чесотки, и больше ни о чем. Вот если бы догадались и прислали в посылке… да, это было бы счастьем.

Ната медленно пошла к своей койке. В первый раз после кризиса я так много говорила. От слабости я не могла шевельнуть рукой. В ушах шум, и все голоса, даже тех, кто стоял совсем рядом, долетали до меня словно издали. Я слышала, как вызвали мой номер, но не могла подать голос, не было сил. Наконец меня нашли. Это пришло письмо. Подруги помогли мне сесть. В полумраке я узнала почерк мамы: «Мое самое дорогое дитя, ты моя единственная забота, думаю только о тебе. Здорова ли ты? Помни, что ты должна продержаться!»

Письмо дрожало в моей руке. Меня уложили.

— Не плачь, Кристя, может, еще встретишься с мамой, — шепнула соседка по койке.

Я не обольщала себя этим ни на минуту. Потому и плакала. Образ мамы то стирался в памяти, то всплывал вдруг со странной отчетливостью. Стоило взглянуть на письмо, и слезы лились сами. «Все твои старания, мама, напрасны, — думала я. — Сгнию я здесь, как Веся, как много других, и неизвестно, когда ты об этом узнаешь».

— Ты, Кристя, номер пятьдесят пять девятьсот восемь? — спросил кто-то у моей кровати.

— Я.

— Вот, это тебе прислали из мужского… — она протянула мне бутылочку с жидкостью.

— Что это?

— Лекарство от чесотки.

— Кто прислал? Ничего не понимаю, я никого не знаю в мужском.

— Какой-то Анджей, он искал тебя очень долго, трудно было связаться.

— Но откуда он знал, что мне именно это так необходимо?

— Подумаешь, трудно догадаться. Что же ты считаешь, у них в мужском нет чесотки? Если б он наугад послал, и то не ошибся бы. Кому из нас это не нужно? А он расспрашивал о тебе, узнал, что ты в ревире.

Я сжимала в руке чудесный подарок, упавший с неба. Анджей… Ивняк на берегу Солы… Запомнил номер, отыскал… я была растрогана. Натерев тело лекарством, я в первый раз после многих ночей крепко спала.

Марта — крестьянка из окрестностей Кампиновской пущи. Вместе с ней я сидела в Павяке. Ее арестовали по подозрению в связях с партизанами, но сама она не знала, за что сидит. Муж не вернулся с войны 1939 года, она осталась одна с тремя детьми, и вот за ней пришли. Первые дни она вела себя в камере спокойно, только все ночи напролет не спала, сидела и, широко раскрывая рот, жадно хватала воздух, которого ей недоставало. Она никогда ни о чем не говорила, все ее мысли устремлялись только к дому. А домом ее был луг, колодец, хлев, река, лес. В душной камере она думала о пахоте, жатве, уборке урожая. Что сталось с детьми без нее? Она глядела на всех вопрошающими глазами.

Никто «с воли» Мартой не интересовался. Никто ей ничего не присылал. Она худела с каждым днем, все меньше понимала, о чем с ней говорят. А если, бывало, ночью на минутку и заснет, то все равно стонет во сне: «Где моя корова, пора ее доить». Не знаю, почему эта тоска по корове трогала меня больше, чем тоска по людям. Я присаживалась к ней, будила ее.

— Марта, пожалуйста, не кричи, корову подоят, детьми займутся соседи.

— Что будет? — спрашивала она. — Я боюсь.

— Хуже уже не будет. Тебя освободят, это какое-то недоразумение.

Она горько улыбалась и снова глядела в одну точку невидящими глазами.

С нашим транспортом отправили в Освенцим и Марту. Вначале я потеряла ее из виду. После видела несколько раз на лугу, сидящей в стороне ото всех. Она прикрывала рукой свой номер и боязливо озиралась.

— Тут лучше, правда, Марта? Больше воздуха…

— Да, пани староста.

Она называла меня старостой еще со времен Павяка. Там я была «старшей по камере».

— Почему вы прикрываете номер? — спросила я.

— Потому что совсем уже не верю им.

— Кому?

— Никому… всем… злым людям… везде они есть.

Я поняла, что она, — видимо, страдает манией преследования. Больше я ее не встречала. Кто-то однажды сказал: «Помните эту крестьянку из нашей камеры — она сошла с ума…»

Как-то ночью в ревир принесли женщину, положили на соседнюю с моей койку, где уже лежали трое больных, силой втолкнули ее туда. Она была голая и все время стонала. Я не видела ее лица, а если бы и увидела, то все равно не узнала бы. И вдруг в тишине я слышу: «Корова, где моя корова?»

Я встала, наклонилась над ней.

— Марта, это вы?

Она медленно открыла глаза. На меня глядело лицо старухи. Марта улыбнулась и прошептала:

— Пани староста?..

Это были последние слова Марты. Я закрыла ей глаза. Час спустя ее вынесли из барака. Мне казалось, что умер кто-то очень мне близкий. Соседки, те, что полночи мучились с ней на одной койке, были довольны, что все так быстро кончилось и места у них стало больше.

— Наконец-то я могу ноги вытянуть, от нее ужасно, несло, хорошо, что подохла.

— Эх, и зачем только ты кричала, что она померла, можно было бы завтра еще взять хлеб на нее.

Эльжуня прервала чтение стихов и взглянула на больную. Больная — доктор Мария — подняла голову.

— Читай дальше, Эльжуня, это так прекрасно…

Эльжуня, санитарка, старалась исполнять все просьбы больных. Доктор Мария была уже после кризиса, жар спал. Обычно спокойная, молчаливая, сейчас она вела себя как ребенок. Эльжуня и доктор Нуля Тетмайер с беспокойством наблюдали за странными изменениями, происходившими с больной. Эльжуня продолжала декламировать звучным голосом детские стихи:

Почему родилась некрасивой,
Почему есть куклы счастливей,
Почему ее все тиранит
И никто на нее не взглянет…

Больная плачет, не может спокойно слушать сказку о тряпичной кукле. Вдруг она приподымается и пытается сойти с

кровати, голая. Нуля бросает выразительный взгляд на Эльжуню. Больная внезапно заговорила:

— Эльжуня, пожалуйста, брось в корзину сигареты, будет обыск, наведи порядок…

Эльжуня и Нуля Тетмайер хотят вывести больную из блока, на прогулку, ей надо подышать воздухом. Но едва они отворяют дверь, она вырывается и возвращается на койку.

— Знаю, знаю, вы меня вывели… чтобы бросить на проволоку…

Нуля и Эльжуня в ужасе глядят друг на друга. Потом возбуждение Марии переходит в апатию. Она не слушает стихов, ничем не интересуется. Вдруг она подымается на койке и очень спокойно спрашивает меня:

— Что вы во мне заметили?

— Я? Ничего, совершенно ничего.

— Это хорошо. Спасибо. Некоторые хотят, чтобы я пошла на проволоку, но я этого никогда не сделаю. Зачем? Я уже здорова, правда? Скоро мы выйдем на свободу.

Перед апелем она просит не спускавшую с нее глаз Нулю вывести ее на прогулку. Выйдя из барака, Мария бросается в сторону ограды, бежит, перескакивая через ров, прямо на проволоку. Часовой поднимает винтовку. Нуля отчаянно кричит:

— Не стрелять! Она сумасшедшая! Она помешалась!..

Часовой выстрелил два раза. Он обязан стрелять — если больная дотронется до проволоки, произойдет короткое замыкание.

Пережившая голод, апели, вшей и тиф, доктор Мария умерла от пули часового.

В барак вошла Валя из политического и выкрикнула фамилию:

— Малиновская Елена…

И тут же, сияя, добавила:

— Из Варшавы пришло ей освобождение.

Валя счастлива, что сможет сообщить об этом больной. Наконец нашли на койке Малиновскую.

— Вставай, ты освобождена! — крикнула Валя.

Ответа не было.

— Чего ты кричишь, дура, — буркнул кто-то с соседних нар, — не видишь разве — она умерла.

— Когда умерла? — слезы застлали глаза Вали.

— Еще час тому назад я с ней говорила. Все рассказывала о своем сыне.

Валя долго стояла над умершей, держа в руке бумагу на

освобождение.

То и дело кого-то выносили. Кроме тифозных, в 29-м блоке находились туберкулезные больные. 24-й блок был «дурхфальный», 12-й — инфекционный. В ревире появилась «пузырчатка». Это была мучительная болезнь. Волдыри вскрывали, но тут же образовывались новые, и больные умирали в страшных мучениях.

Некоторые врачи — Нуля Тетмайер, Ира Конечная, Кася Лоневская и многие другие — днем и ночью не отходили от больных, с необычайным, жертвенным самозабвением ухаживали за ними. Они достали в мужском лагере лекарство для инъекций. Один из заключенных, хорошо известный всем в лагере, полный энергии Генрик, провозил это лекарство контрабандой.

Понемногу я научилась различать искреннюю помощь, идущую от сердца, и помощь, продиктованную каким-нибудь расчетом.

Удивляло и трогало искреннее участие, обычная человеческая доброта, даже самые простые, но такие неожиданные здесь слова: «Как ты себя сегодня чувствуешь, пробовала ли ты встать?»

Но в то же время стало привычным видеть, как на глазах сотен голодных портились продукты в «чужих посылках».

Я привыкла ко всему. Даже к крысам, которые так осмелели, что забирались на третий ярус нар и грызли трупы. Дрожь пробегала по телу при виде крысы, крадущейся в поисках добычи.

Хотелось крикнуть: «Подожди! Я еще жива…»

Пришла Валя и сказала, что Зося заболела тифом. Сердце у меня упало. Я знала, что никому этого не миновать, но все тешила себя надеждой, может быть, Зося убережется. Уходя, Валя добавила коротко и как-то сухо:

— Состояние тяжелое.

В этот вечер я попыталась встать, мне хотелось навестить Зосю. Соседки по нарам подняли меня, но я не могла стоять. Повисла у них на руках, как тряпичный паяц. Ноги не держали.

— Ничего не выйдет, — сказали они и уложили обратно. Ясно, теперь я инвалид. Смогу ли я еще когда-нибудь ходить? От шума в ушах голова словно опустела. Временами мне казалось, что я потеряла рассудок. Тогда я начинала что-нибудь говорить и наблюдала, какое впечатление производят мои слова на других.

Ежедневно приходила Валя, приносила мне чай. Я знала, что только это меня поддерживает. Все вокруг с завистью смотрели, как я пью. У Вали всегда были в запасе приятные вести, которыми она торопилась поделиться с нами — расскажет, что кто-нибудь

из подруг чувствует себя лучше, что наступление уже дело верное, парни говорили, что собственными ушами слышали по радио.

— Кристя, ну продержись еще две недели…

— Откуда ты знаешь, что именно две недели?

— Все так говорят, ты мне не веришь? — добавляла Валя почти с возмущением.

Я знала, что она обманывает и делает это нарочно, но я верила, старалась верить.

— А Зося? — испуганно спрашивала я.

— Зосе лучше, гораздо лучше, она просила передать тебе привет.

— Почему ты не смотришь мне в глаза, Валя. Если ей лучше, пусть напишет, хоть слово.

— Хорошо, завтра.

— А что еще нового, Валя?

— Больше пока ничего. Альма Розе умерла.

— Тиф?

— Нет, она отравилась, добыла где-то яду. Ты только подумай, ее тело проводила в крематорий Дрекслерка. И при этом драматически произнесла: «Жаль-это был достойный человек».

Кроме Вали, которая заботилась не только обо мне, нас посещали иногда и другие «добрые духи». Приносили суп или кофе или хотя бы старались порадовать хорошими новостями.

Мы иногда говорили между собой, что, если бы заключенные, имеющие доступ в кухню, хотя бы немножко помогали больным, было бы меньше смертей. Но общие дела интересовали очень немногих. К тому же доступ в барачную кухню имели большей частью самые грубые и корыстные.

Приближалось рождество. Луч света впереди. В это время приходило множество посылок от друзей, знакомых. Они хотели вдохнуть в нас хоть чуть-чуть жизни и подчеркнуть, что в этот день они с нами. Получила праздничную посылку и я — печенье, рождественную облатку{Лепешка из пресного теста.}, ветку елки.

Моя соседка по койке заболела дурхфалем в очень острой форме. Некоторые заключенные помогали таким больным, доставали даже где-то воду, мыли их. Они руководствовались одним чувством — оказать помощь. Конечно, иные делали это только за продукты из посылок — за печенье, за яблоки.

Единственным универсальным лекарством от дурхфаля была белая жидкая кашица из стертого в порошок мела — им в ревире белили койки. Этим же мазали рожистых больных и открытые раны. Употреблялось это также и против поноса и часто

помогало.

Я старалась не думать о рождестве, но вокруг все напоминало о празднике. Все, кто получил посылки, вынули из них еловое ветки и повесили у коек. Санитарки, «нахтвахи» (ночные сиделки), «торвахи», а также и некоторые выздоровевшие устроили даже рождественский стол. Приоделись, напудрились, бегали озабоченные, глухие к стонам больных. Я не могла понять, откуда у них платья.

Они были очень возбуждены, им очень хотелось в этот, вечер забыть, где они находятся. Как могли они хоть на минуту оторваться от окружающего, не видеть мучения, не слышать стонов?

— Смотри-ка, елка, — услышала я шепот. И правда, в барак внесли елку. Больные приподнялись на койках.

Это была небольшая, но настоящая елка из лесу. Говорили, будто кто-то получил почтой. Кто-то достал из посылок свечи и дал их на общую елку.

На соседней койке сидели три голые голодные девушки. У них не было праздничных посылок. Две из них били вшей. Третья натирала тело, смачивая руку в ночном горшке. Моча была единственным средством против чесотки и всяких нарывов.

Четвертая девушка на этой койке умирала. Она была очень молода.

— Вставай, Ядька, сегодня рождество, — сказала ей та, что натиралась.

— Дай ей умереть, зачем ты ее мучаешь?..

— Ядька, подожди до завтра, нехорошо умирать в канун рождества. Слышишь, поют коляды.

В бараке тихо пели.

Среди ночной тиши…

Умирающая открыла глаза.

— Где я?

— На небе, — вздохнула с молитвенным видом ее соседка.

Ядя вдруг улыбнулась, услышав другой ответ:

— В аду.

На них зашикали.

— Тише вы, не мешайте.

В Вифлеем спешите…

Ядя оглядела всех и попросила:

— Облатку… дайте…

Я отломила кусочек облатки, положила ей в рот.

— Желаю тебе свободы, — сказала она отчетливо, и глаза ее наполнились слезами.

— Желаю тебе покоя… тишины.

Она закрыла глаза.

Убаюкай же, Иисусе, —

раздалось в эту минуту со всех сторон.

Недалеко от меня лежала пожилая женщина из Лодзи, сна все время плакала.

— Успокойтесь, — просила я.

— Дитя мое, прости, мне стыдно, но в этот вечер моя дочь одна, без меня, а я ведь протяну самое большее несколько дней…

— И моя мать тоже теперь одна и, наверно, не представляет себе, к счастью, как мне здесь… Радуйтесь, что ваша дочь свободна, она дождется лучших дней.

— Дитя мое, ты права, спасибо тебе. Самое важное, что не она здесь, на моем месте. Подойди ко мне поближе.

Я пододвинулась.

— Желаю тебе, чтобы ты свиделась с матерью…

Погасили лампочку, зажгли свечи на елке.

Пришла блоковая и тоже пожелала нам свободы. Все были сосредоточенные, торжественные.

Я взглянула на Ядю. Она была уже мертва. В эту минуту дома, наверно, молились о ее счастливом возвращении.

Какие-то две фигуры подошли к моей кровати. Это были Стефа и Марыся, подруги по Павяку.

— Вы здесь?

— Да, Кристя, мы тоже здесь, уже после тифа. В первый раз сошли с постели. Узнали, что ты тут лежишь, и вот пришли поздравить тебя с праздником.

— Спасибо вам.

— Знаешь, как мало из нашего транспорта осталось в живых…

— Знаю. Не будем сегодня говорить об этом.

Стефа смутилась. О чем же можно еще говорить?

— А у нас сегодня вареная картошка. Жаль, что ты не можешь ходить, взобралась бы к нам, мы на третьем «этаже».

— Откуда у вас картошка?

— Поменяли на грудинку из посылки, а одна санитарка обещала сварить… за кусочек грудинки, конечно.

— Кристя?

— Что, Стефа?

— Мой сын, — зарыдала она, не сдерживаясь больше, — мой маленький… Кристя, если бы он меня увидел такой…

— Пусть уж она сегодня выплачется, — разрешила Марыся.

Стефа положила голову на край койки и громко всхлипывала.

— Ну, пойдем, — сказала Марыся, — слишком затянулся визит для первого раза.

Едва они ушли, пришла Ната.

— Кристя… свободы… Тебе… нам… всем…

— Ната, постарайся выздороветь, такие, как ты, будут очень нужны людям. Обещай мне, что выздоровеешь. Надо как можно скорее выбираться из этого проклятого ревира.

— Обещаю, вот тебе моя рука… Подумай только, что там, в Варшаве, происходит, ликвидируют их, а мы тут…

— Ликвидируемся сами.

Я все ждала Валю и вестей о Зосе. Я предчувствовала, что дело очень плохо, но гнала от себя эту мысль.

Одна из заключенных, стоя у елки, читала стихи о войне и мире, о рождестве. И мои лагерные стихи — они были о смерти.

На грязной наре рядом
близкий друг умирает,
глядит невидящим взглядом.
(Смерть жертву выбирает.)

Кричит, что жить еще хочет,
что дома ждут ее дети,
но обжигает ей очи
дыханье близкой смерти.

Напрасно, дети, год целый
в тоске домой ее ждете,
не знали вы, как ее тело
лежало три дня в болоте.

У блока с другими телами
на землю брошена прямо,
лежала она часами,
любимая ваша мама…

Тут рядом… недалеко
еще одна умирает;
слеза туманит око,
как свечка догорает.

И смерть чье-то сердце ранит
за проволокой колючей,
и кто-то не раз вспомянет
ее слезой горючей.

То мама ждет — не дождется,
кляня тюремщиков злобных.
Но дочь уже не вернется,
как тысячи ей подобных.

Десятки тел несчастных,
коростами пораженных,
о, как они ужасны —
я точно средь прокаженных.

В бессонные ночи в бараке
с тобой говорю я, мама,
мерцает лампа во мраке,
и сон всегда тот же самый:

как в детстве, ты надо мною
склоняешься низко, низко,
и нежной гладишь рукою,
и долго со мной так близко.

Хочу удержать тебя силой,
ох, мама моя родная, но знаю —
ты только снилась
и снова во тьме одна я.

В блок вошла Валя. Сердце у меня сильно забилось.

— Валя, желаю тебе, чтобы ты отсюда выбралась. Ты так заслужила свободу… и прошу тебя, Валя, сегодня скажи о Зосе правду, умоляю, скажи…

— Зося без сознания, потому не написала… Это хорошо, она не знает, где находится…

— Спасибо тебе, Валя, ты очень добра.

Она ушла. Если бы можно было на минуту забыть о том, что делается кругом, если бы уснуть. Но это было так трудно.

Забрали тело Яди. Первым моим побуждением было — не позволить. Пусть хоть сегодня ее оставят в покое…

Кончились коляды. Скрипнула дверь барака. Струя холодного

воздуха ворвалась в комнату. Труп Яди брошен в снег. Сочельник кончился.

Прошло еще несколько дней. Я уже могла сидеть на койке, но в ушах все еще не утихал звон. Сведения о Зосе были туманные, и я боялась правды. Но в этот вечер я твердо решила узнать обо всем.

— Валя, я знаю, что Зося умерла, — произнесла я спокойным голосом, когда Валя подошла ко мне. И мне удалось обмануть ее.

— Откуда ты знаешь? — удивилась она.

— Значит, это правда, Валя! Скажи, как она умирала.

— Зося умерла, не приходя в сознание, она не страдала. Перед этим все твердила о тебе, что Кристе во что бы то ни стало надо вернуться… А потом… я достала простыню… ее не вынесли голой, Кристя. Мы положили ее на печь. Всю ночь горели свечи. И мы были с ней всю ночь…

Итак, Зоси нет, сознание отказывалось понять это. Никогда уже не будет Зоси, не осталось и следа её жизни. Тело ее было брошено у барака, по нему шагали, а потом вместе с другими швырнули в грузовик, увезли, сожгли. И меня не было возле нее, а, наверное, она хотела пить, и некому было подать ей воды…

Все это я мысленно повторяла себе, как в бреду. Я отвечала на чьи-то вопросы, что-то ела, но были минуты, когда сердце мое замирало, казалось, что мне уже больше не вздохнуть. Потом это прошло. Появилось ощущение, будто сердце у меня вынули и положили вместо него тяжелый камень. Кто-то сказал: «Тебе надо поплакать, так нельзя». Но я не могла плакать.

И снова проходили долгие дни и бесконечные бессонные ночи. Выздоравливающие после тифа испытывают ненасытный голод. Соседки мои то и дело открывали посылки и непрерывно что-то жевали. Все еще трудно было привыкнуть к виду этих голых, покрытых нарывами тел, этих несчастных полулюдей. Вся энергия выздоравливающих была направлена только на то, чтобы достать горячей пищи, чтобы уговорить ночную сиделку сварить что-нибудь за продукты из посылок. А это было возможно только ночью. И вот долгими ночными часами ждали мы супа. Наконец под утро сиделка приходила с дымящимся закопченным горшком. Мечта осуществлялась. Отовсюду глядели полными зависти глазами послетифозные, тоже с таким же ненасытным аппетитом. Но те, что ели суп, к этим взглядам были уже нечувствительны.

Снова я попыталась сойти с койки. С помощью соседок сделала несколько шагов. На третьем ярусе я увидела пани Марию, мою и Зосину знакомую, милую, культурную и добрую

пани Марию. Она заметила меня, с трудом подняла голову.

— Пани Мария, вы знаете, что Зося?..

Кажется только в эту минуту я отчетливо поняла, что Зоси больше нет. Спазма сдавила мне горло. Ноги подкосились. Голые тела завертелись перед глазами. Меня отнесли на койку. Я проплакала всю ночь.

Это было 1-ое января. Вечером в наш барак принесли Янку. После тифа и дурхфаля она заболела рожистым воспалением.

Я подошла к ней.

— Янка!

Она взглянула на меня. Лицо ее, измученное страданием, сильно изменилось.

— Янка, это я, Кристя.

— Я узнаю тебя, Кристя, вижу тебя, не беспокойся, я еще вернусь к ребенку, я должна вернуться. Только бы получить посылку. Не знаю, что за причина, почему не посылают? Не было еще ни одной.

— Конечно, Янка, ты вернешься…

Но я видела, что ей уже не вернуться домой, что это наш последний разговор.

Санитарки в нашем ревире праздновали Новый год. Пели, смеялись. Вдруг все умолкли; кто-то просил: «Тише! Тише!» Это Марыся читала стихи Слоньского… А затем — мои лагерные стихи:

Я письма пишу тебе, мама,
раз в месяц, официально,
в них текст всегда тот же самый,
известный всем, банальный:

что я жива и здорова,
спасибо за передачи —
но знаешь, что каждое слово
в письмах лживо, что все иначе.

Пришла пора иная,
романтику черти съели,
ты знаешь, о чем мечтаю?
О чистой мечтаю постели.

И так бы еще хотелось
горячей воды из крана…
Ах, мама, все мое тело —
одна огромная рана.

Вши, блохи меня съедают,
и я от бессилья плачу,
а там, на свободе, знают,
что слово «дурхфаль» значит?

И можно идти поляной,
что-нибудь напевая.
Ах, ты не знаешь, мама,
порой тоска какая…

Мечусь я в бессилье и муке,
такое безумье находит,
протягиваю в тьму руки
к жизни… к свободе…

Потом кто-то крикнул:

— С новым годом, с новым счастьем! Пусть будущий год принесет нам свободу, а им смерть!

В день нового года мы получили вместо брюквы картошку и капусту. Я уплетала эти королевские яства с огромным аппетитом. Вдруг до меня донеслось:

— Опять кого-то выносят.

Я сразу взглянула в ту сторону, где лежала Янка. Почувствовала, что это ее выносят: Она умерла в новогоднюю ночь.

Несколько минут спустя шрайберка вызвала номер Янки. Кто-то ответил: «Нет ее, она умерла ночью». Янке пришла наконец посылка. Первая посылка. Новогодняя. От доченьки.

Блоковая ревира заявила, что будет санобработка. Новая беда. Это значит, заберут одеяла. Это значит, будем мерзнуть. Это значит, что нас могут голых послать в зауну. Мы ведь знали, что санобработка только предлог. Очевидно, эпидемия уносила недостаточное количество жертв. «Ариек» теперь не умерщвляют газом, поэтому надо придумать что-то, чтобы смерть собрала еще большую жатву и чтобы это выглядело культурно, гуманно.

Но на этот раз нас не погнали в зауну. Просто забрали одеяла на целые сутки и открыли настежь бараки. Большинство тех, которым удалось выжить после тифа, умерли после такой «санобработки», получив воспаление легких.

Умирали одна за другой. Умерла Ната. Она вынесла все: избиения, допросы, апели, голод, тиф, а доконал ее дурхфаль —

напилась грязной воды. Она звала нахтваху, но та не приходила. Не слышала или не хотела.

Я подошла к Нате.

— Как ты себя чувствуешь, Ната?

— Все будет хорошо, — ответила она. — Уже скоро… будет хорошо… я уверена.

— Ната! — вскрикнула я. — Тебе нельзя умирать… ты выздоровеешь. Только не пей воды.

Я сама не понимала, что говорю. Ведь смерти не прикажешь. Ната угасала на глазах. Но я должна говорить с ней, пока она меня слышит. И я говорила ненужные, нелепые слова, я просила не оставлять меня одну. Зачем я не умерла, зачем я должна пережить еще и ее смерть и, кто знает, сколько еще других… Ната все меньше понимала меня. Едва слышно что-то шептала, я наклонилась над ней.

— Итак, просто-напросто сгнить в земле, неужели для этого…

Дальше я не расслышала. Ната не договорила. Умерла.

Не раз потом мы вспоминали Нату. И о том, как ее били, и о том, что, несмотря ни на какие муки, она никого не выдала. И о том, что она была уже почти здорова и всегда всегда улыбалась людям. И что если суждено ей умереть, то почему не сразу там, в Павяке, а после стольких мучений? О ней говорили шепотом, как о настоящей героине.

В наш блок принесли несколько грудных младенцев. Матери их уже работали. Одного где-то под бараком родила греческая еврейка. Ребенка никто не кормил. И для своих молока не было. Да и к чему было его кормить? Как только будет обнаружено, что это дитя еврейки, смерть ждет и его и мать. Ребенком никто не интересовался. Он плакал, скулил, слабел, распухал и наконец умер. Все вздохнули с облегчением.

Однажды в ревире, где постоянно кто-нибудь умирал, оаздался слабый крик ребенка. Родила опять еврейка. Дитя родилось на редкость здоровым и красивым.

— Не дам ему погибнуть, не удушу, — заявила мать. — Это мой первый ребенок, он должен принести мне счастье. Помогите мне. Я верю в чудо, мое дитя выживет.

Она говорила так убежденно, умоляла так страстно, что ей решили помочь. Удивительнее всего было то, что у матери оказалось достаточно молока.

Санитарка Эльжуня обещала скрывать ребенка, насколько хватит возможности. Матери приписывали вымышленную высокую температуру, а ребенка во время неожиданных визитов эсэсовцев прикрывали сенниками. Ребенок рос, ему уже исполнился месяц.

Как-то ночью мать проснулась с криком. Подбежала Эльжуня.

— Мне снилось, что он умер… — прошептала женщина.

Утром пришел приказ, чтобы всех евреек выписать из ревира в блоки независимо от их состояния здоровья. Надо было сказать об этом и молодой матери. Ни у кого не хватало мужества.

Кроткая, спокойная доктор Фрума с трудом где-то достала снотворное и вспрыснула ребенку. Обезумевшую от горя мать вытащили из ревира.

Я стала самостоятельно передвигаться по блоку. Я не верила, что выйду когда-нибудь из ревира. Забыла уже об апелях, о работе. Зато привыкла к стонам, к смерти, к добыванию теплой воды. Научилась выменивать яблоки на грудинку, хлеб на картошку и отвоевывать себе иногда ночью место у печки. Я торопливо открывала получаемые посылки и съедала их с невероятной быстротой. Научилась часами лежать и ни о чем не думать. Свобода стала для меня понятием нереальным. Свободу уже невозможно было припомнить. Невозможно было представить себе то время, когда мы на что-то имели право, тот мир, где были улицы, по которым можно ходить без всякого запрета, где были близкие люди, которым можно пожаловаться, где были аптеки, в которых отпускалось лекарство. Неужели это было на самом деле? Все глубже укоренялась мысль, что жизнь моя здесь и должна кончиться, что это только вопрос времени. Иногда вдруг, мелькала мысль: неужели где-то существуют люди, которые сидят сейчас у стола и играют в бридж или разговаривают о том, что разбилась чашка от сервиза? Или катаются на лыжах. Неужели есть где-то люди, у которых имеется оружие и они могут действовать? А мы? Мы должны покорно умирать, одна за другой. Это были слабые отголоски бессильного душевного бунта. Все смирились и, напрягая последние силы, тянули лямку.

Из этой апатии нас выводили лишь исключительные события, вроде, например, визита немецкого врача. Это случалось очень редко. Когда он приходил, весь ревир бывал охвачен паникой. Из блока в блок шли депеши.

Торвахи уведомляли друг друга, давали знать блоковым.

Оказавшийся в ревире «чужой», то есть человек не из обслуживающего персонала, убегал как можно скорее.

Немца сопровождал либо главный врач ревира — тоже из заключенных, либо ауфзеерка.

Обычно он проходил по бараку медленно, спокойно.

Худой, высокий, в очках. Человек. Врач. Но какой страх он вызывал! Иногда он задерживался перед чьей-нибудь койкой, спрашивал. Тотчас же после его ухода мы узнавали, о чем.

Оказывается, велел убрать какую-то бумажку. Это было очень важно.

Долго еще после этого мы говорили о его посещении, хотя, собственно, ничего ведь не случилось. Просто-напросто прошел господин жизни и смерти. Кто-то из них. Доктор, но не тот, который лечит. Тот, который убивает.

В этот день также разнесся слух, что он идет, уже близко. Мы все легли. В ревире не должны оставаться те, кто в состоянии двигаться.

Санитарки убрали ночные горшки и теперь жались между нами, чтобы освободить проход. Achtung! Внимание! Вошли. Затем шрайберка объявила, что все больные должны сойти с постели и нагишом продефилировать перед доктором. Опять «селекция!»

Так как все мы были сплошь покрыты нарывами, то поняли, что это конец.

Мы слезли с нар. Рядом со мной шла Вися, она дрожала от страха, поймала меня за руку:

— Кристя, посмотри на меня.

Я посмотрела. У Виси, еще недавно такой цветущей, полной сил девушки, не было живого места на теле. Вся кожа ее была покрыта чирьями и волдырями. Она в отчаянии заломила руки.

— Кристя, нам не спастись! Теперь, после стольких мук, нас прикончат…

Она оглядывалась вокруг, словно ища помощи, я поворачивала голову за ней. Так шли мы. Рука Виси судорожно сжимала мою. Мы приближались к врачу, и сознание постепенно покидало нас. Сердце подступало к горлу. Страх парализовал движение и мысли.

Равнодушным, скучающим взглядом смотрел врач на этот хоровод заживо гниющих женщин. Почти всем он указал одно направление. Мы столпились у стены.

Как выяснилось, на этот раз нас ждала всего лишь дезинфекция. В одном из блоков поставили ванну с какой-то жидкостью, в которую должны были окунаться чесоточные. Мы отказывались верить, что это еще не смерть. Но это было так. Мы опять выиграли жизнь… Зачем?.. И все же мы облегченно вздохнули.

Час спустя после ванны мы снова чесались, и снова нам страшно хотелось пить.

Я все чаще поднималась с койки. Подсаживалась уже на нары к больным подругам. Наши разговоры были о том, что получили мы в посылке, о вестях из дому. В письмах между строк мы искали скрытый смысл. Если кто-то с «воли» писал, например:

«Верю, что мы скоро опять увидимся», — для нас это означало, что есть «чрезвычайные новости», они ведь не могут писать откровенно, но это явно следует из тона письма. Часто говорили: «Что они там сейчас делают?» «Они» — это значит люди за проволокой.

Мы боялись думать, что ждет нас после ревира — если, несмотря на все, выздоровеем, если нас выпишут в лагерь. Снова апели, работа в поле, холод. Было начало февраля. Уже три месяца я в ревире. Мы пробовали сосчитать, сколько наших подруг умерло, но это оказалось невозможно.

Бывало, мы часами сидели, не проронив ни слова, занятые поисками блох, отупевшие, не думая ни о чем. Конечно, память нет-нет, да и возвращала нас к прошлому, к тому, чем мы жили когда-то. Но с каждым днем прошлое уходило все дальше. Мы потеряли себя, просто-напросто забыли все. Какие-то обрывки воспоминаний всплывали из глубины сознания, туманные, неправдоподобные образы из ушедшей в прошлое жизни…

Однако бывали и минуты оживления, вызываемые известием о новом наступлении на фронтах. Вокруг рас постоянно кто-то плакал, кто-то стонал, то и дело уносили чьи-то трупы, а мы мечтали вслух.

Начнем, например, воображать, как отворяется внезапно дверь, входят наши солдаты и говорят: «Ворота открыты, выходите, вы свободны».

Всегда находилась какая-нибудь трезвая голова.

— Зря тешите себя, так бывает только в книжках, да и то в детских. Все мы погибнем по очереди, а кто не подохнет сам, того прикончат.

Докторша все чаще предупреждала, что не сможет дольше нас покрывать, что она должна выписать здоровых из ревира. Требуются места для новых больных.

Итак, надо было снова примириться с мыслью о перемене. Мы давно убедились, что каждая перемена страшна. После краткого пребывания в самых ужасных условиях я сживалась с ними потому, что знала, — когда меня отсюда отправят, будет еще хуже. Место на тесных зловонных нарах уже через несколько дней стало для меня привычным, обжитым — место, где я провела столько месяцев, где с верхнего «этажа» постоянно что-то сыпалось на голову и летели доски, где всегда было темно и где я столько выстрадала.

— Поймут ли нас когда-нибудь люди? — задумывалась сидящая рядом со мной Вися. — Поймут ли нас, если все рассказать. Какими словами убедить, что можно привыкнуть к такому кошмару — и к этой вшивой койке, и к этому горькому

пойлу. Можно ли поверить, что наше единственное желание — только чтобы нас оставили в покое. Чтобы нас не трогали. Как подробно об этом ни рассказывай, сколько ни описывай самые чудовищные факты, они, конечно, вызовут ужас, но ведь наши страдания основаны еще и на безнадежности. На постоянной физической и психической угнетенности. Будто все время переживаешь утрату кого-то близкого. И будто все время тебе в лицо плюют. И будто все это происходит одновременно. Нет, разве знаю я, как объяснить это, чтобы свободным людям стало понятно.

— Зачем рассказывать? Если удастся нам выйти, мы будем молчать. Но… ведь мы не выйдем… не будем обманывать себя.

Подошла Ванда, тоже из Павяка, одна из самых милых, неисправимых оптимисток.

— Не распускайте нюни, наверное, выйдем. Я слышала, что теперь уже действительно началось.

— Да, да, конечно — через две недели. Хоть бы раз назвали другой срок…

В эту минуту в бараке вдруг погас свет и раздался пронзительный, протяжный вой.

— Сирена! Тревога!

— Лежать спокойно, воздушная тревога, — крикнула из темноты блоковая.

Первая тревога в лагере! Вой этой сирены звучал для нас, как самая прекрасная музыка! Ванда легла рядом со мной. В молчании мы жали друг другу руки.

— Хоть бы одна бомба, — мечтала Ванда.

— Что из того? У нас ведь нет сил. Далеко нам не убежать.

— Все равно, — повторила она со страстью, — все равно. Лишь бы что-нибудь происходило. Хуже всего это бессилие, эта постоянная смерть вокруг. Хуже всего, что о нас забыли.

Сердце колотилось. Мы ждали взрыва бомбы, какой-нибудь вспышки, которая осветила бы безмерную глубину наших страданий.

Но ничего не произошло, все та же тишина и тьма вокруг. И вот уже отбой. Ванда, разочарованная, поднялась с моей койки.

— Ничего не будет, мы им нужны, как прошлогодний снег, вероятно, случайный перелет, только и всего. Спокойной ночи, Кристя, попробуй уснуть, пусть тебе приснится свобода.

Утром кого-то принесли в барак. Тяжелобольная. Я подошла к месту, куда ее клали. Одеяло с нее сползло. Больная не шевельнулась. Она смотрела на меня неподвижным взглядом, лицо ее было бледное, костлявое, В этих умирающих глазах

мелькнуло что-то знакомое. Нет… я, наверно, ошиблась.

— Ганка? — спросила я, боясь ответа.

— Да, Ганка. Ты удивляешься… так я изменилась, да? У меня воспаление легких… Это конец, знаю… А помнишь, как я хотела жить. Это, Кристя, уже невозможно… — И слабеющим голосом добавила — Я в жизни ничего не успела… и посылки моей мамы нисколько не помогли.

— Ганочка, ты такая молодая, у тебя сильный организм, видишь, я перенесла тиф, а посмотри, уже хожу…

— Я тоже пережила тиф и тоже уже ходила. Перенесла дурхфаль, и вот — это, наверно, оттого, что слишком долго лежала. Больше мне уже не встать. Знаю. Посмотри на мои руки…

Длинные пальцы Ганки, синюшные, костлявые, беспомощно лежали на одеяле, как-то отдельно от нее. Я взяла эту бедную руку, стала растирать. Ганка глядела на меня с кроткой усмешкой.

— Ничего уже не поможет, труп не оживишь. От слабости я вся мокрая и не могу двигаться. Совсем не могу двигаться, понимаешь ли ты это? Это дико и для меня самой.

Она вздрогнула.

— Ах, как страшна тут смерть, липкая… медленная… я уже сейчас вижу, как меня выносят и бросают возле барака — на снег или в грязь. Какая сейчас погода, какой день… февраль, да?

— Да, Ганочка, февраль.

— Тогда, пожалуй, в грязь. Когда будут выносить, прошу тебя, Кристя, присмотри за тем, чтобы моя голова не билась по камням, наверно, это больно еще и после смерти…

— Да, но ты не умрешь, Ганочка… — говорила я, ища глазами несуществующую помощь. Все во мне восставало.

В бараке как-то все затихли. Ганка подняла голову, посмотрела вокруг горящим взглядом и спросила громко, отчетливо:

— Скажите мне, кто отомстит за нас?..

Со всех нар повернулись в нашу сторону. Голова Ганки упала. На щеке ее застыла слеза.

К утру она умерла. Мы осторожно положили ее на печь. С коек сползли Стефа, Марыся и Эльза, подруга Ганки. Эльжуня не отходила от нее и сейчас, как и во время ее болезни. Больше никого не осталось наших из Павяка.

Мы стояли в молчании. Еще одна умерла, самая молодая, самая жизнерадостная. Мы не плакали. Стефа опустилась на колени, уронила голову на грудь, и казалось, будто окаменела. Когда Ганку выносили, я пошла за ней. На дворе было сумеречно. Пронзительно выл ветер. Он развевал волосы Ганки. Они уже

отросли, ее светлые волосы…

Я долго стояла у тела Ганки, а в ушах у меня звенел ее далекий смех. Смех звонкий, беззаботный. Смех, который убили палачи.

Несколько дней спустя после смерти Ганки меня выписали в лагерь. Я стояла в сенях зауны, у того же входа, где и в первый раз. Стояла голая, смешавшись с другими. Я едва держалась на ногах, дрожала от холода и от горького чувства бессилия. Сызнова начинать мучительную канитель, знакомую мне, и все же новую, скрывающую столько неожиданностей? Переносить апели, холод — ведь еще только февраль. Тут же мелькнула мысль: скоро весна… Я пролежала почти всю зиму, посылки я получаю, война должна же когда-нибудь кончиться. Самое плохое уже миновало, а вдруг удастся… Мама, друзья ждут…

Но как жить дальше без Зоей, без всех других? Возможно ли это, что Зоей действительно нет? В эту минуту я так явственно увидела ее. Такой, как тогда, перед арестом, — она накрывала на стол, в белом передничке, улыбающаяся. Вынула из-под скатерти нелегальную газету и два фальшивых паспорта и подмигнула мне лукаво:

— Мы все-таки одурачим гитлеровцев, правда, Кристя?

И вот…

— Ты совсем «мусульманин», — услыхала я голос рядом. Это ко мне обратилась какая-то заключенная.

— Ну, входи, ты ведь тут работала перед болезнью.

— А Магда еще здесь?

— О да, здесь. Эту стерву ничто не берет, подыхают только порядочные, пора знать.

— Знаю… к несчастью, хорошо это знаю.

Я вошла в залу. Посмотрела на себя в оконное стекло. Скелет-скелетом, на голове чирьи. Однако уже есть немного волос. Я потрогала их.

— Не радуйся, теперь они у тебя выпадут, — засмеялась какая-то «опытная».

— Выпадут?

— После тифа… не понимаешь?

— Ага, понимаю, но мне все равно.

Мне это в самом деле было безразлично. Важно было только одно — на какой участок лагеря меня выпишут и в какой блок. И я ждала, стоя в дверях, толкаемая каждым, кто проходил.

Наконец выяснилось, что я направлена в «функционерский» блок, то есть туда, где спали работавшие под крышей. Конечно, это устроила Валя: она появилась, как всегда, в решающую минуту.

— Ну, Кристя, голову выше, ты довольно поболела, теперь мы найдем тебе подходящую работу и опять будешь писать стихи.

Нас выстроили пятерками. Все как прежде, все по-старому. Из кухни тащили котлы с супом. Капо орала на неловкую заключенную:

— Ну, ты, толстозадая! Трутень несчастный!..

Рядом с нами тащила котел какая-то крестьянка и еще несколько женщин. Нас отрядили помогать им. Я спотыкалась, шатаясь под тяжестью, из-за меня пришлось поставить котел. Крестьянка, глядя на меня, сказала презрительно:

— Да, есть же такие люди, которые сделаны из…

Лагеркапо била какую-то девушку и с торжеством вытащила из-под ее халата картофелину, видно унесенную из кухни. На Лагерштрассе жалкие, серые, озябшие фигуры тянули воз, а тетка Клара размахивала хлыстом из куска проволоки… Все по-старому, все как прежде. Только теперь это уже другие девушки, другие женщины из других транспортов, их привезли сюда, пока я была в ревире. Прежние умерли. Это уже не голландки, это, может быть, чешки, итальянки, но они напоминают тех…

А из моего транспорта осталась в живых я одна. С кем буду я стоять сегодня на апеле, какая будет блоковая, будет ли бить?

Я бросила взгляд вокруг.

Вверху кроваво-красным цветом пылала труба. Так же, как прежде. На велосипеде проехал эсэсовец, ногой пнул какую-то старушку. Она пронзительно вскрикнула.

Вспыхнувшие лучи солнца скользнули по мутному супу в баках, по унылым полосатым халатам, загорелись яркими звездочками в лужах. Вдали, «за проволокой», вырисовывались контуры покрытых снегом гор.

Бжезинки

Глава 1
Среди крематориев

Команда «эффектенкамер» занималась тем, что отбирала и «хранила» имущество и документы заключенных, высылаемых в лагерь гестапо. Такие заключенные назывались «картаймессинги», на них заводили карточки, в которые при приемке заносились анкетные данные и перечень сданного имущества.

Это были карты, регистрировавшие всю судьбу жертв гестапо. «Судьба» оставляла только три варианта: смерть, перемещение, освобождение. Пометку о смерти (verstorben) ставили на основании «тотенлистов», списков, ежедневно приносимых лойферками из канцелярии ревира. Вещи умерших становились собственностью третьего рейха. Только имущество «рейхсдейчев» (исконных немцев) отсылалось семье.

Освобождения бывали настолько редкими, что буква «е» (entlassen — освобождена) не проставлялась в карте почти никогда. На многие тысячи женщин, прошедших через лагерь, насчитывалось, едва несколько сотен освобожденных. Это были особые, так называемые «эрциунгсхефтлинги» — «воспитуемые заключенные», присылаемые «на исправление». Они попадали в лагерь за «мелкие проступки» или вследствие недоразумения.

Список пересылаемых в другой лагерь (überstellung) мы получали из политического отдела, и тогда в карточку вносились дата и буква «ü». А вещи посылались вслед за переведенной в новый лагерь.

Итак, в карточке заключенной могли быть проставлены буквы «ü» или «v». Если не было никаких пометок, это означало, что еще живет, еще мучается где-то в лагере.

Таким образом, «эффектенкамер» — это была канцелярия, где велся учет заключенных и их имущества: драгоценностей, удостоверений личности, документов и фотографий. Отсюда шли указания в бараки, где хранились мешки с вещами заключенных.

При содействии Вали я попала в эффектенкамер. Это было, несомненно, вершиной лагерной карьеры. Работа как-никак для блага заключенных, имеющая целью сохранение их имущества. Кроме того, из подлежащих конфискации вещей можно было кое-что «сорганизовать» для себя. Добытое менялось либо на картошку, либо на какие-нибудь дефицитные продукты из посылок.

Я в то время уже регулярно получала посылки и могла отчасти утолить дикий послетифозный аппетит. Шум в ушах стал

уменьшаться. У меня появились новые подруги. Сразу же после апеля я шла на работу. Теперь мне уже не надо было вертеться на лугу или медленно умирать в ревире. Постепенно я возвращалась к жизни. Даже начальник-немец относился к нам уже по-другому, почти как к служащим.

Барак эффектенкамер помещался за воротами, на лугу. В конце марта я сидела за столом, на котором стояла картотека всего лагеря. Автоматически я ставила на карточках, согласно списку умерших, штамп «ферштербен».

На горизонте клубился дым поездов, проезжавших через станцию Освенцим. В открытые окна барака неслось дыхание приближающейся весны.

— Чем ты сейчас занята? — спросила Бася.

— Списками умерших в декабре, — ответила я.

— Много знакомых?

— Почти весь наш транспорт.

— А ты выжила. Как это удивительно! И снова весна как ни в чем не бывало…

В эту минуту я читала фамилии: Древе Веслава, Червинская Зофья, Сикорская Зофья, Гишпанская Наталья. Я вынула карточку Червинской Зофьи, моей Зосеньки… Перечитала ее несколько раз. Поставила печать «ферштербен» и дописала: 20. XII. 1943.

— Что с тобой? — спросила Бася. — Ты так побледнела.

— Ничего, просто весь Павяк лежит тут передо мной в этих «тотенлистах».

— Понимаю тебя, — вздохнула Бася, — и наш транспорт тоже не дожил дольше декабря, января. Умерли самые здоровые, самые сильные. Не знаю, как это случилось, что я, такая дохлятина, живу.

Вдалеке просвистел паровоз, вызывая тоску по свободе.

— Вот бы за ним на лыжах, — вздохнула Бася, — прямо за ним — домой…

— Крачкевич Софья — ферштербен. Пиотерчик Ганка — ферштербен. Скомпская Мария — ферштербен…

Я продолжала штемпелевать карты и словно сквозь туман видела всех умерших. Видела в минуту отъезда из Павяка и после — на лугу, в карантине; слышала заново все разговоры, споры, надежды, планы… Что осталось от этого? Тотенлисты, картотека…

После работы, пользуясь вечерним перерывом перед отбоем, я шла в ревир. Я не могла не думать о больных, просящих глоток теплой воды. Еще так недавно я сама лежала там без помощи.

Украдкой я шла вечером за водой. Капо, женщина в брюках, с черным винкелем, манила в безлюдную умывальную комнату

проходившую девушку… «Иди сюда, дам тебе горячей картошки». Девушка не поняла. Кто-то ей обещает картошку? Другая женщина. Что это значит? Она недоверчиво подошла, заглянула в глаза той, заметила искаженное лицо, мутный взгляд и завлекающие жесты. И внезапно голодная девушка поняла… Она отскочила в сторону, за барак. Черный винкель за ней… В молчаливой погоне они исчезли в сумерках. Я воспользовалась моментом, вошла в пустую умывальную комнату. Тодзя, полька, уборщица, мывшая полы, быстро поставила горшок с водой в печь. Пользуясь возможностью, я вымыла руки. Немного погодя Тодзя подала мне кипящую воду и улыбнулась своей доброй улыбкой.

— Это для больной? Сегодня повезло, что эта сволочь вышла.

За спиной топчущейся торвахи я пробралась на территорию ревира. Перед 24-м бараком лежала гора трупов. Что-то шевелилось у самой проволоки. Первым побуждением было бежать… однако что-то тянуло посмотреть… я подошла ближе. Маленький трехлетний ребенок сидел подле трупа и сосал мертвый палец. Я открыла дверь барака, одуряющая вонь ударила мне в нос. Пересилив себя, я вошла. В темноте разыскала свою подругу. Она была больна туберкулезом. Я знала, что долго ей не жить. Подала воду. Она схватила горшочек дрожащими руками. На соседних нарах я увидела Марысю из Павяка, возле нее плачущую Стефу. Всегда подвижная, жизнерадостная, доктор Нуля теперь лежит парализованная в комнатке врачей… Ее огромные черные глаза печально смотрят на санитарку. Больнее всего то, что в ней нуждаются, а она бессильна помочь.

К бараку подъехал грузовик, нагруженный трупами. Двое мужчин из лейхенкоманды выскочили из кабинки шофера. Они вызвали для помощи санитарок из барака. Две девушки из лейхенкоманды в рукавицах брали с двух концов труп и, раскачав, ловким движением бросали в грузовик.

Одна из девушек при этом улыбалась, другая напевала что-то себе под нос. Санитарка, семнадцатилетняя Зося, смотрела на них расширенными от ужаса глазами. Какие отчаянные эти девицы из лейхенкоманды!

— А я не могу взять труп, пробовала, но он такой холодный, страшный.

Едва я успела вбежать в свой блок — как потушили свет и тут же раздались свистки и крики: «Лагершперре! Лагершперре!..»

Съежившись, мы сидели в углу барака. Отовсюду несся шепот: «За кем?.. Кого сегодня возьмут?..» Кто-то крикнул с отчаянием: «А может, это за нами?» Все затаили дыхание. Проходит в молчании час, может быть, два… Никто не знает

сколько…

Грохот машин нарушил тишину.

— Это в ревир, — шепотом сказал кто-то, — они едут в ревир.

Машины остановились. Мы ловили отголоски того, что происходило за стенами барака. Ничего не было слышно. Мы боялись этой тишины и боялись ее нарушить.

Машины тронулись. Шум моторов все ближе. И вдруг донеслось пение:

> Allons enfants de la Patrie…{Вперед, отечества сыны… *(франц.)*}

Что это? Я приложила ухо к стене. Все вокруг затихли. Едущие на смерть француженки пели Марсельезу. Звуки революционного гимна проникали повсюду, задевая самые чувствительные струны души, натянутые до предела смертельной ненавистью. Песня то доносилась раскатами, то отдалялась, звучала все тише, жалобней и наконец замерла в ночи.

Во время селекции в ревире происходили страшные сцены. Женщины прятались, метались по комнате. Одна молодая девушка пролежала голой до утра среди трупов под бараком.

— И что толку? — вздохнул кто-то. — Проживет самое большее несколько дней, до следующей селекции.

— Боже мой! — воскликнула другая в ответ. — Почему так сильно хочется жить?

В канцелярию вошел шеф, высокий, тощий эсэсовец с длинными усами, и объявил холодно, сухо:

— Завтра едем в Биркенау.

Биркенау (Бжезинки) был одним из участков Освенцимского лагеря. Там находились крематории. В Бжезинках стояли многочисленные бараки, отведенные для вещей, оставшихся от еврейских транспортов. Наш шеф получил от начальника крематория в свое распоряжение несколько бараков для нашей команды. Цуганги продолжали прибывать, в Освенциме становилось все теснее.

В начале апреля 1944 года нашу команду перевели в Бжезинки. Все чувствовали страх перед этой переменой.

Там крематории. Там будем вблизи видеть людей, идущих на смерть. Мы старались не думать об этом. Эта работа была ведь «выигрышем» в лотерее, в которой выигрывает жизнь одна из тысячи. Мне нельзя задумываться. Я уже видела столько смертей, что еще может быть хуже? Самое главное, не попасть на работу в поле. Некоторые, однако, предпочитали идти в поле, из страха

перед переживаниями, из опасения, что наша команда будет заменена особой «зондеркомандой», ибо мы будем знать, слишком много.

Работавшие в зондеркоманде были обречены на смерть независимо от судьбы остальных заключенных. Это был обслуживающий персонал крематориев. По прошествии некоторого срока его уничтожали, чтобы не оставалось непосредственных свидетелей преступления. На их место набирали новых. Они знали, что жить им недолго.

Все эти слухи доходили до нас и вызывали страх, но обычно все приходили к одному «утешению»: «так или этак нас прикончат, не все ли равно где — везде ведь мы окружены проволокой».

Все же, когда я в первый раз вошла в ворота Бжезинок, страх перед неизвестностью мучил меня. Всю дорогу я повторяла себе: «Не дамся теперь, когда уже столько перетерпела; если меня не осилил тиф, не погибну же я из-за нервного расстройства! Да ведь я уже все знаю об удушении, я даже видела это. А может быть, уже перестали умерщвлять газом?» — тешила я себя.

— Что нам за дело до этих крематориев? — сказала Бася, как бы угадывая мои мысли. — У нас своя работа и своя цель. Если я, несмотря ни на что, еще живу, не буду ничего принимать близко к сердцу… — Она шла рядом неуклюжим, послетифозным шагом, едва волоча распухшие ноги.

У меня тоже очень болели ноги, они были тяжелые, какие-то не мои. Я знала, что и я иду, как Бася, что мы все после тифа похожи друг на друга.

— Зачем ты так говоришь, Бася? Ты действительно веришь, что это может не касаться нормального человека?

— А ты считаешь, что мы нормальные?… Если мы каждый день способны регистрировать смерть стольких близких, без которых, как нам казалось, жизнь теряет свою ценность. И вот мы уже находим в этой жизни какую-то радость, хотя на нашем месте волком надо выть.

— Каждое существо, даже никому не нужное, хочет жить… инстинкт… мы не виноваты! Впрочем, обязаны ли мы перед кем-нибудь оправдываться, что хотим жить? Мы молоды, к черту!

— Ага, видишь, ты уже взбунтовалась! Значит, если хочешь жить, ничего не принимай близко к сердцу, не думай о том, что делается в крематориях.

В Бжезинках нас разместили в четырех бараках. В трех хранились мешки с имуществом, в четвертом помещалась канцелярия. Отныне все заключенные попадали в Бжезинки и уже

от нас, переодетые и «обработанные» в зауне, отправлялись в лагерь, в карантин.

Наши женские бараки были отделены от мужских широкой Лагерштрассе. Только на этой «улице» были не дома, а бараки, и вместо уличного транспорта по ней двигались повозки с мешками, «запряженные» заключенными. На другой, поперечной улице находился наш жилой блок, Остальные бараки на этой улице принадлежали так называемой «Канаде». Это название дали заключенные баракам, куда свозились вещи, оставшиеся после сожженных в крематориях евреев.

Позади нашего жилого блока находилась уборная. Напротив стоял крематорий. За этим крематорием виднелись трубы следующего. А когда мы выходили по другую сторону барака канцелярии, то видели третий крематорий. Посреди всех этих «улиц» одиноко стояла зауна. Вдали, за зауной, виднелись контуры четвертого крематория. Все крематории снаружи выглядели одинаково: одноэтажное широкое здание из красных кирпичей, с двумя торчащими в небо трубами. Все огорожены колючей проволокой. Проволока оплетена ветками для маскировки зданий. Таким образом, издали видны только трубы.

Зауна здесь была построена продуманно. Через нее пропускались тысячи людей. Это было внушительное кирпичное здание. Внутри — души, залы-раздевальни. Камеры для санобработки одежды. Горячая вода круглые сутки. В подвалах печи.

А вокруг — проволока, электрическая проволока.

Территория Бжезинок очень разнородна. Кое-где жидкие березовые рощицы, с которыми, очевидно, связано название былой деревни. За воротами, по обе стороны дороги, ведущей к крематорию, у белого домика — поля касатника и люпина. Пространство между нашими бараками засажено картофелем и овощами. Вдоль бараков — газоны и цветущие клумбы. Наиболее живописной была территория, прилегающая к крематориям. Вид белого домика вселял в душу беззаботность. Когда солнце освещало эту часть Бжезинок, уединенная усадьба казалась приютом тишины и покоя. В этом идиллическом домике происходили казни. Стены белого домика внутри были забрызганы кровью. Там расстреливали. Там расправлялись с небольшими группами, насчитывающими до сотни человек.

Глава 2
Цуганги

— Команда эффектенкамер. Antreten! Строиться! — Мы быстро построились пятерками. Перед нами стоял шеф. Он заявил, что прибыл транспорт из Майданека. Почти 1000 человек. Нам приказали заполнить карточки на прибывших. Одежду не менять, они из другого лагеря, следовательно, в лагерной одежде. Конечно, эту одежду следует подвергнуть санобработке в зауне. Работать будем всю ночь, надо всех переписать. С мужчинами разговаривать нельзя под угрозой перевода из нашей команды в «штрафенкоманду».

Мы прошли через бараки «Канады», где уже ожидали женщины из нового транспорта. Все они — из ревира Майданека. Старые и больные женщины.

В следующем, пустом бараке мы расставили столы. Началась «приемка». Я припомнила свой приезд в лагерь, свои первые впечатления. Хорошо знала, что человек, приезжающий в лагерь, боится всего и всех, что он ошеломлен, испуган. Я решила поэтому быть очень терпеливой, отвечать на все вопросы, успокаивать, подбадривать. Моя жизнь начинала приобретать смысл. На этой своей новой должности я могла сделать много добра.

В барак начали поступать прибывшие. Пожилая, седая женщина с мягким взглядом подошла к нашему столу.

— Фамилия? — спросила я.

— Маевская Мария.

— Возраст?

— Пятьдесят шесть лет.

— Откуда?

— Из Варшавы.

— Профессия?

— Учительница.

Я записала данные в карточку и невольно подумала: «Больше месяца не протянет».

— За что вас взяли? — спросила я шепотом.

— За газеты.

— Давно вы уже в лагерях?

— Три года. Сначала Равенсбрюк, затем Майданек, теперь Освенцим. Я совсем больна, тут, наверно, и закончу эту экскурсию по лагерям, а как бы мне хотелось дождаться… Уже недолго осталось — наши войска под Люблином. Лучшим

доказательством служит наша эвакуация. Мой сын ждет меня. Знаете, почему я держусь? Потому что это я в заключении, а он свободен.

Ее лицо сияло. Сколько в ней еще силы.

— Выше голову, — сказала я, — дождетесь и вы!.. Следующая!

Подошла старушка, сгорбленная, маленькая, она беспокойно озиралась по сторонам.

— Пожалуйста, ко мне, не бойтесь. Ваша фамилия?

— Петрашевская Юзефа.

— Профессия?

— Когда-то — работница, теперь уж мне не работать, сами понимаете.

— За что вы в лагере?

— За дочь-коммунистку. Ее искали, я не выдала и здесь не выдам…

— Тут вас не будут бить, — пробовала я убедить ее.

— Вы думаете? — Она недоверчиво взглянула на стоявших рядом эсэсовцев.

Проходили одна за другой — старые, очень больные, едва передвигавшие ноги. Это были по преимуществу матери, искупавшие вину сыновей, дочерей. Некоторые попали в облаву, другие были схвачены за то, что скрывали кого-то, накормили бродягу, а потом оказалось, что это «опасный партизан». Измученные, больные женщины должны были стоять часами на ногах и ждать, пока эсэсовцы укажут им нары в темном углу барака.

Проходили часы, я работала, не вставая с места, язык у меня одеревенел, в глазах мелькало, и не было конца этому страшному потоку несчастных, растерянных, дрожащих старушек.

Поздним вечером осталось зарегистрировать несколько десятков человек. Но эти оставшиеся совсем не могли двигаться. Они лежали на носилках, на земле у входа в барак. Эсэсовцы перепрыгивали через них, ругались, что должны ночью стеречь их.

С карточками в руке я нагнулась над носилками, на которых лежала какая-то женщина.

— Фамилия?

Она подняла голову и взглянула на меня широко открытыми, полными слез глазами. У нее было маленькое лицо и совсем белые волосы.

— Comment? Что? — спросила она.

— Француженка?

— Да.

— Ваше имя?

Она уронила голову на грудь. В открытую дверь барака заглядывала теплая апрельская ночь. Больная взяла мою руку, притянула ее к сердцу.

— Моя фамилия?… Я ведь уже умираю… Не все ли равно здесь, кто умер?

Голос ее прерывался, был едва слышен. Я видела — она доживает последние часы.

— Но все-таки фамилия мне нужна, — бормотала я, — для порядка.

Она все крепче сжимала мою руку…

— Для порядка, говоришь ты… да, для них порядок — это все.

Она подняла голову.

— Ты напоминаешь мне мою дочь, подержи еще так руку, — просила она, видя, что я хочу отойти. — Я буду думать, что это она сейчас со мной.

Женщина прикрыла глаза. С минуту лежала тихо. Рядом стонали больные. Около умирающих стояли на коленях мои подруги и силились от них добиться анкетных данных.

В барак влетел эсэсовец с хлыстом в руке, что-то насвистывая. Наступил ногой на какую-то больную, перескочил через француженку, оглядел всех кругом и заорал: — Долго будете регистрировать это дерьмо? Что? Еще много?

Бесцеремонно расставив ноги над лежащей на полу умирающей, упершись в бока, он окидывал всех вызывающим взглядом, как бы говоря: «Могу с вами сделать все, что мне заблагорассудится, попробуйте не питать ко мне уважения, попробуйте не бояться меня».

Тишина воцарилась в бараке. Вдруг француженка стремительно вытянула руку вверх, глядя на эсэсовца безумными глазами.

— Это война! — крикнула она страшным голосом. — Здесь война… здесь фронт… Боже, какая страшная война!

Эсэсовец резко повернулся, стегнул хлыстом по лицу кричащей женщины и одним прыжком выбежал из барака. Изо рта, из носа больной потекла кровь. Она упала на носилки.

Меня обдало жгучей ненавистью, я готова была бежать за ним, я была в эту минуту близка к безумию. Но больная все держала мою руку.

— Дочь моя, — шептала она.

Я прижалась к этой чужой женщине и разрыдалась.

— Кристя, успокойся, возьми себя в руки, — просили подруги. — Это только первые цуганги, их ведь привезли сюда не

на смерть, с ними ничего не случится. Так нельзя, подумай о себе, выйди на минутку, пока нет шефа.

Я вышла, но не могла успокоиться. Что теперь делает ее дочь? Приходили мне в голову разные глупые мысли. Может, танцует где-нибудь в парижском дансинге с каким-нибудь гитлеровцем, может, даже с братом этого, что сейчас здесь был?.. А может, в эту минуту умирает где-нибудь в другом лагере?…

Перед зауной на земле горела куча какого-то тряпья. Отблеск пламени освещал человеческие фигуры вокруг костра. Я подошла ближе. Это сжигали лагерную одежду мужчин, прибывших из Майданека… Голые, истощенные, кости да кожа, они выглядели при свете пламени, как зловещее сборище скелетов. Я повернула обратно. За бараком что-то белело в темноте. Я вся дрожала, но шла, пересиливая страх. Ногой споткнулась о что-то твердое. Это был труп мужчины, рядом лежал второй и третий. Их было несколько. Мне вспомнилось, как подруги упомянули о том, что в вагоне умерло много мужчин. «Это белое — известь, которой залили останки, чтобы не распространяли зловония», — подумала я с полным спокойствием, трезво. Куда же идти? Повернуть назад я боялась. Уж лучше трупы, чем живые скелеты. Вернуться в барак было выше моих сил. Меня все еще преследовал безумный крик умирающей француженки. Только бы не сойти сейчас с ума. «Я ведь уже совсем здорова, — громко говорила я себе, — перенесла тиф, меня зовут Кристина Живульская, мой номер…» Я твердила все время свои анкетные данные.

— Идем, Кристя, ты сошла с ума, — услышала я голос Баси.

— Куда? Мы окружены, мы окружены, — повторяла я.

— Чем мы окружены, что ты болтаешь?

— Трупами, проволокой, крематориями, огнем, эсэсовцами. Мы окружены, мы окружены!

— Идем, — крикнула Бася, — к не знала, что у тебя такие слабые нервы. Это только начало, а ты уже…

Тут вдруг до меня дошло, что я веду себя как безумная. Ведь я еще в здравом рассудке, я должна взять себя в руки. Вот и Бася видит и чувствует то же, что и я… Я пошла за Басей.

— Команда эффектенкамер, строиться!

Голос нашей капо. Работа окончена. Нас пересчитали, и мы пошли в блок.

По сравнению с бараком карантина и с бараком ревира этот наш барак можно было назвать роскошным. В нем было три нормальных окна, а напротив стояли трехъярусные койки. На койках лежали сенники, хорошо набитые соломой, каждая из нас спала отдельно. Нам с Басей удалось занять две средние койки

прямо против окна. Над нами спали Зося и Яся. С Зосей я подружилась сразу. Она напоминала мне мою покойную Зосеньку и потому сразу стала мне близкой. Я получила от нее рубашку — первую ночную рубашку в лагере. Зося смотрела гордо на меня и на рубашку.

— Ну, довольна?

— Конечно… только чем?

Она возмутилась:

— Чем? Рубашкой. Будто всю жизнь в ней спала…

— Но я действительно всю жизнь спала в ночной, рубашке.

— Эх, — Зося свесилась надо мной с верхней койки, — что было в той жизни, то не считается… Ты являешься тем, что ты есть, с той минуты, когда тебя татуировали… До этого ты вообще не существовала. Ну, а теперь, когда тебя проверяют ежедневно, чтобы ты не пропала, теперь ты наконец человек…

— Зосе эти Бжезинки, кажется, на мозг повлияли, — заявила Бася, яростно протирая свои очки.

— Откуда ты, собственно говоря, взяла эту рубашку? — спросила я.

— Сорганизовала ее в «Канаде».

— Я считаю безнравственным носить рубашки после удушенных газом.

— Нет, вы только посмотрите на нее! — Зося уже почти выпала с койки. — Ты считаешь — будет лучше, если все пойдет им? Ведь мертвым уже все равно, а они… если бы ты знала, сколько они всего вывозят! Бараки «Канады» переполнены, машины непрерывно везут и везут в Германию, а мы должны спать голыми? Даже не подумаю быть такой дурой. Довольно я намерзлась.

— Зося права, — кротко сказала Яся с верхней койки. — Пока живые, будем спать в рубашках.

— Тише, девушки, вы ведь устали, пропустили столько цугангов.

Это был голос блоковой. В нашем бараке помещалось около 300 человек, а наша команда, насчитывающая шестьдесят женщин, была отделена коридором от остальной части, видимо, поэтому блоковая решила позволить себе обращаться с нами прилично — тем более что она считала себя «интеллигенткой». Ее обязанностью было сделать перекличку, отдать рапорт ауфзеерке и следить за штубовыми, чтобы они убирали в бараке. Все остальное время она сидела в своей комнатке вместе с шрайберкой, и, если у них была хоть капелька фантазии, они могли чувствовать себя почти как дома.

— Спи, Кристя. Как-нибудь устроится, — сказала Бася,

засыпая. — Не думай о тех, из Майданека.

…Меня не касается, что сейчас умирает Незнакомая француженка. Меня не касается, что те мужчины стоят голодными возле зауны. Важно только то, что у меня есть рубашка, по мне не ползают вши, нарывы проходят, волосы отрастают, и кажется, по слухам, мы будем освобождены от апеля. Какое счастье эта команда, какое счастье, что у меня свой сенник, что у меня два одеяла, что блоковая не бьет, не кричит. В эти мои мысли то врывались темные бородатые лица в отблесках зловонного костра, то нагло расставленные ноги эсэсовца и его хлыст… Слышался безумный крик: «Это война!..» Наконец я все-таки заснула.

На другой день я снова штемпелевала карточки, приводила в порядок картотеку. Была прекрасная погода. Я отворила окно. Из зауны вывели небольшую группу людей. Они шли мимо наших окон. Впереди подросток, мальчик лет тринадцати, вероятно с матерью. За ними пожилой, худой господин в очках, с бородкой, очень старая женщина и прихрамывающий молодой мужчина. Все были очень бледны. Мальчик, — с Необычайно привлекательным лицом, вел за руку мать, которая передвигалась с большим трудом, как бы чувствуя, что каждый шаг приближает ее к смерти.

Мы все прильнули к окну.

— В крематорий, — шепнула за моей спиной Бася. — Ты видела этого мальчика? Какой красивый! Неужели он через несколько минут умрет? Что он им сделал?

— Еврей, — ответила я, так обычно здесь отвечали. Одно это слово должно было оправдать все.

За группой шел эсэсовец, тот самый, который вчера ударил француженку. Шел медленно, как на прогулке, помахивая лениво хлыстом, явно довольный собой. Видно было, что его мысли полностью поглощены личными делами. Через каждые несколько минут он вспоминал о своих обязанностях, подымал хлыст и подгонял:

— Пошли!

Маленькая группа все отдалялась. Я хотела посмотреть, как входят в крематорий. Пожилой мужчина еще раз обернулся в нашу сторону. Я совсем высунулась из окна.

— Кристя! — услыхала я вдруг чей-то предостерегающий шепот.

В ту же минуту я заметила шефа. Он смотрел на меня, нахмурив брови.

— На что ты там смотришь? Что-нибудь интересное?

— Нет, я только хотела затворить окно.

Он не поверил, он хорошо понимал, в чем дело.

— Если еще раз замечу, — проговорил он медленно, сухо, обращаясь ко всем нам, — что вы смотрите в окна, вместо того чтобы работать, я распущу команду и виновных отправлю в штрафенкоманду.

Я знала, что моя судьба висит на волоске. Меня опять могут послать в лагерь, во вшивый барак, на работу в поле. Но в эту минуту все во мне так и кипело, мне было все равно, чем грозит шеф.

А шеф тем временем раздумывал, передвигая предметы на столе, наконец повернулся и медленно вышел.

В канцелярии нависла гнетущая тишина. Каждая делала вид, что занята работой. Каждая пробовала обмануть себя.

— Горят, — шепнула Бася, она и не пыталась притворяться, что занята делом, а, подперев руками голову, глядела вдаль.

— Боюсь посмотреть в окно…

— Не надо и смотреть, разве ты не чувствуешь дыма?

Действительно, через окно долетал до нас запах гари.

— Чувствую, но не верю, все еще не верю.

Бася иронически усмехнулась.

— Поверишь, когда с нами сделают то же самое. Впрочем, идем на улицу — увидишь.

Мы вышли. Труба первого крематория пылала. Кроваво-красные клубы огня и сажи вырывались из нее.

— Теперь веришь? — спросила Бася. — Смотри, горит этот красивый мальчик и пожилой господин, похожий на одного из моих учителей, понимаешь, горят люди…

Да, я видела, как они шли, видела, как вошли, теперь вижу огонь… И все же не верю, не могу поверить…

Надо было подумать об обеде. В глубине барака, где работала Зося, стояла печь. Варить пищу запрещалось, и это делалось тайком. Когда приближался кто-нибудь из начальства, подруга, стоявшая в дверях, предупреждала условленным знаком, и мы всегда успевали припрятать горшки. Весь барак был увешан мешками — можно было среди них укрыться.

Парни из мужской эффектенкамер напротив нашего барака уже заметили присутствие женщин. Случалось, что кто-нибудь из них забегал к нам на минутку, чтобы сообщить, откуда прибыл последний транспорт, когда будет следующий, рассказать, что узнали из последних сводок, подслушанных в кабинете шефа.

Я пошла к Зосе под предлогом, что надо отыскать затерявшийся мешок. Необходимо всегда наготове иметь какую-нибудь отговорку на случай встречи с шефом или ауфзееркой.

Зося варила обед. Она выменяла хлеб из посылки на картошку и была страшно горда, что готовит нам суп.

— Знаешь, Кристя, тут был этот, в очках, тот, врач.

Спрашивал о тебе.

— С чего это обо мне?

— Говорил, что вот у вас есть одна такая, которая пишет стихи, и что он хотел бы прочесть их.

Она смотрела, какое впечатление произведет на меня эта новость.

— Знаешь, у тебя отросли волосы не меньше чем на пять сантиметров…

Она наклонилась надо мной и смерила мои волосы пальцами, при этом не скрывая удивления, почему я не проявляю никакого интереса к ее словам.

— И обед будет горячий… Ну что же ты не радуешься?

— Слушай, Зося, рядом горят люди… Я видела, как они шли, я видела мальчика, который вел за руку мать.

— Эту воду от картошки я солью, у меня есть бульонные кубики — будет суп.

— Зося, ты сошла с ума! Разве ты не слышишь, что я тебе говорю?

Она помешивала что-то в горшке, стояла спиной ко мне и не поворачивалась. Я повторила вопрос.

Зося стремительно отвернулась и бросила ложку.

— Не хочу ничего слышать. Хорошо, что в моем бараке нет окна. Сижу здесь и варю. Когда кто-нибудь приближается, я делаю вид, будто проверяю мешки. Не хочу знать, что здесь происходит. Не хочу, понимаешь? Я хочу остаться в живых.

— Хорошо, Зося, я не стану больше говорить об этом, но все равно легче тебе не будет. Мы можем отворачиваться, можем стараться не помнить, но ведь в нескольких шагах от нас сжигают людей, от этого никуда не уйдешь. Это вытесняет из нашего сознания все остальное.

— Но пойми, нет у меня такого сознания. Я нормальная. До сознания нормального человека не доходит, что все это существует.

— А эсэсовцы, обслуживающие крематорий, лагерь?.. Они существуют? Они нормальны?

— Они ненормальны. Это преступники, выродки, садисты. Они только по внешности люди.

— Но ведь выродки могут быть в каждом народе.

— Лучше ешь суп!.. Я хотела бы, чтобы ты поговорила с Вацеком, но как это устроить? Ты знаешь, он организовал повозку для больных, все сам достал. И всегда-то он улыбается, а ведь он здесь уже три года.

— Видно, тебе очень хочется меня сосватать.

Гонг возвестил конец обеда. Я вернулась в канцелярию. Пахло валерьяновыми каплями. Нервы у многих все-таки не выдерживали…

После работы мы отправились в зауну. У каждой из нас было теперь свое полотенце и мыло. Мы стояли голые под душем и наслаждались теплой водой.

— Жизнь прекрасна! — радовалась Бася, громко крича, чтобы я ее услышала сквозь шум воды.

Только час назад все было так страшно, и вот уже крики радости…

— Потри мне спину, — просила Бася. — Много следов от чирьев?

— У Ирки больше, — утешала я.

— Может быть, и они когда-нибудь исчезнут…

— Исчезнет все вместе с нами, — отозвалась Таня из-под соседнего душа.

Она сказала это по-польски с русским певучим акцентом и убедительно, как всегда. Таня в лагере выучилась говорить по-польски.

Вдруг холодный воздух ворвался в душевую. На пороге стоял эсэсовец без пиджака, в фуражке, со шлангом в руке и грозно смотрел на нас. Некоторые девушки начали визжать. Он разразился диким, безумным смехом и стал поливать нас холодной водой.

Теперь визжали все, прижимаясь к стенам, а он гонялся за нами, размахивая шлангом. И все выискивал взглядом тех, которые особенно стеснялись, и на них направлял холодную струю. Мы убежали в следующую комнату, где лежали наши вещи. Торопливо натянули на мокрое тело платья.

— Ну, видишь, как жизнь «прекрасна»! — обратилась я к Басе. — Она зависит от первого попавшегося выродка. Сегодня он развлекается водой, а завтра пустит газ, все зависит от настроения.

Бася смеялась надо мной.

— Ты только забываешь об одной мелочи, мы не просто в концентрационном лагере, нет, мы в «фернихтунгс-лагере». Неужели ты об этом забыла? Ждешь, что тебя здесь обласкают? Вымылась — и будь счастлива. Ведь совсем недавно кружка воды казалась нам недостижимой мечтой.

— Ты права, Бася. Теперь, когда я не голодная и не вшивая, ко мне уже возвращается чувство человеческого достоинства, а они нас так унижают.

— От этого есть лекарство. Не смотри на фашистов как на людей. Воспринимай их как зверей, так ведь оно и есть по

существу. Мы во власти диких зверей. Старайся не попадаться им на глаза, а если не удается — научись смотреть на них с презрением.

Мы лежали на нарах. Зося слезла со своего яруса поболтать с нами перед сном. Обсуждали меню обеда на следующий день — мы вели хозяйство втроем. Если задерживалась посылка одной из нас — приходила другой. Так кооперировались все. Теперь мы не голодали.

А в лагере по-прежнему царил голод, и эпидемия дурхфаля принимала все большие размеры.

Вокруг шумели вечерние разговоры. Кто-то рассказывал о совершенно неправдоподобном факте, будто какая-то из политических заключенных, полька, отправлена в карантин перед освобождением. Трудно было поверить этому, настолько это было замечательно.

Со всех коек неслись вздохи. Вздохи зависти, восторга… Значит, это все-таки возможно?.. Значит, все-таки удается отсюда выйти? Может, начнут освобождать и других? Может, положение за проволокой настолько изменилось?..

— Что-то делается теперь на свете? — вздыхала на своей койке наша машинистка, мать семерых детей, из которых старшему было четырнадцать лет. Это была самая уравновешенная женщина, самая спокойная из всех нас. Несмотря на преклонный возраст, она работала больше других.

— Мужчины слушают радио в кабинете шефа. И мы должны попробовать, — предложил кто-то.

— Вацек говорил, что ждут транспорт итальянских евреев, — сказала Зося, гордясь тем, что раньше других знает, какой будет транспорт.

— Значит, надо готовиться к новой муке, — вздохнула я.

Глава 3
Девочка со скакалкой

На другой день мы проверяли вещевые мешки цугангов. В зауне эти мешки подвергались санобработке. Они были навалены в комнате, прилегающей к большому «залу» зауны. Вдруг я услыхала движение в «зале». Туда небольшими группами входили люди. Мужчины, женщины, дети — измученные, разбитые, садились прямо на цементный пол. Они разговаривали по-итальянски. Я увидела девочку лет семи с оливковым цветом лица, огромными темными глазами и длинными черными локонами. Я не могла оторвать от нее глаз. У нее были гармоничные, прелестные движения. Она с любопытством оглядела «зал», затем взмахнула над собой скакалкой и перескочила несколько раз через веревку. Она не видела удрученных, искаженных отчаянием лиц, не знала действительного назначения места, в которое попала. Видно, она нашла, что обширный «зал» подходит для игры. Со всей доверчивостью ребенка, для которого мир еще является безграничным пространством для развлечений, она грациозно прыгала через скакалку.

В «зал» вошел эсэсовец с лицом гориллы. Массивная челюсть, голый, желтый череп мертвеца, маленькие бегающие глазки, почти скрытые за выступающими вперед скулами, резкие, нервные движения, — один вид его вызывал дрожь. Наступило зловещее молчание.

Девочка с прыгалкой остановилась и посмотрела туда, куда смотрели все.

— Хустек… — услыхала я тихий мужской голос. — Этого дьявола зовут Хустек, — он будет производить отбор.

Тут только я обратила внимание, что рядом со мной стоит Вацек. Мне его показали всего один раз, но я сразу запомнила его озорное лицо в очках, — сейчас оно горело ненавистью.

— Уходите отсюда, шеф может войти. Как вы сюда попали?

— Через дверь.

— Посмотрите на эту девочку…

— Эту, со скакалкой?

— Да.

Хустек неистовствовал, данное ему право решать человеческие судьбы, их жизнь или смерть — пьянило его. Он метался по «залу», вылавливал своими глазками испуганные, искаженные болью лица, хватал за плечи старых женщин и

толкал их в «сторону смерти», изрыгая отрывистые приказания:

— Здесь! Вперед! Стоять! Иди!

Он даже расстегнул мундир, устав от этого своего упоительного занятия, и огляделся вокруг.

Девочка со скакалкой решила, вероятно, что теперь уже ничто не мешает ей прыгать. Впрочем, ей, видно, вовсе незнакомо было чувство страха. Может быть, в окружавшей ее прежде жизни не было злых людей. Она прыгнула через веревку, не сводя огромных детских глаз с лица Хустека. На какую-то секунду им овладело удивление, затем он протянул руку, указывая ей направление.

— Вперед! Живо!

Улыбка озарила ее прелестное личико, когда она, ничего не подозревая, прыгнула в «сторону смерти».

Вацек все еще был рядом со мной. Он стал мне вдруг невыразимо близким. Я знала, что он так же, как и я, был потрясен этим страшным зрелищем.

— Еще ничего не понимает, — проговорил он, — просто-напросто взяла да и прыгнула.

— Откуда ей понимать?.. Разве она провинилась? Как она может о чем-нибудь догадываться?

Бася, проверявшая рядом мешки, предостерегающе толкнула меня.

— Шеф, осторожно!

Но Вацека уже не было. Он исчез так же незаметно, как и появился. Я нагнулась над мешком и стала громко сверять его содержимое со списком. Все во мне дрожало.

Платье… блузка… передник…

Закончив, я закинула мешок на спину, и вышла. В это время отобранных вывели во двор. Я поискала взглядом девочку. Она шла, застегивая пальтецо, словно идя на прогулку. И при этом что-то оживленно говорила пожилой женщине — вероятно матери.

Я поравнялась с ними. Хотела насмотреться на эту девочку, запечатлеть в памяти ее лицо. Когда они проходили совсем рядом со мной, девочка вынула из кармана беретик и надела на голову.

«Как это страшно! — кричало все во мне. — Зачем ей этот берет? Через несколько минут от нее самой не останется и следа…»

Это был небольшой транспорт — около двухсот человек.

Впереди шли пожилые женщины и дети, за ними мужчины. Они шли, беспокойно озираясь, предчувствуя что-то. Некоторые, видя на нас номера, догадывались, что мы заключенные, и спрашивали умоляюще, боясь ответа:

— Куда мы идем?

Какой-то мужчина с лицом ученого, проходя мимо меня, приподнял шляпу.

— Донна, куда нас ведут?

Я представила себе, что это мой отец. Что сказать ему?

— В дезинфекцию, — ответила я самым спокойным тоном, стараясь при этом улыбаться, чтобы не вызвать сомнений.

Лица мужчин прояснились. Кто-то поблагодарил меня, вздохнув с облегчением. Они благодарили меня!..

Колонна удалялась. Ее замыкали два часовых с винтовками, они шли медленно и над чем-то смеялись. Наверное, рассказывали друг другу анекдоты.

Я бросила мешок… Нет. Невозможно жить так дальше… Но что я могу придумать?..

Мне навстречу выбежала Зося.

— Ты помнишь лойферку Малю?

— Кажется, помню, это та, подопечная ауфзеерки и оберки?

— Знаешь, она убежала.

Зося рассказывала волнуясь, с раскрасневшимся лицом.

— Ах, какая это прекрасная, необыкновенная история! Маля попала сюда с транспортом из Бельгии. Она польская еврейка, хорошо знает языки. Красивая, умная. Работая в течение двух лет лойферкой, сумела завоевать доверие начальства. Потом она познакомилась с кем-то из мужского и они полюбили друг друга…

— А кто он?

— Поляк из Варшавы. Об этой любви знает весь лагерь. Он тоже был на должности, и им удавалось часто встречаться.

— Ну, а как же они убежали?

— Он раздобыл эсэсовский мундир, она — платье ауфзеерки. Он достал все нужные бланки для пропусков, наверно, кто-то им в этом помогал. Во всяком случае, все сошло удачно. Разве ты не слышала сирену?

— Не слышала, я была занята, прибыл итальянский транспорт.

— И зачем ты только туда пошла?

— Послали проверять мешки в зауне.

— Не думай о транспорте, Кристя. Лучше порадуемся, что эти двое убежали. Видишь, оказывается, можно отсюда выбраться.

Ни о чем другом не говорили, только о бегстве Мали. Все нервничали — а вдруг беглецов поймают. В лагере усилили охрану. Оберка металась, как разъяренная фурия, она то и дело производила обыски в бараках, била всех подряд, заставляла простаивать часами на коленях за всякий пустяк.

А мы радовались счастью той, которой так повезло. Мы представляли себе Малю на свободе. Маля без штрайфы на спине, без номера. Вот Маля идет со своим возлюбленным под руку по улицам города, они улыбаются людям, вокруг нет проволоки, они счастливы. Они вышли отсюда… Это не поддавалось пониманию. Разве мы задумывались над тем, что свобода «за проволокой» еще вовсе не свобода, что и там повсюду рыскали гестаповцы. Были у бежавших и материальные затруднения и многое другое… Все это казалось нам неважным, важно одно — выйти за проволоку… Получить наконец возможность действовать, а потом… Потом все уже хорошо… Лучше, чем здесь…

Пришли посылки.

— Кристя, тебе тоже прислали! Из Варшавы.

Я побежала в комнату в конце барака, Бася вместе со мной. Ауфзеерка, прежде чем выдать нам посылки, проверяла их содержимое. Кромсала хлеб, вскрывала коробки с мармеладом, рассматривала на свет бумажки, не написано ли там что-нибудь.

Я развертывала тщательно упакованную в пергамент колбасу, печенье, хлеб, сало. Подруги — те, что в этот день не получили посылок, и те, которые не получали совсем, — окружили меня. Марыся с грустью смотрела в окно. У нее никого не было, никто не думал о ней, и никто не мог прислать ей посылку. Она жила в лагере уже два года, и до сих пор ее семья не подавала никаких признаков жизни. Всех ее близких арестовали вместе с ней. Сейчас ее темные глаза были полны тоски.

Рядом со мной распаковывают посылки Бася и Неля. Неля получает чаще всех — ей присылает сын из Рабки. Она всегда чутко относится к чужой беде, вот и сейчас подходит к Марысе и, протягивая ей кусок аппетитной лепешки, говорит:

— Возьми, не горюй, дождешься и ты когда-нибудь посылки. Попробуй-ка лепешку, это мой сын испек ее, а если не он, то, наверное, какая-нибудь женщина.

Марыся наконец улыбнулась, взяла лепешку и ест, хотя слезы все еще душат ее…

— Смотри-ка, Кристя…

Бася таинственно наклонилась ко мне.

Я взглянула на маленький кусочек бумаги, который она мне показывала.

— Читай…

«Доченька, дорогая, мы молимся за тебя каждый день. Наша единственная мечта — увидеть тебя. Твоя сестра обручилась, но свадьба будет, когда ты вернешься. Будь здорова, любимая. Мать».

— Где ты нашла? — спросила я, восхищенная.

— В яйцах, — просто ответила она, словно это было вполне естественно, что письма присылают в яйцах.

— Завидую тебе, Бася… Ах, если бы моим пришло такое в голову…

— Знаешь, надо придумать, как тайком послать домой письмо, и дать им понять, что и они должны так делать…

— Хорошо, но как его отправить?

— Может, кого-нибудь освободят. А тот, кого выпускают, непременно должен пройти через нашу команду. Придет сюда получать свои вещи и документы. Та, которая будет выдавать одежду, может зашить письмо. Когда выйдет из лагеря, опустит…

— Прекрасный план, но никого не освобождают…

— А «эрциунгсхефтлинги»? Их освобождают… надо поговорить с Адой из гардеробной, чтобы она нам сказала, когда получит список отбывающих. И мы тут же приготовим письма домой.

— А если они не захотят подвергать себя опасности? Ведь их обыскивают при выходе.

— Надо попробовать… может, и найдется какая-нибудь похрабрее. Ведь каждый, кто здесь был, понимает, что значит для нас и наших родных узнать о нас правду. Из наших официальных писем ничего не узнаешь.

В окно заглядывает солнце. Стучат пишущие машинки. Из кабинета шефа доносятся веселые звуки фокстрота.

Пользуясь отсутствием нашей капо, я сочиняю стихи.

БЖЕЗИНКИ

Лесок небольшой, настоящий,
березы, ели, осинки,
и называется место
очень красиво — Бжезинки.

Хоть нынче здесь все иначе,
чем до войны бывало,
сейчас здесь голо и пусто
и как-то глухо стало.

Ландыши на полянах
цвели здесь в былые годы,
теперь для красы пейзажа
поставлены дымоходы.

Раньше здесь были конюшни,
крестьянские хаты, маки,
теперь стоит мрачная баня,
«хефтлинги» и бараки.

Раньше цвели ромашки,
бродили гуси и куры,
теперь цветут цветочки
гитлеровской культуры.

Раньше земля зеленела
в садах здесь сеяли рутку,
но кто изменил все это?
Славную выкинул шутку!

Радио громко играет
у шефа в его приемной,
звучит мелодия вальса
мотив приятный и томный:

«На свете все проходит,
всему скажи: прощай!
И за декабрьской стужей
опять настанет май».

Можно бы прогуляться,
но всюду видишь преграду —
ты проволокою стиснут,
Как зверь, попавший в засаду.

— Прекрасный вечер, пани,
смотрите, ночь какая,
какое звездное небо,
я молод и вы молодая.

Не надо отодвигаться
и нет в том, поверьте, риска,
просто давно я, пани,
ни с кем не стоял так близко.

Скажите, пани, откуда
приехали сюда вы?
Я прибыл назад два года

транспортом из Варшавы.

Там дом, жена и ребенок,
в саду у нас груши, сливы…
Но это так далёко,
и вряд ли они теперь живы.

Пожалуйста, улыбнитесь
и здесь ведь солнце бывает.
Неужели весна ничего
уж в вашем сердце не вызывает?

Музыка где-то играет,
приятно, тепло, прямо рай…
Постойте, пани, куда вы?..
«Es geht alles vorbei». {Всё проходит *(нем.)*.}

— Мой пан, я тоже вижу
звезд голубых охапки,
только что там за пламя?
— Ничего. Там сжигают тряпки.

— Мой пан, в груди моей тоже
чувство весна пробуждает,
только что там за странные трубы?
— Ничего. Там людей сжигают.

— Мой пан, в душе моей радость
рождают весны приметы,
только что за поход там странный?
— Ничего. Там живые скелеты.

— Мой пан, я тоже тоскую,
хоть в сердце печали скрыты,
но что это там у барака?
— Ничего. Чей-то труп забытый.

— Мой пан, вы правы, я знаю,
что я еще молодая,
и от этого мне больнее,
от этого так грустна я.

Я не знала, что встречу всё это,
но нет, я слез не прячу,

нет, нет, мой пан, поверьте,
я в самом деле не плачу.

…А вальс звучит с той же силой,
ароматами манит май,
и поет чей-то голос милый
«Es geht alles vorbei».

Напротив, за столом сидит неподвижно Ирена, заслоняя меня на случай внезапного появления шефа. Рядом со мной усердно работает Неля, время от времени поглядывая на фотографию сына, которую ей удалось выкрасть из собственного «дела». Сыну ее семнадцать лет, а Неля выглядит совсем молодо, она живее многих молодых. Сын в последнем письме писал, что у него материальные трудности. Теперь Неля только и думает о том, как ему помочь.

Я взглянула в окно. Давно изученный в подробностях вид. Мужчины, работающие возле зауны. Надзирающие за ними эсэсовцы. Я даже знала многих эсэсовцев по фамилии. Вон тот, который ударил ногой француженку из Майданека, — его зовут Вагнер, у него очень благообразный вид, но на деле он самый наглый и разнузданный палач. Другой — высокий, тощий, бледный, со светлыми волосами и длинным носом — это Бедарф, прозванный «Рохлей». Выражение лица у него всегда кислое, пресытившееся, а взгляд выцветших глаз — мутный, холодный. Засунув руки в карманы, он бродит по лагерю в поисках «острых» ощущений. Сейчас он поймал какого-то еврея и избивает его хлыстом. Стоны истязуемого слышны у нас, Хотя радио играет громко, хотя трещат наперегонки три пишущие машинки. Наконец Ирена не вытерпела.

— Пойду за водой, узнаю, за что он его бьет…

— Успокойся, — просит Неля, — нарвешься на неприятность. А ты, — обратилась она ко мне, — брось свою пачкотню… Как ты можешь писать стихи в такой обстановке?

— Здесь всегда такая обстановка.

Бедарф, схватив свою жертву за шиворот, поднял вверх и грохнул о землю. Из носа и ушей несчастного хлынула кровь, он с трудом встал на ноги. Но тут по неосторожности вцепился в руку Бедарфа. Эсэсовец попятился и ударил свою жертву кулаком в лицо — тот рухнул на землю, Бедарф с отвращением вытер руку.

— Воды! — крикнул он в сторону зауны.

Тут проходила Ирка с ведром воды, по его знаку она поставила ведро. Мы смотрели испуганно, не сделает ли Бедарф

чего-нибудь и с ней, но он только погрузил руки в воду, отряхнул их, а затем пнул ведро ногой.

Ирка вбежала, запыхавшись.

— Что он говорил, за что его бил?

— Орет только: «Проклятый еврей…», а избил потому, что тот стоял на его пути у входа в зауну.

— Вот скотина! — не сдержалась Неля.

Я посмотрела в окно. К зауне быстро шел Вацек с санитарным чемоданчиком.

Он оглянулся, нет ли кого поблизости, и юркнул в дверь зауны.

— Этот Вацек придумал себе заботу: как только кого-нибудь изобьют, он уже тут как тут с бинтами, чтобы сделать перевязку.

— Чудесный парень! — растроганно сказала Неля. — Я хочу, чтобы мой сын был похож на него…

Раздался удар гонга на обед. Мы побежали в барак к Зосе. Она уже ждала нас с дымящимся горшком супа.

— У меня что-то есть для тебя, Кристя. Угадай что?

— Клецки?

— Нет, совсем другое…

— Письмо?

— Письмо — и от мужчины… Понимаешь, тут был какой-то столяр из мужского.

— Он вошел в барак?

— Вошел. Не бойся, торваха стояла… Он спросил твой номер. А впрочем, что тут говорить, вот письмо.

Она подала мне записку. Страничка из тетрадки, сложенная вчетверо и перевязанная ниткой.

— Как он пронес это?

— В сапоге, сказал, что это самый надежный тайник.

Я развернула записку.

«Кристя! Не сердитесь на меня, я не подвергаю вас опасности этим письмом. Я так обрадовался, когда мне сказали, что вы выздоровели. Может, это помогло мое лекарство? Знаю, что вы уже получаете посылки, но, если вам что-нибудь понадобится, рассчитывайте на меня. Никогда не забуду той удивительной встречи в ивняке. Отросли ли хоть немного волосы? Прошу вас, ответьте через того же товарища, он будет к вам приходить, у него работа на несколько недель. Завидую ему. Анджей».

— У Кристи роман, — взвизгнула Бася с восторгом.

— Вы думаете, надо ему ответить?

— Конечно! — закричали обе. — Ну, а риск, это пустяки, говорю тебе… стоит.

— Каждая бы хотела быть на твоем месте, — обрушилась на

меня Зося. — Ну ладно. Ты должна, Кристя, читать нам письма, мы будем принимать участие в этом романе, раз у нас нет своего…

Я написала Анджею, что очень тронута, так радостно знать, что кто-то заботится о тебе.

Я отдала письмо Зосе.

— Это очень смешно, ведь я о нем ничего не знаю…

— А что ты должна знать? — рассердилась Бася. — Мало тебе знать, что он уже несколько лет сидит и что порядочно настрадался. Этого вполне достаточно. Завтра его могут выслать, могут посадить в бункер, мало ли что еще… А ты раздумываешь — «удобно» ли это, она, видите ли, его не знает… Может, ты хочешь, чтоб Бедарф представил тебе его официально?

К нам бежала запыхавшаяся Неля.

— Кристя, Бася, вы что, не слышали гонга? Капо вне себя, говорит, что больше не позволит вам здесь есть.

Неля тяжело дышала и торопила нас.

— Кажется, новый транспорт, только неизвестно, прямо «в газ» или надо будет на них заводить карточки.

— Кого привезли, откуда?

— Евреек из Майданека.

Мы вбежали в канцелярию, торопливо занимая свои места. Капо, на счастье, не было. Вернулась Таня — ее посылали в политический отдел — и сообщила:

— Триста молодых здоровых девушек из Майданека. Они работали в тамошней «Канаде». Валя из политического говорила, что подслушала разговор Хустека — их отправят «в газ».

— Как же это, ведь их не повезли прямо в крематорий?

— По их делу не было никакого решения. Начальство: еще не инструктировано, что с ними делать. Эти девушки знают многое. Они работали в крематориях, теперь могут взбунтоваться… Вот этого и боятся…

Спустя час мы с Таней вышли из канцелярии, прошмыгнули мимо бараков и подошли к баракам «Канады». Здесь стояла толпа женщин в разноцветных платьях. Здоровые, цветущие, — все как на подбор. Одна из них, стройная блондинка с огромными голубыми глазами, спросила нас:

— Вы здесь работаете? В какой команде?

— Эффектенкамер…

— Значит, вы будете нас переписывать… если нас направят в лагерь.

— Вас, конечно, отправят в лагерь, куда же еще?

— Ну, нас утешать не надо, мы на всем этом собаку съели.

— О чем ты говоришь?

— О крематориях… Слишком много смертей мы видели… поэтому они спешат избавиться от нас… Прошу тебя, — она взглянула на меня своим глубоким взглядом, — скажи, что ты знаешь о нашем транспорте… Бессмысленно щадить нас, ты должна сказать, это твой долг. Представь себя на нашем месте. Хотела бы ты, чтобы тебе лгали? Мы не боимся правды, даже самой худшей… Говори, прошу тебя! — она схватила меня за руку.

— Поверь мне, — убеждала я ее, — мне ничего неизвестно. Но еще никогда так не было, чтобы прибывший транспорт прошел зауну, а потом его бы отправили в печь. Селекция вам не угрожает, вы все так хорошо выглядите.

— Ну, а зачем нас оттуда вывезли?

— Не знаю, может быть, попросту эвакуируют Майданен.

— Вчера после сообщения о приближении фронта нас вызвали на общий апель. Всех евреев без исключения — тысяч пятнадцать. И всех расстреляли из автоматов. Всех, кроме нас. Мы присутствовали при этой казни; при казни наших близких, при казни тех, кому удалось Пережить несколько лет этого ада! А затем нам было приказано снять с трупов окровавленную одежду, рассортировать ее и связать в узлы. Для этого нас и оставили. Теперь покончат с нами — и не останется ни одного свидетеля этого преступления, а это только им и нужно.

— Вы молодые, здоровые, если бы они хотели вас убрать, сделали бы это сразу. В нашем лагере тоже много свидетелей их преступлений, а вы можете им еще понадобиться. Как надолго, этого, конечно, никто не знает. Все мы живем, не зная, что нас ждет. Но вот пока что живем. Ведь зачем-то держат нас за проволокой, прикончить, если захотят… успеют всегда…

— Знаешь, меня сейчас больше всего мучит мысль, что я могла бежать и не воспользовалась этим, — сказала она медленно и печально.

— Ты могла бежать и не сделала этого?

— Нас везли в товарных вагонах. У всех было золото. Мы запаслись им в «Канаде», предвидя, возможность побега. Я начала кокетничать с часовым, чтобы «заговорить» его. Мои подруги тем временем прыгали с поезда… Я должна была выпрыгнуть последней и не успела. Пока я собиралась с духом, мы въехали на территорию лагеря… Ну, а тут уж усиленный караул.

— А удалось тем, твоим подругам?

— Не знаю. Я слышала несколько выстрелов, но нам было уже все равно. Мы понимали, что едем на верную смерть… Слушай, поклянись мне, если что-нибудь тебе станет известно о нас, дашь мне заранее знать, перед смертью я должна кого-нибудь из

них… — она сжала кулаки.

— Обещаю…

Мы вернулись к бараку. Мне влетело от капо за то, что целый день не работаю и во все вмешиваюсь.

Несколько часов спустя девушки из Майданека, вымытые и остриженные, шли в лагерь. Они избежали смерти. Я облегченно вздохнула. Таня склонилась надо мной.

— Будут жить!

На другое утро лойферка нашего коменданта пошла в лагерь за списками умерших и освобожденных, если такие окажутся. Она принесла нам также почту из дому. Я получила письмо. Писала мама, приписывали друзья. Спрашивали, почему нет известий о Зосе. Никто и не догадывался, что ее давно нет в живых. Писали, что тоскуют, что мысленно со мной, что не теряют надежды. И о том, что уже недолго… Я перечитывала письмо много раз. В течение этих минут я жила иллюзией, что я снова дома, среди своих. Вдруг до моего слуха дошли слова лойферки:

— Девушек из Майданека сожгли этой ночью.

— Не может этого быть! — воскликнула я. — Ты ошибаешься!

— К сожалению, нет, не ошибаюсь. Ночью к их бараку подъехали две машины, их погрузили. Под дулами автоматов. Говорят, они не дались так просто, сопротивлялись. Один из эсэсовцев получил колодкой по голове, ходит сегодня с перевязанным глазом.

Передо мной стоял образ девушки, которую я обещала предупредить. «Я могла убежать, не успела», — говорила она.

Со всех сторон, раздавались голоса возмущения.

— Обманом их прикончили, палачи, сперва впустили в лагерь, чтобы усыпить бдительность, а потом ночью…

Капо пошла к шефу подписать какую-то бумажку. И будто ненароком поинтересовалась, где эти девушки из Майданека и будем ли мы их записывать.

— Они сожжены…

— Что? — спокойно переспросила Мария, словно разговор шел о какой-то мелочи. — Почему, герр шеф, ведь они были так молоды и красивы?

— Да. Но у них было полно золота внутри, они проглотили его. А после сожжения золото само выходит из трупов… А золото нам нужно для ведения войны…

Он отвечал деловито, спокойно, будто объяснял смысл служебной бумажки. Тем же тоном он спросил:

— Была почта?

И Мария вынула из портфеля текущую корреспонденцию.

— Прочти, Мария, я думаю, ты сама сможешь ответить на

письма.

Капо занялась чтением писем родных к заключенным, находящимся в лагере. Все письма были похожи одно на другое. Они пришли из Польши и из самой Германии. Письма из Польши чаще всего содержали просьбу переслать вещи покойной, ее пепел и запрашивали, от чего она умерла.

В первое время пепел пересылали семье в урне — за небольшую плату. Потом в связи с «завалом работы» прекратили. Отвечали только, что умерла от болезни сердца, или ангины, или вследствие простуды — это зависело от фантазии отвечавшего. Один заключенный, работавший в политическом отделе, рассказал нам, что он отвечал на письма «по десятичной системе»: один десяток умер от сердца, следующий — от воспаления легких и так далее, — чтобы не повторяться.

Мария читала письмо из Германии:

— «Лагерфюреру лагеря в Освенциме. Я получил извещение, что моя дочь Лотта Шульц умерла в лагере от болезни сердца. Благодарю за то, что власти меня об этом уведомили. Я горд, что она умерла, как настоящая немка на поле славы. Прошу прислать часы, которые после нее остались. Это фамильная память. Остаюсь всегда к услугам лагерфюрера и родины. С немецким приветом, хайль Гитлер! Франц Шульц».

Шеф с глубочайшей серьезностью выслушал о смерти «на поле славы». Следующее письмо было иного содержания.

— «Лагеркомендану в Освенциме. Прошу подробно описать, как умирала моя дочь Данута Висневская, Что говорила перед смертью, кто за ней ухаживал? Спрашиваю потому, что моя дочь была здоровой и цветущей, кровь с молоком. Спрашиваю, как мать: что вы с ней сделали? Ей было двадцать лет, и я знаю, что если бы она была дома, то не умерла бы в таком возрасте…»

Мария прервала чтение, вопросительно глянув на шефа.

— Читай дальше, что пишет эта глупая мать, — проворчал шеф, зажигая сигарету.

— «…Она была моим единственным утешением и опорой моей старости. Я надеялась, что она вернется домой. А теперь мне уже не на что надеяться, некого ждать, вы можете теперь арестовать и меня. Дочь моя была права, когда говорила, что вы садисты…»

— Читай, читай этот вздор, — подбадривал шеф, усаживаясь поудобней.

— «…и злодеи, каких не было от сотворения мира, и будьте уверены, что господь бог отплатит вам за мое дитя…»

— Ну… хватит, Мария, довольно… Дай-ка сюда это письмо с конвертом…

— Записывает адрес, — шепнула Неля. — Ну, поплатится она за свои слова. Как можно так писать! Разве не знают, что такое Освенцим? Либо наивны, как дети, спрашивают, от чего и как умерла, просят прислать прах, — либо вот так грозят… А ведь надо стиснуть зубы!..

— Не говори так, Неля! Ведь у тебя есть сын. Надо ли тебе объяснять, что боль материнского сердца не спрашивает у разума…

Мария прочла еще письмо немца из Берлина, который просил прислать ему «дорогой прах» жены.

Мы отыскали фамилию в картотеке, и оказалось, что его жена была еврейкой. Шеф ругал теперь «идиота-немца», который прах своей жены еврейки называет «дорогим».

Наконец ему надоела эта возня с корреспонденцией, он закрыл за собой дверь в кабинет и включил радио:

«Верховное командование вермахта сообщает…»

Я приложила ухо к стене. Зютка перестала стучать на машинке. В шрайбштубе воцарилась тишина. Таня на цыпочках прошла по всем комнатам и предупредила:

— Тише, сообщение с фронта…

«Наши войска отошли в плановом порядке, оставив город…»

Внезапно дверь из комнаты шефа отворилась. На пороге стояла ауфзеерка нашей команды — Янда.

Янда была некрасива, но у нее был умный, какой-то проникновенный взгляд. Она была молода, но уже чувствовался ее сильный характер. Янда никогда никого не била. Она воздействовала психологически, приучая нас к правильной выправке и лагерной дисциплине. Было что-то в ее голосе, в походке, внушающее доверие. Янда относилась к нам по-человечески, никто не мог это отрицать.

Я знала, что Янда убежденная нацистка. Она преклонялась перед Гитлером и его «идеологией». Мне никак не удавалось найти объяснение, как это совмещается с ее человеческим отношением к заключенным, и однажды я спросила ее, воспользовавшись тем, что в шрайбштубе никого не было, что она думает об истреблении евреев.

— Я убеждена, что Гитлер ничего не знает об этом, — ответила она, — Это они здесь сами делают… Фюрер не допустил бы ничего подобного…

Я не решилась вдаваться в дискуссию, хотя меня так и подмывало спросить, почему же она, столь верная своей «идеологии», не даст знать фюреру, что они творят в тылу.

Теперь Янда стояла молча в дверях и проницательно смотрела на меня.

— Так, значит, тебя интересует политика? А ты помнишь, где находишься?..

— Меня не интересует политика, меня только интересует положение на фронте… Ведь даже на бланках наших писем есть этикетка, что можно получать газеты.

— Зачем ты притворяешься наивной? Чтобы это было в последний раз. Не разрешаю — и баста! Не стану пугать тебя удалением из команды, но предупреждаю!..

У Янды был талант появляться неожиданно: чаще всего она заставала нас в разгаре увлеченной беседы или ловила кого-нибудь во время работы за приготовлением обеда. Она ничего не говорила, но долгим многозначительным взглядом приковывала виновницу к месту. Я старалась избегать ее взгляда, но то и дело попадалась. Подруги говорили мне:

— Будь осторожней, ты у нее на примете.

Зная, каковы другие ауфзеерки, мы считали, — нам просто повезло, что у нас Янда, и недоумевали, как это Янду назначили надзирательницей в концентрационном лагере. Оберка Дрекслер и другие ведьмы терпеть ее не могли за мягкое отношение к заключенным. Однако ее ни в чем нельзя было упрекнуть.

Каждый раз, когда я в исступлении начинала говорить, что всех гитлеровцев надо уничтожить, меня ставил в тупик чей-нибудь вопрос:

— А что бы ты сделала с Яндой?

— Я лично ничего, — неуверенно отвечала я, — но она заслуживает того же наказания, что и все, уже за одно то, что она здесь.

Шеф заглянул к нам в комнату.

— Мария, цуганги.

— Сию минуту, герр шеф… Неля, Кристя, Ирка, Таня, будем принимать в «зале» зауны. Позовите из пошивочной Аду, пусть шьет мешки. Быстрее, столы, карандаши, карточки. Ирка, живей за мешками!..

Мы принялись за работу. Одни заполняли анкеты, другие складывали в мешки вещи прибывших.

Мы вошли в зауну. С нами Янда — она всегда наблюдала за нашей работой.

Цуганги толпились в углу огромного зала зауны, того самого, где недавно принимали итальянский транспорт. Испуганные женщины недоверчиво поглядывали на нас. Я подошла к ним и объяснила, что мы тоже заключенные, что с ними ничего не случится, что они должны отдать на хранение вещи, которые после выхода из лагеря получат обратно. Это были большей

частью эрциунгсхефтлинги, имеющие карточки с номером, проставленным в политическом отделе. Их не татуировали. Каждая, подходя к столу, спрашивала, действительно ли отсюда выпускают.

— Ну конечно, ведь вас прислали только на шесть недель, с воспитательной целью. Поработаете и уедете..

— Да, да, я видела на воротах надпись «Труд принесет свободу», — громко засмеялась одна из них.

С этим транспортом прибыло пять полек из Вроцлава. Я спросила одну из них — ту, которая смеялась, — за что ее выслали.

— Да потому, что этот старый черт взъелся на меня и донес в полицию, будто я сказала что-то плохое о рейхе. Отомстил, стервец! Что я думаю, то думаю, но говорить не говорила. Уж лучше здесь подохнуть, чем жить с этим стариком.

— А чего ему от тебя надо? — спросила я наивно.

— Чего, чего… чтобы с ним жила… Постоянно за мной гонялся… Сначала вежливо ухаживал, просил. А потом стал грозить… Ну, вот и привел в исполнение свою угрозу, когда понял, что ничего не выйдет.

— А другие за что?

— Ах… у всех подобные истории, они бесятся, если какая-нибудь из нас держит себя независимо, сейчас же мстят.

Я села за стол. Ирка складывала вещи в мешки.

К столу подошла хорошо одетая пожилая женщина.

— Фамилия?

— Крюгер Марта.

— Откуда?

— Из Бреслау.

— Рейхсдейчка?

— Да.

— У вас есть какие-нибудь документы?

Она подала сумочку с фотографиями. На всех карточках — молодой немецкий офицер в мундире. На обороте одной из них я прочла: «Моей любимой мамочке, Ганс. Киев. 1943».

— За что вас арестовали?

— За еврейское происхождение.

— А этот офицер?

— Сын. Он на фронте.

— А муж?

— Погиб на фронте. У меня был еще сын, почти мальчик, шестнадцати лет… его убили. Могу я сохранить его фотографию?

— Нет. Все равно отберут. Сейчас пойдете под душ.

— Прошу раздеться, — сказала любезно Ирка.

Фрау Крюгер отказывалась — во-первых, она чистая, во-вторых — там мужчины. Действительно, поблизости вертелись мужчины из зауны. Мне вспомнилось, как было с нами по приезде. Каждый толкал нас и бил, А мы вежливо разговариваем с ней, женщиной, сын которой громит теперь наши города!

— Таков приказ… Прошу раздеться!

Подействовало.

Ирка быстро бросала вещи в мешок, я составляла опись: «Юбка — одна, лифчик — один…».

Приниженная, ошеломленная, как все новички, фрау Крюгер пошла в душевую.

Следующая — тоже немка. Сильно накрашенная, ведет себя вызывающе.

— Профессия?

— Проститутка, — ответила она не без гордости.

Не надо было долго рассматривать ее, чтобы убедиться в этом. Раздеваться, однако, она не желала. Ирка потеряла терпение:

— Ну-ка, побыстрее, не прикидывайся стыдливой.

— Ирка, оставь ее в покое, вспомни, как было с тобой.

— Я делала все, что мне велели. Я знала, где я, знала, что мне ничто не поможет. Я была счастлива в те редкие минуты, когда меня не били. А они тут болтают, будто их стесняют мужчины, что это по сравнению со всем, что здесь нас окружает?

— Они еще этого не знают. У них еще понятия «свободные».

Глава 4
Белый порошок

Зося выразительно кивнула мне в окно. Я выбежала.

— Кристя, ты должна посмотреть! Это страшно, но это надо видеть, чтобы навсегда запомнить, чтобы никогда им этого не простить!

Зося была взволнована. Она тащила меня за руку, на дорогу. Здесь уже стояли несколько наших девушек. Бледные, словно окаменевшие, не отрываясь, они смотрели в сторону крематория, расположенного за нашим жилым блоком.

К маленькому оконцу, находящемуся на крыше этого странного строения из красного кирпича, была приставлена лестница. На верхней ступеньке стоял эсэсовец. Под лучами заходящего ласкового солнца ярко зеленел его мундир. Быстрым, ловким движением он натянул на себя противогаз, перчатки и открыл окошко. Вытянувшись на носках, заглянул внутрь, затем вынул из кармана бумажный мешочек. Нагнув голову и держась одной рукой за раму, он другой с молниеносной быстротой высыпал внутрь помещения содержимое мешочка — белый порошок — и захлопнул окно… В ту же минуту воздух словно раскололся от пронзительного человеческого стона, похожего на завывание сирены. Это продолжалось, может быть, минуты, три, стон все ослабевал и наконец умолк. Эсэсовец соскочил с лестницы, оттащил ее от окна, бросил на траву и побежал, будто спасаясь от преследования. Он скрылся за бараком. Из эсэсовской столовой вышла Янда и посмотрела на нас молча и многозначительно. На какую-то долю секунды наши ненавидящие взоры встретились. Но только на секунду. Минуту спустя мы уже сидели за работой и силились понять, что увиденное — не кошмарный сон… Что это произошло на самом деле.

Вечером в блоке мы узнали (нам сообщили «парни» из зауны), что так расправились с еврейским транспортом, где находились евреи из разных стран. Весь этот транспорт по распоряжению из Берлина был направлен — без отбора, целиком — «в газ». В «раздевалке» газовой камеры люди поняли, в чем дело, и бросились на эсэсовцев. Одна женщина выхватила у Шиллингера, который дежурил там в этот день, револьвер и застрелила его. Другого эсэсовца ранила. Лагерные власти переполошились.

Два дня спустя действительно состоялись, похороны Шиллингера. Это был один из самых свирепых палачей, его

методы истязания «славились» по всему лагерю. Он хвастался количеством жертв, собственноручно им уничтоженных.

Таубе ходил взбешенный, с обвязанным лицом. Как видно, и ему досталось при этой «операции».

Однажды лойферка, вернувшаяся из лагеря, сказала мне почти плача:

— Слушай, Кристя, случилась очень неприятная для тебя история…

Стараюсь догадаться, но ничего не приходит в голову. Может, умер кто-нибудь близкий? Но о смерти здесь ведь уже не говорят с таким волнением. Что же могло произойти? Неужели кто-нибудь из родных арестован и попал в Освенцим?

— Говори скорей, что такое?

— Твои стихи попали им в руки.

— Какие стихи?

— Те самые, «Выход в поле».

В этом стихотворении, написанном в минуту душившей меня бессильной ненависти, я призывала к отмщению. Дрожь охватила меня. Эти стихи у них в руках.

С восходом солнца
шумят бараки,
конвой у входа
и с ним собаки.
«На аусен» команда,
здесь любят парады.
Глядят жандармы
из-за ограды…

Сейчас начнется фарс наш обычный:
смотри на тучи, как фантастичны,
как дым красиво вьется над крышей…
«Десятницы! Вверх номер! Выше!»
И — марш рядами через ворота,
старых и новых, всех ждет работа,
худых и толстых, кирка всех любит,
путь знаешь — через блокфюрерштубе.
Трепы, ботинки, ботинки, трепы,
идут к работе, глупой, нелепой,
парадным маршем под лай собаки,
венгры, испанцы, чехи, поляки:
копать окопы,
зарыть окопы.

Вниманье — с нами страны Европы!

Так начинай обычный путь,
иди вперед,
дурнем не будь.
Кто отстает?
В ногу, вперед.
И снова день
один пройдет.
И год пройдет,
сожми кулак
и снова в путь,
равняй свой шаг.
И ничего,
что натощак
и под дождем,
равняй свой шаг.
Эта муштра
в крови у нас.
Эй, не зевай,
получишь в глаз.
Смотри, не плачь,
здесь слезы — блажь,
а продолжай
трагичный марш.
Желанье, мысль
ты должен гнать.
Стройся по пять!
Стройся по пять!
Оркестр дает
привычный такт.
Усвой один
обычный факт,
что звук глухой
всегда в ушах —
то барабан.
Гони свой страх.
Как камень глух
и нем, как сфинкс,
шагай же — links — links,
links — links!

Дахау, Аушвитц, Гузен, Маутхаузен,
все за ворота, маршем «на аусен».

На истребленье уводят в поле,
муку сменяет новое горе.
Лесом, вдоль луга и крематория —
ваша победа, ваша Виктория.
В снег по болотам, в грязи шагая, —
это удача ваша большая.
Вы бы весь мир погрузили в вагоны,
вы бы хотели сжечь миллионы.
Но миллионы — помните это —
с другою мыслью встают с рассветом
и, маршируя здесь под конвоем,
шествие видят в мечтах другое.
И в каждом сердце звуки напева,
мечты грядущего: левой, левой.

Поверь, придет
наш Первый май,
прекрасный май,
свободы май!
За горе свое
миллионы вдов
пойдут в такт песни,
песни без слов.
За боль и кровь
всех этих лет
придется вам
держать ответ.
Да, он пробьет,
возмездья час,
тогда судить
мы будем вас,
за этот марш
бить и терзать,
так же оркестр
будет играть.
Будете выть,
что тяжело,
а мы на зло,
а мы на зло!
За кровь и жертвы
этих лет —
за все дадите
нам ответ!
За столько мук

и столько розг
вам в грудь —
клинок и пули —
в мозг!
За каждый стон
и каждый крик
вам в лоб — свинец,
а в сердце — штык!

За — столько горя, вздохов, слез
палач пусть сдохнет, точно пес!
Чтоб радостно вздохнул весь свет,
сотрем нацизма всякий след!
И лишь тогда, остыв от гнева,
споем свободно: левой, левой.

По словам лойферки, Стеня нашла стихи у кого-то во время обыска и немедленно передала по начальству. Оберка так и кипит от злобы. Стихи перевели на немецкий, и теперь велено разыскать автора.

Я вспоминаю, что та, у кого стихи были найдены, знает меня. Имея представление о методах следствия в Освенциме, отдаю себе отчет, что дело мое плохо.

С этой минуты ожидаю вызова гестапо. Подруги взволнованы. Стараются утешать, но чувствую, — уже смотрят на меня, как на покойника. Неля рвет все листки с моими стихами. Со странной радостью я наблюдаю за тем, как другие ссорятся с ней. Не дают ей делать это, твердят, что они спрячут, закопают в землю. Они хотят во что бы то ни стало сохранить стихи.

Светловолосая Эдка, одна из самых молодых в нашей команде, знает наизусть все мои стихи. Она заучивала их долгими вечерами. Теперь она успокаивает других:

— Можете уничтожать, нельзя ведь подвергать ее опасности. Я вам прочту все наизусть. — И добавляет тише: — В случае чего…

Она подходит ко мне и всматривается в меня так, словно изучает каждую черту лица.

Она меня любит, но я знаю, что особенно ей жаль моего «творчества». Она постоянно следила за мной, то и дело спрашивала: «Ты написала что-нибудь новое?»

Валя прислала мне записку. Положение серьезное. Пойманную со стихами все еще допрашивают. Взяли еще одну. Зовут ее Алина Обрончкевич. Как и мы, она из Павяка. Незачем

обманывать себя, надо ждать «гостей» из гестапо.

Иду в жилой блок, уверенная, что это мой последний вечер. По прошествии нескольких минут блоковая вызывает мою фамилию. Ноги не слушаются меня, с трудом подхожу к дверям барака. Оборачиваюсь, чтобы в последний раз посмотреть на лица подруг. Сейчас меня встретят другие лица, страшные лица гестаповцев. Начнется допрос. Алинка, наша милая штубовая, входит в эту минуту в барак с огромной коробкой.

— Кристя, тебе посылка.

— Что? Это ты вызвала мою фамилию?

— Я, а что случилось? Почему ты такая бледная?

Беру посылку. Узнаю почерк дорогого, близкого мне человека, отрезанного теперь от меня тысячами миль. Отправитель: Пудловский. Начинаю искать в коробке и нахожу карточку матери. Ее добрые глаза смотрят с мольбой: «Живи! Ради меня — живи!» — просят они.

И это именно сейчас… сегодня…

Неля, Бася, Яся, Эдка и другие обступают меня. Рассматривают карточку матери. Слезы стоят у них в глазах.

Что-то рвется у меня в душе, я начинаю рыдать.

Неля гладит меня по голове.

— Нет, ты не можешь погибнуть. Это хороший знак, что именно сегодня пришла карточка твоей матери. Ты же знаешь, что посылки никогда не приходят тому, по чьему делу ведется следствие. А к тебе пришла. Вот увидишь, Кристя, произойдет чудо: никто тебя не выдаст, никто не назовет автора.

В эту ночь я ложусь, не раздеваясь. Несмотря на утешения Нели и других, я не верю в чудо. Лежу без сна, не отрывая глаз от дверей. В висках у меня стучит. Я сжимаю в руке карточку матери. Мне так жаль расставаться с жизнью, а ведь все месяцы, проведенные здесь, мне казалось, что я ею совсем не дорожу.

В напряженном ожидании медленно проходит час за часом. При малейшем шорохе я вскакиваю. Нет, это только сентябрьский ветер шевелит сухую листву орешника, маскирующего ограду крематориев. Мысленно прощаюсь со всем, что любила. До конца понимаю бессмысленность своего существования. Значит, затем я перенесла тиф, лагерную грязь, апели, чтобы теперь, когда близится освобождение…

Ночь на исходе. За оконной решеткой сумерки рассвета. В бараке вспыхивает лампочка. Бася приоткрывает один глаз.

— Ну… никто не был, не приходили?

Не могу удержаться от смеха.

— Наоборот, были, но не хотели будить тебя. Потихоньку

забрали меня и убили.

Бася начинает громко припевать, нарушая тишину еще не проснувшегося барака:

— Глупая Кристя, глупая Кристя, не придут, не придут, будешь жить, будешь жить…

После нескольких дней волнений появляется надежда. Наконец получаю записку от Вали: «Алинка Обрончкевич на вопрос, кто написал стихи, решительно заявила, что Луция Харевич, умершая в 1943 году. Я уверена, что она не изменит показания. Тебе везет, Кристя. Прошу тебя, напиши что-нибудь красивое. Какая радость, что оберка и остальные ведьмы прочли, что мы о них думаем. Обе допрошенные поедут со штрафным транспортом. Теперь это для них, может быть, и лучше».

Глава 5
«Лягушки»

Жизнь проносилась вне времени, как в горячечном бреду. От воскресенья до воскресенья. Дни недели ничем не отличались для нас один от другого. Только когда лойферка возвестит свистком конец работы в двенадцать часов дня, мы знали — это воскресенье.

А лагерь все пополнялся. Со всего света пригоняли сюда новые и новые транспорты. За разные «преступления»: за высказывания о режиме, за газеты, за сомнительное происхождение, за саботаж, за неявку на работу, за самовольное продление отпуска. Сюда же отправлялись захваченные в облавах. Из Вроцлава, Гамбурга, из Берлина. Польки, русские, итальянки, француженки. Политические и «асоциальные». Привозили рейхсдейчек, наказуемых за помощь угнанным из других стран или за романы с поляками. В лагерь бросали матерей за то, что они ложились под поезд, увозивший их сыновей на фронт.

Большими транспортами прибывали и прибывали бледные, исхудалые мужчины, евреи из гетто. Эти уже утратили человеческий облик. Лица их ничего не выражали. Лихорадочный взгляд в запавших глазницах, обтянутые кожей скулы. Для них в лагере почему-то существовало прозвище: «мусульмане». Глядя на них, мы думали только об одном: «Где взять хлеба? Откуда взять столько хлеба… Как их накормить?..

Долго смотрели мы на них, в конце концов приходилось просто отворачиваться и говорить себе первые пришедшие на ум слова для самоуспокоения.

Из разных участков Лагеря приходили к нам девушки и рассказывали, сколько человек ежедневно умирает. И как умирают. Как вылавливают людей на работу на территории лагеря. Как затем ведут голых, больных, полуобезумевших людей в ревир, на верную смерть. Рассказывали, как ежедневно на Лагерштрассе вновь прибывшие заключенные дерутся — со старыми из-за ложки супа, из-за порции прокисшей брюквы. И ежедневно то один, то другой блок в наказание стоит на коленях у ворот. Стоят за плохо повязанные платки, за то, что сбились с ноги в марше, стоят ни за что ни про что, по капризу оберки или Таубе. Мы слушали бесконечный рассказ о том, как в ревире одни умирают от голода и истощения, а возле них, на тех же кроватях, умирают от заразных болезней другие, «зажиточные», и рядом с ними стоят их невскрытые посылки, полные филейной колбасы,

консервов, шоколада.

Все это я знала, знала слишком хорошо. Я слушала рассказы, и мне казалось, что жизнь никогда и не была иной. Попеременно меня охватывали ненависть, жажда протеста, апатия и, наконец, всегда и над всем берущее верх чувство бессилия.

Весна хлынула ошеломительным потоком. Она хлынула через проволоку, неустанно неслась вдоль бараков, зеленела в березках, золотила касатник, окаймлявший белый домик на опушке рощи. Но, глядя из окна на шествие весны, мы ни на минуту не могли забыть о том, что стены внутри этого домика забрызганы кровью. Весенняя лазурь неба была скрыта от нас черным дымом от сжигаемых человеческих костей.

При мысли о том, что где-то на свете есть Варшава и Висла, сердце сжималось в нестерпимой, мучительной тоске.

По вечерам, после отбоя, когда в бараке был погашен свет, начинался час воспоминаний. Шепотом рассказывали мы друг другу о своем недавнем прошлом, о том, где были год, два года назад… и как там было в эту пору.

За последние месяцы мы заметно окрепли. Быстрее росли волосы, следы чирьев на теле бледнели. Мы часто мылись, белье брали в «Канаде», все-таки мы были в привилегированном положении. Из многих тысяч женщин в лагере так жилось только нашей команде, то есть каким-нибудь шести десяткам человек.

Зося вбежала в нашу шрайбштубу с таинственным видом.

— Тебе письмо, от Анджея.

Я отправилась в уборную, это было единственное место, где удавалось позволить себе недозволенное: выкурить папиросу, прочесть письмо, поделиться вольными мыслями о лагерном начальстве…

Анджей писал о своих чувствах. «Это странно, неправда ли — у меня тут много товарищей, друзей, а я ухватился за эту мысль, чтобы дружить с тобой. Видно, необходима мне твоя дружба. Не знаю, так же ли чувствуете вы, женщины, но мы сильнее всего испытываем тоску по любви. Наверно, это смешно — ведь нет никакой надежды, что мы с тобой когда-нибудь встретимся, я не верю, что выйду отсюда. Давно уже потерял надежду. Но все же письмо, полученное от женщины, облегчает лагерную жизнь. Поймешь ли ты, чем было для меня твое коротенькое письмецо?

В моем воображении ты осталась прекрасной, хотя, по правде говоря, тогда там, в ракитнике, ты совсем не была такой. Ты была лысым, вшивым полосатым халатом… А солнце грело так же, как сегодня… помнишь? К сожалению, я больше не хожу уже на берег Солы. Сижу в большом, темном бараке и тоскую по свободе.

Сегодня поймали девушку, которая убежала из лагеря (она

была лойферкой). Поймали вместе с моим товарищем. Оба брошены в бункер. А я так им завидовал…»

…Малю поймали! Но это невозможно! Ведь прошло уже столько времени, как они убежали. Я перечитала несколько раз эти слова в письме. Итак, все напрасно! И это смелое бегство, и наша радость. Дело ведь не только в Мале. Ежедневно здесь погибают тысячи, и это уже никого не трогает. Дело Мали было нашим общим делом. Неудача его означала, что бегство отсюда невозможно. Означала всесильную власть гестапо. Мы о Мале почти забыли, а они искали ее и нашли. Значит, каждый из нас в их власти до конца. Несчастная Маля, едва глотнула свободы и вот томится теперь в темной яме…

Весть о поимке беглецов разлетелась по баракам молниеносно. В лагере воцарилось похоронное настроение. Каждая из нас чувствовала себя так, словно беда обрушилась лично на нее.

Начались ежедневные сообщения — «через парней», устной почтой, о том, что происходит с пойманными. Малю бьют, Малю пытают, дознаваясь, кто ей помог. Ее возлюбленный, по-видимому, все берет на себя, утверждает, что уговорил ее бежать. Маля же не выдает никого.

А однажды кто-то принес из «достоверного источника» новость, что никого не поймали, что начальство нарочно распустило этот слух с целью убить в других, в самом зародыше, мысль о бегстве.

Мы комментировали это еще много дней. Я написала Анджею, чтобы он постарался узнать правду.

Вскоре история Мали была оттеснена новыми сильными впечатлениями.

— Посмотри в окно, — сказала Неля и схватила меня за руку, — что это они там делают?..

На площадке перед зауной стоял Вагнер. Мужчины, обычно расходившиеся по баракам сразу после вечернего апеля, на этот раз по приказу Вагнера то подпрыгивали в такт ударам его хлыста, то приседали. Подобно укротителю диких зверей, Вагнер носился, щелкая хлыстом, а мужчины, молодые и старые, падали на землю ничком, приседали, прыгали, снова падали…

— Ложиться! Вставать! Живо! Бегом! Вставать!

Если в этой садистской гимнастике кто-нибудь опаздывал хотя бы на секунду, Вагнер был уже возле него, бил его по лицу, отдавал новый приказ и бросался к новой жертве. По команде хлыста люди метались без передышки. Несколько пожилых мужчин упали, потеряв сознание. Бася, отец которой тоже был в

лагере, особенно страдала, глядя на все это. Я знала, она представляет себе отца в подобном положении. Мужчины были уже до предела изнурены. Из последних сил они старались следовать приказам Вягнера, чтобы избежать удара его хлыста. Неля прикрыла глаза рукой — жест отчаяния и безнадежности.

— Невозможно смотреть. Что он с ними делает!

Сначала я не различала лиц истязуемых, хотя старалась рассмотреть, находится ли там Вацек. Лица мелькали в безумном темпе, полосатые халаты сливались в один.

Когда несчастные на какое-то мгновение оказались вблизи нас, я увидела, что с них ручьями льется пот, что они ели дышат. Вацека среди них не было, значит, он должен быть где-то поблизости. Наверно, ждет со «скорой помощью». После этой «физкультзарядки» у него будет достаточно работы. Так и есть: за одним из бараков, в тени, стоял Вацек со своим портативным полевым госпиталем, с врачебным чемоданчиком. Я перебежала на мужскую сторону. Вацек ужаснулся:

— Уходи отсюда, увидят! Что за безумие! Ты тоже хочешь «прыгать лягушкой»?

— За что это их?

— При обыске у одного нашли записку от женщины, у другого водку. В Освенциме, в мужском, раскрыли какой-то заговор, и сорок человек брошены в бункер. Настроение такое, что уже приходит конец терпению, вот они и стараются всех сломить, всех задушить… Но ты уходи, тебе нельзя здесь стоять… Недавно одну вашу вернули в лагерь…

Вацек нервничал. Он все выглядывал из-за барака — не идет ли кто-нибудь.

Подошла Бася с ведром и подала знак, что приближается шеф. Я успела скрыться в самую последнюю минуту.

Вернулась Бася и стала выговаривать:

— Совсем недавно так же вот одна из команды влипла за то, что болтала с парнем через проволоку. Обрили голову да и отправили в лагерь. Сама понимаешь, что ей теперь конец. Вынести столько мук, чтобы попасться из-за пустяка. Никогда бы я этого не простила ни тебе, ни себе. Запрещаю тебе говорить с ним. Запрещаю даже переписку с Анджеем. Видишь, что делается?

— Ночью забрали мужской транспорт, — сообщила нам однажды в воскресенье штубовая нашего жилого блока.

Это было воскресенье, в которое на наши номера падала очередь писать письма домой. Пятнадцать строчек. Всегда одно и то же. Казалось, что одна у другой занимает фразы вроде: «Весна вызывает столько милых воспоминаний, верю, что следующей

весной буду в Варшаве». Или: «Постоянно думаю о вас. Перед глазами у меня встает родной дом, и тоска становится сильнее».

Такого рода высказывания были уже дерзкими, и мы задумывались, пропустит ли их цензура. По какому праву мы тоскуем? Вот почему заключительная часть письма, как правило, завершалась оптимистически: «Чувствую себя хорошо», «Посылки получаю регулярно»… А потом придумывали эффектную концовку: «Я уверена, что добрый боженька меня не покинет…»

Ничто из того, что мы писали по-немецки на печатных бланках, ничто из этого не было нашим, не было ни откровенным, ни правдивым. Каждое письмо было похоже на предыдущее. Всего лишь знак, что ты жива, не больше. А как хотелось иногда излить в письме душу! Мы с Басей решили заготовить письма для нелегальной отправки.

На следующей неделе должны отправиться на свободу несколько абгангов. Я предупредила своих в «официальном» письме, конечно, шифром: «Мне писала Зося (мое второе имя), что напишет вам длинное письмо. Очень хотелось бы знать, что у нее слышно…»

Покончив с письмами, мы вышли из блока. Прибыл новый транспорт. Схватив ведро, Ирена пошла собирать информацию. Вернулась с сообщением, что прибыли французские партизаны. Одна заключенная, знающая французский, храбро отправилась к мужскому бараку, куда согнали французов. Они, оказывается, вовсе не знали, где находятся. Ничего не ели вот уже двое суток. Смертельно усталые, измученные жаждой, они напрасно просили воды.

Мы стояли маленькой группой перед своим блоком и обсуждали, почему всех привозят сюда. Вдруг раздался отчаянный крик, а затем выстрел, кто-то уже мчался по направлению к зауне. Немного погодя появился Бедарф, он тащил за ногу тело мужчины. Это был один из партизан. Узнав, что они попали в Освенцим, он совсем пал духом, бросился к проволоке и был ранен.

Чеся, которая за минуту до этого шутила: «Как хорошо, что нам привезли парней», — вдруг побледнела, ноги у нее подкосились.

Я побежала к Вацеку. Чесю отливали водой. Едва открыв глаза, она прошептала:

— Он еще, наверно, жил, еще был теплый… этот парень…

Никто ей не ответил. Семнадцатилетняя Чеся внимательно смотрела огромными голубыми глазами на каждую из нас по очереди, ища утешения. Но чем могли мы ее утешить?

— Подумаешь. Впервые увидела здесь труп, что ли, —

проворчала Ирка, — с чего ты вдруг раскисла?

Чеся уставилась в одну точку и с усилием, словно отгоняя кошмарное видение, сказала:

— Не могу… столько крови, вся голова в крови… Подумать только… партизан так умирает! А этот палач тащит его…

Она все это снова видела перед собой. Ночью, в блоке, она громко стонала во сне.

Войдя утром в шрайбштубу, я заметила несколько женщин. С ними была ауфзеерка Грессе, «прекрасная Ирма» — стройная, золотоволосая, с холодными черными глазами. Она дразнила хлыстом прыгающего перед ней волкодава. Собака наводила ужас на женщин, и это явно развлекало «прекрасную Ирму».

Как оказалось, ауфзеерка привела освобождаемых. Забава с собакой-волком была последним «развлечением», какое она им устроила.

Я прошла мимо них, чтобы разглядеть выпускаемых на свободу. Все это были «черные винкели». Среди них я увидела ту, которая била меня по прибытии в лагерь и лишила порции хлеба, когда я работала в поле. Она была тогда моей анвайзеркой. Так вот, значит, кого освобождают! Вне себя от возмущения, я быстро прошла мимо абгангов, влетела в канцелярию.

— Уходят… эти, самые подлые… те, что издевались над нами! Выйдут на свободу, затеряются в народе, и никто уже их не найдет. И нельзя даже сказать такой на прощанье подходящее словцо, не подвергаясь опасности, — рядом Грессе играет с собакой.

— Ты предпочитаешь, чтобы освободили тебя? — насмехалась надо мной Неля. — Не злись, не поможет! Лучше, что такие уходят отсюда… одной будет меньше… А там, — она указала рукой вдаль, за проволоку, — там и так все смешались… не отличишь хороших от плохих.

Абганги, уже переодетые в гражданскую одежду, вошли в канцелярию за документами. В шляпах, в туфлях на высоких каблуках, их теперь трудно узнать. У них уже была иная походка, иной взгляд, иные движения. Они «репетировали» свободу.

Бася не отрывала от них глаз. Потом наклонилась к моему уху:

— А ведь они, пожалуй, будут в этом году купаться… в море.

— Ты сошла с ума! Германию потрясают до основания непрерывные бомбардировки, они еще пожалеют о лагере. Уверяю тебя, им совсем не хочется уходить отсюда… Тут у них была власть, тут они были кем-то… Вряд ли они думают о купанье в море!

Очертания гор вдали вырисовывались сегодня отчетливее,

чем всегда. Абганги выходили за ворота лагеря. Одна оглянулась и крикнула в нашу сторону:

— До встречи на свободе!..

У Нели на глазах показались слезы.

Освобожденные повернули за первый крематорий и исчезли из виду. За ними шла Грессе, рядом с ней прыгал волкодав.

Ночью нас разбудил грохот машин и крик. Хорошо знакомый нам последний крик.

— О, боже! — вздохнула Бася. — Мне снилось, что я прыгаю в воду с высокого трамплина… Что там опять случилось?

— Наверно, транспорт «в газ», но не пойму откуда. Днем никто не приезжал. Видно, из лагеря.

— Транспорт SB, — сказал кто-то в темноте.

— А что это такое?

— Это Sonder Behandlung, особо содержащиеся. Те, что после «селекции», из лагеря. Комендант отбирает, а Берлин должен утвердить. А до подтверждения сидят в двадцать пятом блоке.

Мы уже забыли о 25-м блоке. Нам стало казаться, что после нашего переезда из лагеря там прекратились все ужасы. Между тем «селекция» продолжалась! Они не знают отдыха, — как говорила Бася. После каждого транспорта нам казалось, что этот будет уже последним. А там, в 25-м блоке, не прекращаются очереди смертников.

Уснуть было невозможно. Я все прислушивалась. А Бася закрыла уши и спряталась под одеяло. Ей хотелось еще раз пережить свой сон и прыгать с трамплина. Я встала, подошла к окну. Там уже стояли Чеся, Зося, Яся, в ночных рубашках, — фантастические фигуры в свете луны. Отчетливо слышен был грохот возвращавшихся пустых машин.

Языки огня взвивались вверх, кружились, чертя в небе зигзаги. Иногда пламя вырывалось с такой силой, будто его раздували изнутри.

В воздухе вокруг — безбрежная тишина. Только пламя, взывающее о мести, грозное, багровое пламя подымалось в синее звездное небо.

«Представь себе, Кристя, — писал Анджей, — вчера я был два часа на воле. Требовалось доставить в лагерь какие-то бревна, на погрузку взяли нескольких заключенных. Какое это удивительное чувство! Я словно обезумел от счастья. За эти два часа я спешил наглотаться свободы. Никогда я не думал, что крестьянская изба, колодец, хлев, полевые тропинки, — что во всем этом столько красоты… Ты не поверишь! Цветут деревья, и молодые, здоровые, улыбающиеся женщины, в ярких платочках, шли полем и долго,

долго махали нам рукой. Одна их них так печально на меня смотрела, не могу забыть ее взгляда, она смотрела на меня как на покойника. Ведь, собственно говоря… она права. Я пил жадными глотками свежий утренний воздух, запах весны, вдыхал опьяняющую свободу как наивысший дар… Ах, Кристя, пройтись когда-нибудь с тобой по полю или тенистым леском в такой день, как сегодня! И подумай, я должен был вернуться сюда. В лагере меня ждал апель. И опять — барак. А у вас там — знаю — дымят крематории.

Эти сорок, о которых ты, наверное, слыхала, будут расстреляны сегодня ночью.

О чем же еще можно писать? Будь здорова, Кристя. Жизнь прекрасна! Теперь я это знаю — но что из того?»

Приехала повозка с посылками. Для меня посылки не было. Меня это очень обеспокоило. На этот раз посылку получила Зося. Пришли, правда, одни яйца, и почти все побитые, но мы и этому были рады. Через девушек из посылочного отдела мы с Нелей передали для ревира несколько рубашек. Валя распределит их между больными.

Посылка была уже распакована, когда внезапно вошел шеф. Он был хорошо настроен. Отметил, что мы получаем вкусные вещи. Мы должны его угостить!

— Ядом! — шепнула Ирена сквозь сжатые зубы.

Когда он ушел, девушку из посылочного окружили.

Она возбужденно рассказывала о чем-то.

— Страшно изменилась, я ее видела. Волосы черные, покрасила, наверно, чтобы не быть узнанной.

— Не помогло бедняжке! Ну что же с ней, скажи. Ты действительно видела ее вблизи? Как это было, говори!

Они говорили о Мале. Я подошла к ним.

— Утром в девять часов ее привели в лагерь, в блокфюрерштубу. Собирались показать ее всем, чтобы ни у кого не было сомнения, что она поймана. Хотели дождаться апеля, а потом повесить. Но Маля схватила бритву и в одно мгновение перерезала себе вены. К ней подбежал блок фюрер с криком: «Что ты делаешь, Маля?» В ответ она ударила его по лицу: «Не дотрагивайся до меня, собака!» Тут подошла оберка и стала над ней издеваться: «Вот видишь, поймали. Ты думала, что можно обмануть рейх… О нет, такой человек еще не нашелся!»

Маля слабела. Кровь лилась из ее вен, а оберка продолжала издеваться. Вдруг Маля с просветлевшим лицом — неизвестно, откуда только у нее взялись силы — крикнула так громко, что слышали даже девушки за окнами блокфюрерштубы: «Знаю, что я погибну, но это ничего! Важно, что вместе со мною погибаете вы,

ваши часы сочтены! Ты гибнешь, змея, и тысячи змей, тебе подобных; Ничто вам уже не поможет, ничто вас не спасет…»

Это были ее последние слова. Оберку охватила ярость. Блокфюреры были потрясены. У одного даже показались слезы на глазах. У того, которого она ударила. Говорили, что он любил ее. Он вынул револьвер, добил умиравшую и вынес ее тело из блокфюрерштубы, где неистовствовала от злости оберка… А от Мали осталась лужа крови.

Малю уложили на ручную тележку, вызвали несколько девушек из блока. Прибежали подруги Мали. Они-то и потащили тележку. Из домика блокфюрерштубы, на окнах которого цвели пеларгонии, вышла бледная от злобы оберка и указала рукой в сторону крематория:

— Увезите скорей туда эту подлую свинью!

Так в тележке везли Малю через весь лагерь…

Мы стояли у окон бараков и прощались с Малей. Колеса тележки скрипели, а свет солнечного утра в последний раз озарил ее милое личико и полосатый халат, весь в крови.

Глава 6
Гречанки

Привезли почту. Писем для меня опять не было. Не в первый раз тревожилась я из-за этого. С удивлением смотрела я на тех, кто вовсе ничего не получал с воли. Как могли они жить? Вся жизнь была от посылки до письма. В последнее время мое беспокойство дошло до того, что в каждом транспорте я с тревогой ждала своих родных. Мне представлялось, что схватили мою сестру; что ее бьют, что она уже здесь. В каждой пожилой женщине, встреченной в лагере, я видела свою мать. Чувства мои были обострены до предела, я замкнулась в себе. Подруги пробовали утешать меня.

— Не огорчайся, ведь так бывало не раз. Может, затор на железной дороге, — утешали они, как могли.

Но ведь и я говорила то же самое другим…

Янда предупредила, что ожидаются цуганги. Транспорт из Вроцлава. Не меньше раза в неделю Вроцлав направлял к нам женщин-заключенных. На этот раз, вероятно по ошибке, прибывших доставили в лагерь А, туда нас и отправили присматривать за ними. Нас сопровождала Янда вместе со своим поклонником, которого мы прозвали «братцем». Это был один из наименее зловредных эсэсовцев. Он переменился под влиянием любви к Янде. Еще недавно он входил в умывальную комнату и развлекался тем, что, то ли в шутку, то ли всерьез, стегал хлыстом по голым спинам женщин, еще недавно он полушутя, полусерьезно натравливал на нас собаку. Ни с того ни с сего стал подшучивать и над Яндой. И влюбился в нее. Янда решила его воспитать, применяя различные психологические приемы, и «братец» ходил у нее «на поводке». Как-то он сказал даже одной из нас «вы», что было признаком серьезного внутреннего перерождения.

«Братец» шел рядом с Яндой, держа ее под руку. Мы шли пятерками по обнесенной проволокой дороге, соединяющей два участка лагеря. Вдоль дороги сидели голодные «мусульмане» и разбивали молоточками большие камни. Некоторые, вконец измученные, отдыхали, опираясь на лопаты в свежевырытых рвах. Они поднимали на нас угасшие глаза. Они завидовали нам, что мы идем опрятные, в фартучках, шагаем резво, как на экскурсию. При виде этих живых скелетов мы сгорали от стыда, что здоровые и сытые.

— Пойте! — предложила Янда.

Но мы и дальше шли молча. Как можно петь, глядя на них? Янда Не могла этого понять. Для любви, для радостного настроения ей нужен был соответствующий фон. Вокруг же были крематории да бледные «мусульмане», камни, рвы, редкие деревья. Пение оживило бы эту картину.

— Я запою тогда, когда камни будут разбивать гитлеровцы, — пробормотала Неля. — А сейчас пусть она сама себе поет!

Мы прошли мимо блокфюрерштубы. Из домика с окнами, полными цветущих пеларгоний, вышла ненавистная нам ауфзеерка Хазе.

— Дамы из эффектенкамер? Ну-ка, поглядим, что у вас там.

Она подходила к каждой из нас, ощупывала. У тихой, кроткой Ани она со злорадством вынула из-за лифчика пару чулок. Ударила ее по лицу.

— Откуда эти чулки, для кого? Для торговли? Мало вам жратвы, меняешь на картошку! А?

Аня молчала. Щека ее горела от удара. Янда, отвернувшись, играла с собакой, притворяясь, что ничего не видит. Хазе записала номер Ани. Мы уже входили в глубь лагеря, когда кто-то из блокфюрерштубы догнал нас. Приказано было вернуться и помочь погрузить в машину каких-то старушек, которые сидели в канаве перед домиком с пеларгониями.

Я подошла к одной старушке и подала ей руку. Она встала.

— Держи меня крепче, дитя мое, ты не знаешь, как я устала. В моем возрасте такие «путешествия»!..

Я помогла ей подняться в кузов грузовика. Старушка все повторяла, улыбаясь и кивая головой:

— Такие путешествия, такие странные путешествия!..

«Помешалась, — подумала я, — ничего удивительного».

Подруги так же старательно усаживали других старушек.

Машина тронулась.

— Куда они едут? — спросила Яся тоном хорошо воспитанной институтки Янду.

Янда печально взглянула на нее.

— Сегодня хорошая погода. Неправда ли, Яся?

Да, погода действительно была прекрасная. Но почему Янда не ответила? И вдруг молнией пронеслось у меня в мозгу: да ведь это я сама посадила людей на грузовую машину, едущую в крематорий. Эту милую старушку, которая могла быть моей матерью или бабушкой, я сама усадила в машину смерти…

«Если бы не я, это сделал бы кто-нибудь другой, — старалась я успокоиться, — ведь это был приказ, мы не знали, что делаем…»

«Да, — отвечал во мне другой голос, — эсэсовцам тоже приказывают. У них по крайней мере есть оправдание, что они уничтожают своих врагов. А мы? А я? Надо было отказаться, пусть бы застрелили. Ведь они только потому могут выполнять все свои планы, что нигде не встречают отказа. Это ложь, что я не знала. Если бы я хоть на минуту задумалась…»

Эта мысль не давала мне покоя — я не знала, куда от нее деваться. Пробовала рассматривать это и с другой стороны: «Разве этим старушкам не лучше умереть, чем переносить непосильные муки в лагере?..»

«Ах, вот как, значит ты даже совершила гуманный поступок… — издевался во мне знакомый голос. — Они именно так и оправдывают свои преступления… гуманными соображениями…»

— Боже, боже! — стонала идущая рядом Неля. — Если бы год назад кто-нибудь сказал мне, что я буду живых людей…

В лагере было все по-прежнему: серые лица, с запавшими глазами, еле бредущие в своих полосатых халатах и колодках полутрупы, пожирающие отбросы у помойки — самым удачливым доставались конские кости.

Штубовые и блоковая прислуга тащили бочки с супом, в воздухе стоял запах прокисшей брюквы. Иногда через Лагерштрассе проходил эсэсовец с хлыстом, вызывая вокруг панику. Было малолюдно. Кто мог передвигаться — работал в поле.

С товарной станции отчетливо донесся свисток. Это прибыл поезд с новым транспортом из Греции. Янда велела нам идти в цугангсбарак и следить за порядком.

Я вошла в огромный пустой барак, в котором некогда впервые познакомилась с сущностью слова «Освенцим».

Как же я здесь освоилась, если вхожу сюда без дрожи.

Как стала близка мне лагерная терминология: цуганг, Лагерштрассе, ауфзеерка, блокфюрерштуба. Я больше не говорю: «заключенная», а «хефтлинг». Не спрашиваю, «кто ты», а «какой у тебя номер». Я заранее знаю, как будут испуганы эти гречанки, знаю, как они будут выглядеть и что они будут спрашивать, знаю, что пройдет всего лишь несколько дней и исчезнет их красота, согретая горячим солнцем Салоник. Они посинеют, покроются нарывами, будут умирать от тифа. А те, что уцелеют, пойдут после «селекции» «в газ». И вдруг я почувствовала безумный страх перед теми вопросами, которые будут задавать мне эти здоровые, ничего не подозревающие женщины. Так и случилось, как я предвидела: черноокие, смуглые, стройные гречанки встречали с беспокойством каждое новое лицо. Они что-то объясняли нам

жестами.

Одна из них, знающая немецкий, стала что-то обсуждала с подругами. Видно было, что вопрос, который она собиралась задать, казался ей рискованным, все же, глядя на меня подозрительно, она спросила:

— Куда повезли на машинах наших родителей?

— На машинах? — удивилась я. Мне самой необходимо было проверить, как они подстраивают эту ловушку. — Как было дело при выходе из поезда, расскажите?

— Подошли три грузовика, — взволнованно рассказывала женщина. — Нам сказали, — кто устал, может ехать машиной. Мы посадили старших, и они уехали… И вот нас привели сюда, а их нет. Скажи, куда их повезли? Ты должна знать.

— Наверно, в какое-то другое место, впрочем, не знаю. Я в самом деле ничего не знаю.

— Так мы с ними не увидимся?..

— Думаю, что нет.

Остальные напряженно вслушивались. Наконец гречанка перевела им наш разговор. Женщины стали громко плакать.

Стремительно распахнулась дверь, и в барак влетел эсэсовец. Он был похож на киноактера — холеное, приятное лицо с правильными чертами. Высокий, стройный, он мило улыбнулся и крикнул:

— Спокойно!

— Кто это? — спросила я тихонько у стоявшей рядом девушки.

— Врач Менгерле. Неужели ты не знаешь Менгерле — этого палача из «кроличьего садка»?

— Так это он? Никак не вяжется его внешность с тем, что о нем рассказывают. Невероятно, как может быть обманчив внешний вид человека. Вот этот — кажется культурным, порядочным, лицо его вызывает доверие, и, оказывается, он проводит эти чудовищные опыты…

Перед моими глазами всплыл образ Альмы Розе, одной из многих жертв его садистских экспериментов: после нескольких дней пребывания в его «лаборатории» у нее началось нервное заболевание. А сколько погибло других несчастных, которым делают пересадку желез, вынимают спинной мозг из позвоночника, вводят в кровь бактерии заразных болезней. Я смотрела на этого изверга с гладким лицом, который проводил над людьми свои преступные опыты, смотрела пристально, чтобы запечатлеть в памяти, запомнить навсегда, каких чудовищ они породили!

— Скажите мне, пожалуйста, — Менгерле говорил тихо и

вежливо, будто слушателям в аудитории университета, — есть ли среди вас женщина по фамилии Зенира?

Ответа не было.

— А кто-нибудь из вас знает немецкий?

Вперед выступила гречанка с классическими чертами, очень смуглая, очень изящная, с белой повязкой на голове.

— Я знаю немецкий, — сказала она кокетливо, как говорит сознающая свою красоту женщина красивому мужчине.

Была минута, когда казалось — сейчас он ей представится и они выйдут из барака под руку.

— Ужасно! — услышала я шепот Баси. — Чем все это кончится? Только бы это чудовище не обратило на нас внимания. Давно мне не было так страшно.

— Я задушила бы его именно за то, что он такой. Он хуже, чем этот дьявол Хустек. У того по крайней мере все написано на морде.

Менгерле тем временем галантно просил гречанку:

— Не откажите, пожалуйста, помочь мне отыскать Лидию Зениру.

Гречанка обратилась к соотечественницам и перевела им вопрос врача.

Зачем ему понадобилась эта Зенира? Наверно, хочет ее спасти. Я слыхала о случаях спасения людей из транспортов. Может быть, он работает с кем-нибудь, кто просил его об этом. Может быть, Менгерле не такое уж чудовище, раз он так старается отыскать эту Зениру?

Из рядов вышла какая-то женщина и сообщила, что Лидия Зенира, ее приятельница, действительно сюда приехала, но поехала машиной, потому что была очень утомлена.

— Машиной, — заметно огорчился Менгерле. — Жаль! — пробормотал он под нос и быстро выбежал из барака.

— Чего он хотел? — ломали мы себе голову.

В барак вошла Валя.

— Ах, Валя, — бросилась я к ней в отчаянии, — зачем ты не дала мне умереть? Зачем ты меня спасала? Все это ни к чему, ты сама ведь хорошо знаешь, столько надо еще пережить… столько увидеть!..

— Не говори так, Кристя, положение на фронте очень хорошее. Они бегут! Был тут этот изверг, этот красавчик?

— Был. Чего он хотел, Валя?

— Он проводит теперь опыты с близнецами. С сегодняшним транспортом отправлен близнец какого-то его пациента. Транспорт был заранее объявлен, и теперь он усиленно ищет.

— Не нашел, она поехала машиной.

— Бедный Менгерле! — вздохнула иронически Валя. — Прямо-таки с ног сбился с этими близнецами! Но он не унывает. Ожидаются новые многочисленные транспорты из Венгрии. Должны сжечь около миллиона венгерских евреев. Не завидую я тебе, Кристя, что ты там, в этих Бжезинках. Но что же делать, держись! Предупреди подруг. Здесь будет ад. Впрочем, мы уже достаточно отупели. Еще миллион… разве это нас ужаснет? Это так легко произносится: миллион!

— Может, они не успеют, ведь ты говоришь, что положение на фронте…

Валя посмотрела на меня долгим печальным взглядом.

— В стратегических планах нас не берут в расчет.

Освенцим это всего лишь маленький городишко, а лагерей… знаешь сколько! Десант тут не поможет.

Мы возвращались в Бжезинки. Из головы не шло то, что я узнала о новых транспортах. Меня охватил безумный страх перед тем, что должно наступить. «Убежать! — промелькнуло у меня в голове. — Но как, каким путем? Малю ведь поймали…»

Живые скелеты у дороги все еще дробили камни. Мы повернули на тропинку, ведущую к белому домику. Высокий касатник золотился в свете угасающего дня. Красный шар солнца стремился за край земли, а наши сердца стремились на поля, на луга, в горы, к необозримым просторам. Но рядом с нами бежала собака, и нас сопровождала Янда.

Медленным, усталым шагом мы снова вошли в западню, из которой нет выхода.

У нас оставалось еще полчаса до закрытия ворот.

Кроме проволоки, окружающей Бжезинки, другая проволока, уже без электрического тока, окружала крематории. Еще одна — отделяла жилые мужские бараки от женских, чтобы сделать невозможными ночные свидания. По требованию шефа обнесли проволокой и наши окна. Мы были надежно ограждены от мира. Одна из нас сказала в шутку:

— Того и гляди, еще и нас самих обмотают проволокой.

Я пошла к баракам «Канады». Конечно, захватив с собой ведро. На территории «Канады» был колодец. В открытые двери бараков «Канады» видно было, как работает ночная смена. Девушки сортировали и укладывали в узлы вещи после отправленных «в газ» транспортов.

«Женский греческий транспорт…» — вспомнила я. И тут же подумала: «Что же привезли с собой эти гречанки?»

Так, значит, меня уже не коробит от подобных мыслей? Так, значит, это уже «нормально»?

В первом ряду бараков сортировали платья, рубашки, свитеры, плащи, во втором — чемоданы, мешки, рюкзаки. Дальше, на открытом воздухе, под навесом, была свалена обувь, горы башмаков — дамских, детских, разных размеров и фасонов. Высокие башмаки, деревянные, кожаные, маленькие, на пробке, самые разнообразные. Еще дальше стояли осиротевшие детские коляски, битая и уцелевшая посуда, книги на всех языках. Вдоль дороги, по которой машины везли трофеи из крематориев, валялись фотографии и молитвенники, бумажные доллары и другие иностранные банкноты. Из подкладки пальто и платьев женщины, работавшие на сортировке, часто — выпарывали золотые доллары, бриллианты и потом отдавали их за кусочек хлеба.

Как много говорили валявшиеся на земле фотографии! Как громко обвиняли открытые, выпавшие из рук молитвенники…

«Не подниму ни одной фотографии, — убеждала я себя. — Зачем? К чему рассматривать лица людей, которые сейчас горят или сгорели час назад?» Но какое-то нездоровое любопытство толкало меня, я нагибалась и подымала.

Улыбающееся веселое дитя стояло с большой лейкой возле пышной грядки цветов. Светлая девичья головка высовывалась из-за кустов сирени. Пожилой мужчина у лабораторного стола. Фотография молодого красивого парня с посвящением, написанным по-немецки: «Моей любимой Софи — в память прекрасных дней в Салониках… Лето 1942». Женщина верхом на лошади. Опять она — со скрипкой в руке. Целующаяся пара. Семейные фотографии. На балу, в купальном костюме, с теннисной ракеткой, и много, много детей.

Сколько жертв гестапо прошло здесь — между бараками, по Лагерштрассе, топча эти остатки угасшей, полной прелести жизни. Совсем недавно эта женщина играла на скрипке, ребенок поливал цветы, мужчина работал. Совсем недавно. А теперь…

Прошел с фонарем дежурный эсэсовец, подбросил ногой молитвенник, валявшуюся одежду; он заглядывал в бараки, освещал проходы между ними, проверяя не застрял ли там какой-нибудь хефтлинг. Он дошел до кучи сваленной обуви и повернул обратно. Именно здесь и был колодец. Я качала воду медленно, стараясь как можно дольше наполнять ведро. Напротив, в мужском бараке мерцал свет. Вокруг цепью лампочек светилась проволока.

— Кристя! — услыхала я в темноте шепот.

Это Вацек. После минутного колебания я проскочила в темное пространство между бараками.

— Прости, что я подвергаю тебя опасности, но… ну сама

понимаешь.

— Понимаю, луна слишком ярко светит, неправда ли?

— О да, и столько звезд! И все для нас под запретом. Можно сойти с ума от этого. Опять идут новые транспорты. Что они хотят весь мир сжечь, Кристя? Как вынести все это дальше? Смотреть и молчать, когда они ведут ничего не подозревающих людей…

Послышались шаги. Мы прижались к бараку, распластав по стене руки… Свет фонаря, двинулся в нашу сторону. Сердце стучало молотом в груди. Луч фонаря скользнул вниз, дальше.

— Это Бедарф. Он сегодня дежурный. Тебе надо идти, только пусть он отойдет немного, — шептал, Вацек.

Мы постояли молча еще немного.

— Как у тебя сердце бьется, Кристя.

— Это от волнения.

— Чье это ведро? — крикнул кто-то у колодца.

— Мое.

Я быстро подбежала и схватила ведро. Впопыхах разлила половину воды.

Едва я успела войти в барак, как за мной закрылась дверь. Я взобралась на нары. Бася уже лежала, страшно взволнованная.

— Где ты была?

— На свидании, — отозвался кто-то сверху. — Она ведь брала с собой ведро.

— О, господи, нельзя и шагу сделать, чтобы не обошлось без замечаний!..

— Конечно, нельзя, — серьезно ответила Бася. — Ты разве здесь первый день и этого не знаешь? Скажи лучше, где ты была?

— Ах, разве не все равно, Бася? Давай спать. Завтра, наверно, приедут цуганги из Венгрии. Завтра… Спокойной ночи, Бася!

— Спокойной ночи, Кристя! Жизнь очень печальна…

Я долго лежала с открытыми глазами. Сквозь решетчатое окно мерцал уголок звездного неба. С коек подруг раздавалось то мерное храпение, то глубокие вздохи скрываемой в течение дня тоски.

А печь пылала, выбрасывая в трубу зловещие искры. Это догорали греческие евреи.

Глава 7
Цыгане

Мать маленького цыганенка была больна тифом. Мальчику не разрешали входить к ней. Торваха была неумолима и отгоняла ребенка: вход в тифозный блок запрещен. Но мальчик прибегал ежедневно. Он старался разжалобить, рассмешить торваху, танцевал перед ней — ничто не помогало… На пятый день он ловко проскользнул за спиной съежившейся от холода торвахи и незаметно проник в барак. Какое-то особое чутье помогло ему найти мать среди сотен больных. Но она была мертва. Она умерла этой ночью. В бессильном отчаянии мальчик бил кулачками в стену и громко, с каким-то завыванием плакал. Тело матери вынесли и положили возле барака, он вышел следом. Сел у трупа матери и поддерживал ее голову, чтобы не лежала в грязи. Так он сидел день и ночь, и трупов вокруг него нагромождалось все больше. Его звали во время апеля, он не двинулся с места. Утром приехала машина из крематория. Труп матери вырвали из рук онемевшего ребенка.

В лагере насчитывалось двадцать тысяч цыган. Для них был отведен отдельный участок за проволокой. В течение двух лет их погибло «естественной смертью» от тифа, дурхфаля и других эпидемий — четырнадцать тысяч.

20 мая ночью нас разбудил «последний крик» с проезжающих машин. Мы соображали — кого везут. Доносилось: «Мама, мама» и отчетливые детские голоса. Венгерские транспорты? Но откуда они? Ведь не слышно было свистка прибывших поездов.

За последние недели из лагеря были согнаны все еврейки на постройку путей, по которым составы могли бы подходить к крематориям. Видно было, что готовились…

С этого времени поезда с транспортами проезжали близко от нас, и мы ясно слышали голоса привезенных. Однако на этот раз ничего не было слышно. Откуда же здесь дети, ведь в лагере не оставляют живыми еврейских детей?

Машины проехали, и через минуту нам уже казалось, что это были вовсе не детские голоса, что это только галлюцинация.

Утром стало известно, что в «цыганском лагере» была селекция и что несколько тысяч цыган отправили ночью «в газ».

— Начинают ликвидировать всех! — воскликнула Бася, высказывая вслух общую мысль. — Если убивают цыган, можем ли мы быть уверены, что ночью не придут и за нами? Ведь до сих

пор начальство относилось к цыганам лучше, чем к нам. Им позволили жить семьями, всем вместе, а нам даже разговаривать с мужчинами нельзя. Детей у них не забирали, как у евреев, а тут вдруг…

— Да, нам этого не миновать, — проговорила испуганно Аня.

— Почему именно нам? — спросила я, силясь скрыть волнение.

— Прежде всего потому, что мы слишком много знаем. Ну, а еще и потому, что цугангов на регистрацию больше посылать не будут. Все в лагере обречены на сожжение. Наша миссия, таким образом, окончена.

— А мне кажется, что пока есть хотя бы одна арийка в лагере, имущество которой мы храним, мы им будем нужны.:

— Боюсь, что они перестанут беспокоиться и об этом имуществе. В любой момент все реквизируют для фатерланда. Тем более, что бараки придется освободить.

В этой обстановке нетрудно было испытать страх перед смертью. Никто уже не думал о цыганах, все только и говорили о грозящей нам самим опасности.

В своем воображении я вновь переживала ту минуту, когда за нами придут ночью, прикажут слезть с коек и под дулами автоматов выведут во двор. А потом погрузят в машины и повезут к крематорию…

Дальше думать я не могла. Сердце сжималось, ужас парализовал воображение. Каждая из нас искала утешение, надежду в глазах других. Напрасно. Всех охватил страх смерти. Я пробовала «работать»: доставала карточки, проверяла картотеку, но все было бессмысленно. Ни писем из дому, ни посылок я не получала больше месяца. Наверно, что-то случилось. Жить в этой вечной неуверенности, видеть толпы людей за минуту до их гибели, слышать их ужасные крики и знать, что меня, что всех нас все равно так или иначе уничтожат… убьют, отправят в газовую камеру… И это именно сейчас… Сегодня погибну, а завтра может прийти письмо. Завтра, может, высадят десант или произойдет другое чудо.

— Слушай, Кристя, — сказала, наклонившись ко мне, Меля, — если за нами придут, мы должны защищаться!

— А что мы можем сделать? Если так, то действовать надо сейчас. Когда за нами придут, будет уже поздно.

— Если мы сделаем что-нибудь сейчас, например бросим камень в проезжающего Моля, нас тут же прикончат, а после окажется, что у них и в мыслях не было нас уничтожать, по крайней мере сейчас, сегодня!

— В том-то и ужас, что люди до последней минуты цепляются

за надежду, надеются на чудо. Потому и идут. И мы, несмотря на наш опыт, повторяем ту же ошибку. Можно ли удивляться, что покорно идут те, у кого нет этого опыта? Все говорит за то, что настали наши последние часы. А мы боимся смотреть правде в глаза. Надо действовать уже сейчас!..

— Но ведь начальник крематория не проедет здесь по твоему приглашению. А лезть на рожон, под дуло дурака-часового — нелепость.

Я решила узнать, что думают об этом мужчины. Выйдя из барака, я, забыв о всякой осторожности, попросила кого-то из «мужского» позвать Вацека. Я уже не владела собой.

Вацек немедленно явился.

— Что случилось? — спросил он, видя мое волнение.

— Ты знаешь о цыганах? Говорят, с нами сделают то же самое!..

— Кто говорит? Что ты болтаешь?

— Все. Подруги. Капо совсем выбита из равновесия, шеф так странно на нас смотрел. Впрочем, дело не в этом, я сама чувствую…

— Цыган уже давно собирались уничтожить, пришел приказ из Берлина. Не хватает продовольствия, чтобы их кормить. Война затягивается. Лагери переполнены. Цыган они приравнивают к евреям. Нас пока еще относят к «арийцам». Ты же знаешь, они в постоянном ожидании какой-то международной комиссии. Уверяю тебя, нас не тронут. Вот уж не думал, что ты поддашься панике. Стоит кому-нибудь высказать вслух свои догадки, и вы все теряете голову. Прошу тебя, перестань думать об этом.

— А может все-таки надо поднять бунт, объединиться с вами? Пока не поздно, пока не пришли ночью…

— Замолчи! — Вацек даже покраснел от возмущения. — Бунтовать будем в нужную минуту. Сейчас еще не время, это повлечет за собой гибель тех, кому удастся выжить. Не бойся, сегодня ночью не придут… А если и придут… мы успеем выступить.

— А если вас возьмут?

— Тогда вступит в действие последнее решение. Оно само будет напрашиваться. Бунт здесь начинается стихийно. Что ты можешь организовать? Оружия у тебя нет. А так, с мотыгой… Возвращайся-ка лучше в свою канцелярию и успокойся. Смерть здесь грозит нам всем, только сегодня ее чувствуешь сильней ты, завтра я, а больше всего и постоянно еврейка в ревире, за которой могут прийти в любую минуту.

Послышались шаги. Я убежала. Обошла один барак, затем второй и вернулась в канцелярию. Повторила всем слова Вацека.

Меня слушали Скептически.

Вечером мы пошли в душевую. Все думали об одном и том же: «Моемся перед смертью».

— Ох! — вскрикнула вдруг Чеся. — Газ!

— Газ! Газ! — раздались крики.

Действительно, я тоже почувствовала какой-то запах.

Что-то подступило к горлу, меня начало тошнить, голова закружилась…

— Газ! — крикнула я и как безумная побежала к выходу.

Все это продолжалось минуту. К нашему удивлению, двери не были заперты, и мы выбежали нагишом в следующую комнату, а некоторые понеслись в беспамятстве на улицу.

Наконец я пришла в себя. Рядом со мной стояла дрожащая от страха и холода Бася. Слезы текли по ее щекам. Слезы облегчения, слезы удивления.

Все глядели друг на друга, плача и смеясь. Неля положила руку на грудь: хотелось унять сердце.

— Что это было? — спросила она.

Но никто ничего не знал.

— Послушайте, а может, нам показалось? Одна крикнула, а другие поддались страху, после сегодняшних предсказаний…

— Всем ведь не может показаться. Правда, сейчас я бы уже не поклялась, что я действительно что-то чувствовала. Может быть, случаются подобные «обонятельные галлюцинации»? Ведь если бы мы были способны в ту минуту думать, то прежде всего вспомнили бы, что пустить газ в зауну, в комнату с тремя окнами, это просто бессмыслица. Нам достаточно выбить стекла…

На другой день кто-то из обслуживающего зауну персонала рассказывал, что во втором крематории открыли на минуту окошко и сильный запах газа действительно распространился ненадолго повсюду.

Этой ночью мы ловили каждый звук за стенами барака. Но темная, глухая ночь затаилась и молчала. Только где-то очень далеко лаяли собаки.

В огне

Глава 1
Двадцать тысяч в день

Сначала проехал черный лимузин. Выглядывая из окон нашего домика, мы ждали, что будет дальше. За лимузином следовали грузовики, полные дров. В лимузине ехал Крамер — шеф крематориев.

Вот уже несколько дней чувствовалось какое-то напряжение, что-то назревало. К чему-то лихорадочно готовились. По лагерю сновали эсэсовцы. Каждый из них точно знал свои функции — весь лагерь перестраивался на сожжение. Возле крематориев рыли ямы, ибо печи не были рассчитаны на такое большое количество трупов. И еще, спешно копали рвы. Мы все говорили шепотом, не веря себе: «Будут сжигать живьем».

Пришел приказ из Берлина: в течение полутора месяцев сжечь восемьсот тысяч венгерских евреев.

Валя и другие девушки из политического отдела рассказали нам, что немедленно по получении этого приказа состоялся «сатанинский совет». В нем участвовали Хустек, Крамер, Моль и другие. Наклонившись над столом, важно нахмурив лбы, они составляли план сожжения почти миллиона человек.

Как они дрожали от волнения, как они жаждали крови, гордые возложенной на них задачей! Перед их глазами уже искрилось золото, бриллианты, они видели дорогие меха, которые тайно перешлют своим любовницам.

А пока наслаждались цифрами: 20 тысяч в день! Отовсюду доносились их возгласы: «Да, двадцать тысяч в день это не шутка!» Похлопывая друг друга по спине, они улыбались, скаля зубы. Что и говорить — работенка предстоит солидная, это вам не какие-нибудь два транспорта в несколько сотен человек за неделю. Тут и передохнуть не удастся. Но все окупится. Столько золота! Столько жратвы! Столько настоящего венгерского вина!

Работа днем и ночью может быть и небезопасна… Впрочем, что эти глупые венгерские евреи могут знать!.. Опять поплывут пальто, платья, костюмы и обувь в великий фатерланд. Мудрый этот фюрер, умница начальник гестапо — как замечательно все придумали. И как все просто. Там вывесят плакаты. Евреи явятся сами, съедутся будто на работу…

И члены «сатанинского совета» похлопывали друг друга по спине: «Ловко подстроена ловушка, а? Так им и надо, этим евреям!»

— Идут! — крикнула бледная Чеся, пробегая через шрайбштубу.

Я выглянула в окно. Да. По дороге, от платформы, к которой подходили поезда, двигалась плотная масса людей.

Было 11 часов утра. В лагере все жило ожиданием транспортов. В «Канаду» прислали дополнительно 500 евреек из женского лагеря — на сортировку поступающих вещей. Наготове была и зондеркоманда, набранная в принудительном порядке. В нетерпении были эсэсовцы — они ждали вина и консервов. Ждал добычи весь великий рейх.

А люди шли, ничего не подозревая. На развилке дороги их разделили на две группы. Одни пошли прямо к белому домику. Прелестной тропинкой вдоль опушки березового леса. Другие повернули направо и приближались к нам. Они были уже близко. Мы отчетливо видели их: дети и женщины. В платках и в пальто, богатые и бедные, — крестьянки из венгерской провинции, молодые женщины и пожилые, такие, как всюду на свете. Маленькие дети совершали это путешествие на руках у матерей, дети постарше — цеплялись за их юбки, а подростки подозрительно оглядывались вокруг. Толпа двигалась очень медленно. Так медленно, что можно было рассмотреть каждое лицо. Это были усталые лица, подчас беспокойные. Эти люди шли в полном неведении того, что их ждало. Видно было, что они приготовились к тому, чтобы смириться с некоторыми неудобствами. Они знали, что уже не хозяева своей судьбы, что находятся в чьей-то злой власти, что должны быть послушны чьим-то приказам. Все это, впрочем, они усвоили еще дома, как только фашисты оккупировали их прекрасную страну. Но о том, что ожидало их здесь, они даже не догадывались. Может быть, некоторые — очень немногие — что-то предчувствовали.

Мы притворялись, что работаем. Капо предупредила нас, что шеф будет появляться внезапно, чтобы наблюдать за нами. Надо поэтому вести себя так, будто не происходит ничего особенного.

Мое место было у окна, и я видела всех и все. Я всматривалась в каждое лицо, старалась прочесть мысли, чувства этих людей. И я поняла, нет, они не представляют, что их ждет. Не знают, где находятся, зачем сюда приехали, куда идут. Ничто вокруг не вызывает подозрений. Смерть нигде не видна. В бараках работают люди. На дороге невинные указатели: «В дезинфекцию». Лагерь обнесен проволокой, потому что здесь люди на казарменном положении. Об этом они слышали. Ничего не поделаешь. Война. Трубы? Наверно, здесь есть какая-то фабрика.

Они идут и идут — длинной, нескончаемой вереницей. Иногда возле какой-нибудь группы — часовой с винтовкой.

Женщины разговаривают, обмениваются замечаниями об этой странной местности. Некоторые даже улыбаются.

Головная часть колонны уже вступила в пределы крематория, а длинная шеренга людей все еще движется по дороге. Наконец проходят и последние. В самом конце идут пожилые женщины, опираясь на плечо более молодых, ежеминутно останавливаясь, чтобы глотнуть воздуха. Выведенные из терпения часовые, замыкающие это шествие, толкают их прикладами. Последней, на некотором расстоянии от других, шагает старушка, лет, может быть, восьмидесяти. Расставив руки, она всей тяжестью тела опирается на дуло винтовки, которую часовой приставил к ее спине. Она идет медленно, с большим усилием отрывая ноги от земли. Почти слепыми глазами глядит в небо, словно спрашивая: «Боже, ты видишь это и молчишь?»

Молодой, лет восемнадцати часовой злобно толкает старушку вперед, раздраженный тем, что она опирается на его винтовку. Заметив у окна женщин, парень выпрямляется, на лице его появляется улыбка, он отнимает винтовку. Лишенная опоры, старушка падает навзничь, раскинув руки.

Часовой почесывает затылок с таким видом, будто это он хотел нас рассмешить, делает шутовское лицо — смотрите-ка, сколько у него хлопот из-за того, что захотелось взглянуть на нас. Недолго думая, он хватает несчастную старушку за руку и тащит в сторону крематория.

На дороге появляется колонна мужчин. Они кажутся более обеспокоенными, хотя и они далеки от понимания того, что их ожидает. Идут молодые и старые. Как видно, «селекции» не было и всех направили «в газ».

Приблизительно через час из четвертого крематория, смежного с нашим жилым блоком, вырывается столб огня, и тут же из рва подымается к небу дым. Вначале узкой серой пеленой, затем черными клубами — все выше; полоса дыма ширится, растет. Дым заслоняет здание крематория и, подгоняемый ветром, движется на нас темной грозной тучей. Туча эта закрывает солнце, меркнет свет дня. Становится черно и страшно.

Повсюду пахнет сжигаемым человеческим телом. Этот запах душит, одуряет, голова тяжелеет, наливается свинцом.

Мы сидим молча, обхватив голову, пытаемся собрать бессвязные, мрачные мысли.

— Закрой окно! — говорит наконец Неля. — Этот дым въедается в самую душу.

Шатаясь на одеревенелых ногах, я захлопываю окно.

Несколько минут мы снова сидим молча.

— Открой окно! — говорит Таня. — Этого нельзя вынести.

Дым все равно проникает. Мы задохнемся.

Открываю окно. В эту минуту со стороны белого домика, раздирая небо и воздух, несется страшный стон, единый стон в тысячу человеческих голосов. Он длится минуту… две… три… Мы слушаем его, полуобезумевшие.

— Конец света, — шепчет Зюта и начинает молиться.

— Это кричат из рвов, — силится объяснить Ирена. — Их сжигают живьем, потому они так ужасно кричат.

Наконец все умолкает. Распахивается дверь из «служебной комнаты». Безумным взглядом мы смотрим в ту сторону. Мы не можем изменить выражение лица. Янда окидывает каждую серьезным, глубоким взглядом, который говорит: «Я знаю, что вы чувствуете, но таков приказ, и вы должны молчать».

Дни и месяцы не прекращается этот ужас. В течение нескольких недель венгерские транспорты без селекции идут «в печь».

Позднее стали производить селекцию сразу на платформе. Молодых после бритья и санобработки гнали в освобожденный цыганский лагерь, где их запихивали по 500 человек в один барак. Днем и ночью не прекращалось шествие стариков и детей в крематории. За сутки прибывало по 12–13 длинных товарных составов с людьми. Во время производившейся на платформе селекции отбирали все пакеты и чемоданы тут же у вагонов. Огромные грузовики свозили в «Канаду» из всех крематориев одежду удушенных газом. В «Канаде» работали без передышки тысячи девушек.

Вдоль дороги из Бжезинок до женского лагеря бесконечными штабелями лежали дрова. Похоже на то, что готовятся сжечь всю Европу!

Беспрерывно, то к одному, то к другому бараку подъезжал нагруженный доверху грузовик, его торопливо разгружали, и он тут же возвращался за новым грузом.

В «Канаде» ни днем ни ночью не прекращалось лихорадочное движение. Там в бешеном темпе разбирали одежду, еще сохранившую тепло человеческого тела, сортировали, завязывали в мешки под аккомпанемент указаний озабоченных распорядителей и свистков капо, которая сновала между девушками и била их.

Рассортированные вещи отвозились в предназначенные для хранения бараки.

Ночью при свете прожекторов, в багровых отблесках пламени, вырывающегося из печей, в клубах дыма, среди грохота прибывающих машин, криков шоферов и рабочих носились в

безумном возбуждении девушки из «Канады». Время от времени, чтобы придать себе храбрости, стреляли вверх наблюдающие за погрузкой эсэсовцы.

Всю ночь свистели, грохотали поезда, доставлявшие все новые жертвы.

По всему лагерю был объявлен строжайший лагершперре. Перепуганные женщины часами сидели в душных бараках, выглядывая лишь в маленькие оконца: им хорошо было видно, как сортировали людей на платформе.

После долгого перерыва я получила наконец письмо из дому.

«Дорогая моя, — писала мама, — вот уже третье лето тебя нет дома. Но я верю, что это последнее лето нашей разлуки. У нас так прекрасно цветут акации. Бася [моя сестра] сшила себе новый костюм, который ей очень к лицу. Мы тоскуем по тебе. Как ты себя чувствуешь?»

Как я себя чувствую? Боже мой, как им ответить, чтобы они хоть о чем-нибудь догадались. Если бы можно было написать одну только фразу: «Сможете ли вы понять, как чувствует себя человек в аду?»

Стали приходить и посылки. Видно, перед этим была какая-то заминка на почте в связи с усилившимся движением поездов. Впрочем, посылки в этот период были совершенно лишними. Солонина буквально валялась на улице. Так же, как и все другое. Стоило лишь поймать момент, когда дежурный эсэсовец отходил, вскочить с чемоданчиком в «Канаду», в 13-й барак, называемый «фресбараком», («жратвенным бараком»), чтобы с помощью работающих там мужчин набить чемоданчики жирами, сахаром, крупой, макаронами и разными приправами к супам. С консервами дело обстояло сложнее. Тут уж надо было знать кого-нибудь поближе.

Мы тогда совсем не голодали, да никто и не думал о еде. В самом лагере все было по-прежнему: те же порции хлеба, тот же маргарин и брюква на обед.

Однако «перебросить» в лагерь мы не могли ничего, и не только из-за усилившегося контроля, но прежде всего потому, что у нас не было никакого предлога сходить в лагерь. Обыкновенные цуганги прибывали редко. Мы не раз обсуждали — куда же теперь направляют из переполненных, как всегда, тюрем? Куда отправляются «арийские» транспорты из Павяка, из краковского Монтелюпиха или из львовских «Бригидок»?

Однажды нас все же вызвали к цугангам. Их привезли, очевидно, по ошибке, из какой-то тюрьмы, которая не была оповещена, что сейчас не следует отправлять в Освенцим.

Несмотря на лагершперре, мы пошли в женский лагерь «дорогой смерти». Когда мы выходили за ворота, на платформу прибыл поезд. Сопровождаемые шефом, мы маршировали в ногу, пятерками — по имуществу тех, что прошли недавно этой «дорогой смерти». По мешкам, пальто, шляпам, носовым платкам, молитвенникам, деньгам, фотографиям, перчаткам и самым разнообразным документам.

По обочинам дороги — штабеля дров, ожидается прибытие новых и новых транспортов. А вдоль железнодорожного полотна суетилась уборочная команда. Мужчины с крестами на спине собирали в вагонах оставшиеся там вещи, сбрасывали на землю в кучи, где уже были свалены чемоданы, тюки и опрокинуты опустевшие детские коляски.

Когда мы проходили мимо дома с пеларгониями, на платформе уже происходил отбор. Мундиры Хесслера и других эсэсовцев ярко выделялись на фоне мрачной безмолвной человеческой толпы. На всех эсэсовцах парадные белые перчатки. Хесслер указывал палочкой направление. Толпу делили на две группы. Издали мы увидели, с каким отчаянием бросалась дочь к матери, когда их разделили. Хесслер сам растащил мечущихся женщин, которые не хотели расставаться друг с другом. Сформированная колонна из пожилых женщин и детей двинулась к нам навстречу. И тут вдруг во рвах, идущих вдоль дороги, я заметила часовых с пулеметами.

Мы вошли в притихший, словно вымерший лагерь. Лишь редкие фигуры попадались навстречу — это были торвахи, выносившие ведра с нечистотами, либо штубовые, перетаскивающие баки с супом. Размахивающая хлыстом лагеркапо, какая-то блоковая, ауфзеерка с собакой, бегающей вокруг набитых людьми бараков. Вид у лагеря был совсем запущенный. Он загнивал, пропитавшись запахом тухлой брюквы и зловонным содержимым парашей. На топчанах уныло сидели лысые женщины, «мусульмане», олицетворение лагерной безнадежности. Иногда какая-нибудь из них неожиданно вздрагивала — следствие постоянного нервного напряжения, — поднимала исхудалое лицо и дико озиралась вокруг мутными, беспокойными глазами. Другая громко ругалась, ни к кому не обращаясь: «Паршивая жизнь, кончится она когда-нибудь?»

Появление людей из эффектенкамер вызывало здесь большое оживление. Было известно, что в нашей канцелярии у шефа есть радио, что мы свободно передвигаемся.

— Правда, что наши уже близко? Правда, что в окрестностях десант? Правда, что мужчины организованы и что-то готовят?

— Конечно, правда, — отвечали мы, нисколько не

колеблясь. — Ждать недолго. А мужчины приготовились. Можно каждую минуту ожидать «чего-нибудь». Еще немножко терпения.

Иногда этими словами нам удавалось вызвать мимолетную улыбку, проблеск надежды на измученном лице.

Мы вошли в зауну. Там уже стояли цуганги. Я сразу обратила внимание на одну девушку в разорванном платье. В ее голубых глазах затаился страх, недоверие и вместе с тем презрение ко всему и ко всем. Ее тонкое, умное лицо вызывало интерес.

— Полька? — спросила я.

Девушка задрожала и подозрительно посмотрела на меня.

— Не бойся, я тоже полька. Здесь уже можешь не опасаться. Ничего плохого с тобой не случится. За что ты сюда попала?

Она молчала.

— Глупая, отвечай, может, я тебе чем-нибудь помогу. Ты что, немая?

Она резко вскинула голову, как бы отгоняя свои собственные назойливые мысли, и ничего не ответила.

Я пожала плечами и перешла к другим. Однако меня беспокоил вид этой девушки. Я чувствовала, что она затравлена, что она мучительно переживает какую-то трагедию.

На время я забыла о ней. Вдруг кто-то коснулся моего плеча. Это была она. Горестно покачивая головой, она заговорила сдавленным, низким голосом:

— Мне уже ничто не поможет, ничто не поможет. Люди подлы, ах, как они подлы! Зачем они это сделали, кому я мешала? Я не сделала никому ничего плохого. Ходила на работу, на фабрику. И вот кто-то сказал…

Она вдруг замолчала.

— Что сказал?

Она опять недоверчиво посмотрела на меня.

— Зачем я тебе говорю это, разве это тебя интересует? Здесь так много таких же, как я, похожих на меня…

— Ты ошибаешься. Ведь я сама с тобой заговорила.

Она вздохнула.

— Вот как это все было. Сначала во Львове расстреляли моего отца, мать и брата. Я видела это. Убежала, сама не знаю, как мне удалось. Села в поезд. Блуждала по разным городам. Наконец меня приняли на фабрику. Я сказала, что потеряла бумаги. Жила в постоянном страхе. Меня все время преследовала та страшная ночь. Я часто плакала. Может, поэтому и догадались, что я еврейка. И кто-то донес. И не знаю, почему меня не убили сразу. Зачем прислали сюда?

Она ни за что не хотела раздеваться. Не давалась, убегала. Наконец сняла платье. Все ее тело было покрыто синяками.

Видны были темные полосы от резиновых дубинок.

Через зауну проходили две ауфзеерки, они стали смеяться, показывая друг другу на избитую девушку. Им было смешно, что ее так разукрасили. Как радуга. Казалось, девушка сейчас бросится на них.

— Не обращай внимания, — сказала я ей. — Раз уж тебя не убили, старайся жить… Старайся не быть такой впечатлительной.

Я дала ей хлеба, но она не хотела брать. Все бормотала:

— Слишком поздно, слишком поздно пришла твоя доброта. Я уже не могу жить. Это — уже перешло через край. И зачем мне жить, для кого? У меня нет семьи, нет друзей, нет родины.

— Как это у тебя нет родины? Твоя родина Польша. Ты будешь нужна ей.

— О нет! Всегда будет больше таких, которые скажут: по какому праву она выжила, ведь она еврейка!

— Ты говоришь глупости. После этой войны никто не скажет так. Все возненавидели гитлеризм, все проклянут эти расовые теории.

— Ты сама знаешь, что так не будет, ты только утешаешь меня.

— Слушай, — говорю я убежденно, так обстоит дело сегодня, но так не будет. Антисемитизм — это результат воспитания. В будущей Польше будет покончено с национализмом. Люди не злы, но они часто поддаются вредной пропаганде. А после войны не будет почвы для вредной, лживой пропаганды. Ведь нет ни одного человека, который не страдал бы от нашего общего врага — Гитлера.

— Если ты действительно так думаешь, то ты одна на тысячу. Я уже никому не доверяю. А кроме того, говорить сейчас о будущем просто смешно. Не верю я, что отсюда кто-нибудь выберется.

Несколько дней спустя я узнала, что эта девушка бросилась на проволоку.

На обратном пути из лагеря, проходя мимо второго крематория, я слышала предсмертные крики. Мы опять шли с шефом. В ногу, пятерками, бледные, сжав зубы, мы шли «дорогой смерти». Рядом с нами — люди, отобранные на платформе. В березовом лесочке, прилегающем к крематорию, ждут своей очереди мужчины, они еще ничего не подозревают.

Едят крутые яйца и булки. Они не знают, что это их последняя трапеза. Яичная скорлупа на траве напомнила мне веселую загородную прогулку из «той» жизни. Я с трудом удерживалась, чтобы не крикнуть: «Как вы можете есть? Через

минуту вы погибнете в страшных мучениях! Разве вы не слышите крика, разве не видите огня, разве не чувствуете трупного запаха из газовых камер?»

Но они видели только лесок, солнце, безоблачное небо. Они не знали за собой никакого преступления, им и в голову не приходило, что они будут убиты просто так, ни за что. Их единственным преступлением было то, что они родились евреями. Возможно ли допустить, что только за это люди будут удушены газом?

Внезапно часовые высунули из рвов пулеметы. Люди в лесочке вздрогнули. Они глядели друг на друга, ища объяснения. Какой-то мужчина опустился на колени, прижался лбом к дереву. Он молился.

Мы повернули направо, к нашим воротам. Транспорт с платформы шел прямо к белому домику. Светловолосая девочка нагнулась, чтобы сорвать цветок у дороги. Наш шеф возмутился. Как можно портить цветы, как можно топтать траву? Его воспитание не позволяет спокойно смотреть на это. Он подбежал к ребенку, которому было не больше четырех лет, и пнул его ногой. Малютка упала и села, изумленная, на траву. Она не плакала. Не выпуская из ручонок сорванный от цветка стебель, она глядела широко открытыми, удивленными глазами на эсэсовца. Мать взяла ребенка на руки и пошла вперед. Девочка все время выглядывала из-за ее плеча. Она не спускала глаз с нашего шефа. Ручка крепко сжимала стебелек.

— Взгляд этого ребенка — приговор всему фашизму, — с ненавистью проговорила идущая рядом со мной Таня. — Что это за чудовище: бить ребенка, который через пять минут погибнет.

Остальные молчали. Я не могла смотреть на шефа. От непреодолимого отвращения к нему меня всю трясло. А он, этот «культуртрегер», как ни в чем не бывало шел рядом с нами, довольный собой. И эта гадина носила звание человека!

Глава 2
«Канада»

Лето слишком прекрасное и слишком жаркое. Оно пробуждает слишком много воспоминаний, а с ними — столько тоски… В самую неподходящую минуту вдруг оживает в памяти река, лодка, прогулка при луне… Недосягаемо далекое, болезненное, как мираж в пустыне…

В сумерки мы выходим из барака и садимся на скамью. Наблюдаем оживленное движение в «Канаде». Напротив на крылечке сидят мужчины и играют на разных инструментах. Сам гауптшарфюрер организовал этот оркестр, и теперь заставляет выступать их каждый вечер.

К «Канаде» все время подъезжают машины. Пробегают девушки в красных платках на голове, работающие в ночную смену. Проходят эсэсовцы, мы их уже всех хорошо знаем и по внешнему виду и по рассказам.

Вот идет «Кривой» (у него один глаз стеклянный, а прославился он избиениями и издевательствами над евреями); вот хромой Вунш — стопроцентный гитлеровец, на свое несчастье, он влюбился в еврейку и теперь является объектом всеобщих издевок, а «предмет его вздыханий» — бедная Хиндзя не знает, куда деваться от этого «чувства», которое она вызвала. Вот элегантный словак: он спит до часу дня и сильно здесь скучает. Вот — «Венский шницель» — известный своей глупостью эсэсовец из Вены. Дурацкая улыбка блуждает по его лицу. Вот Бедарф, а вот и Вагнер — он только что получил назначение на фронт, вот почему так весело играют сегодня наши «парни». Наконец проходит высокий гауптшарфюрер — повелитель Бжезинок, шеф «Канады». Рядом с ним, вприпрыжку шествует капо «Канады», Манци. Они идут и приятно беседуют.

Все прибывают новые партии вещей, нескончаемые столбы дыма поднимаются в небо, а хефтлинги в полосатых халатах, заметных издали даже в этой полутьме, играют на потеху проходящим эсэсовцам популярные мелодии «из прошлого».

— Возвращайся, — подпевает оркестру проходящий мимо «Венский шницель». — Я жду тебя…

Из бараков доносится грубая брань капо, показывающей перед гауптшарфюрером свое усердие. Слышится звук пощечин, чей-то плач. Какая-то девушка в испуге бежит между бараками… А оркестр играет.

Говори, что ты любишь меня,
к словам твоим рвется душа

Отбой! Запираются ворота. Несколько «канадских» евреек из дневной смены показывают нам приобретённые контрабандой сокровища, которые они с трудом протащили в барак.

Начинается обмен. Наконец в бараке водворяется тишина. Мы с Басей шепотом ведем разговор о том, до чего мы дошли, как мы отупели. Нам уже все равно, что творится вокруг. Мы можем мерить эти платья, рубашки и ничего не чувствуем при этом. Что-то в нас умерло навсегда. Одинаково равнодушны и к горю и к радости.

Около одиннадцати приходит Наташа из эсэсовской кухни.

Когда Наташа входит в блок, я просыпаюсь.

— Что они там сегодня говорили? — спрашиваю я с интересом.

Наташа подходит ближе, ее черные глаза блестят в темноте, а светлые волосы при свете луны переливаются серебром. Она со смехом рассказывает об ужине эсэсовцев.

— Брось смеяться, расскажи лучше, что слышала.

— Ох, не могу! Эти дураки напились как никогда. Представь себе, они уже поделили роли, кем они будут, когда сюда придут наши… так они сболтнули спьяна… Бедарф вполне может быть ординарцем, так как прекрасно чистит сапоги, а наш шеф… ох, не могу, — рассказывает Наташа, — наш старик, сказали они, выйдет в тираж при первой же «селекции»… потому что такой тощий… Напоследок, как всегда, перебили стекла в окнах. «Кривой» целился бутылкой в лампу, а попал в Вагнера. Набил ему шишку. На прощанье, — это были проводы, он ведь едет на фронт. Злой как оса. Говорит мне: «Ну, Наташа, иду драться с твоими!» Я ответила: «На здоровье…» и сразу убежала, потому что взгляд у него был совсем дикий.

— Ах, Наташа, Наташа, не надо так рисковать. С ними нельзя шутить. Чем кончилось это веселье?

— Позвали Болека из эффектенкамер, с аккордеоном. Велели ему играть. Он и сейчас еще играет, а они под музыку все бьют. Уже не осталось ни одной целой тарелки, завтра придется идти в «Канаду» за новыми. Каждый вечер одно и то же…

И Наташа, все еще смеясь, ложится спать. Бася бормочет сквозь сон:

— Дай мне этот цветок, девочка, я положу тебе его на гроб.

Из эсэсовской кухни доносятся звуки аккордеона и звон разбиваемой посуды.

— Мне снился дом, — говорит Зося, разбуженная криком штубовой: «Aufstehen!»

— А дома что?

— Мой Стасик вырос, большой стал. Я вошла в наш садик, а он не узнал меня.

Торопливо одеваемся. День наш точно распределен. Столько-то минут на одевание, на то, чтобы заправить по всем правилам постель — с «кантом». Очень трудно при этом не столкнуться с соседкой с нижнего «этажа», либо с той, что застилает на верхнем «этаже» постель. Обычно двое ожидают, а четверо стелют, вшестером поместиться невозможно. И каждое утро кто-нибудь из нас рассказывает свой сон. Затем следует толкование: сон о сапогах — означает дом; длинные волосы — далекое путешествие; зубы — к болезни. Примеряются к случаю тысячи разнообразных вариантов. С кровью зуб или без крови; высокие ботинки или туфли — все имеет особое значение, и еще не было среди нас такой, которая усомнилась бы в правильности объяснения.

— А что означает, когда снится дом? — спрашивает Зося.

— Это означает, что он близко, — отвечает кто-то тоном, не допускающим сомнения.

— У меня сегодня чудесный кант, — восхищается Бася, с удовлетворением осматривая свою постель. — А ты, — она критически смотрит на мою, — господи помилуй… Когда явится оберка…

Выходим из барака. Ночная смена «Канады» пятерками возвращается в блок. Они поют громкими, свежими голосами:

Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц.

— Что правда, то правда, — горестно усмехается Бася, — они все выше и все ближе… к небу…

Дневная смена строится пятерками на утренний апель. Блоковая проходит вместе с шрайберкой, считая ряды. Встает солнце. День обещает быть ясным…

Мы выходим из ворот, пройдя мимо жилого барака «Канады», поворачиваем налево, в канцелярию, и видим: по дороге к белому домику уже идут транспорты «в газ». Женщины и дети. Дети, срывающие цветы… Длинной, нескончаемой чередой…

Из города Освенцима приехал почтовый автомобиль. Из него выскочил молодой человек в полосатом халате, а из шоферской

кабинки эсэсовец, который сразу пошел в кабинет шефа.

— Команда эффектенкамер? — спросил громко оставшийся у машины заключенный и тихонько добавил: — Попросите Кристину Живульскую… У меня для нее письмо, и я должен ее видеть, только побыстрее, сейчас уезжаем.

— Я Кристина.

— Вы?.. — удивился он. — Я вас как-то иначе представлял себе, не знаю, почему… Что мне передать Анджею?

— Скажите ему, что я уже давно выздоровела, у меня нет чесотки и что я не верю, что еще когда-нибудь смогу его увидеть… А вы где работаете?

— В посылочной. Посмотрите на эту машину. Она предназначена для удушения людей газом. Страшно войти внутрь. А мы развозим в ней посылки.

Машина эта с обыкновенным закрытым кузовом, с маленьким окошком вверху. Но под кузовом какое-то особое устройство, какие-то змеевики, трубы.

Вот записка от Анджея:

«Бедная Кристя. Знаю обо всем, что у вас делается. Трупный чад долетает и до нас. Но держись! На фронте очень хорошо. Даже из их сообщений видно, как их бьют. Наступление на востоке в полном разгаре. Я долго не писал, не было оказии. Я поручил своему товарищу, чтобы он тебя хорошенько рассмотрел. Прошу тебя, пришли какое-нибудь свое стихотворение. У нас нет ничего для чтения. Пиши мне. Вечера так мучительны. А лето, как назло, прекрасное. Иногда так тяжело, разные мысли не дают покоя. Столько неиспользованной энергии сидит в человеке, и неизвестно, что с этим делать. Пиши мне, это единственная у меня светлая минута, когда я развертываю твою коротенькую записку. Я смешной, неправда ли? Почти совсем не знаю тебя, но уже создал твой образ в своих мечтах. Я верю, что ты такая, какой я хотел бы, чтобы ты была».

— Зондеркоманда идет…

Сегодня как-то меньше «шествий смерти». Видно, сделали перерыв. В течение целого дня идут и идут мужчины из зондеркоманды, несут и несут дрова. Обросшие, черные от пыли и сажи, с блуждающим взглядом. Но чаще они идут с опущенными глазами, как под бременем большой тяжести. Они тащат огромные ветви орешника, подметая листьями дорогу. Идут в облаках пыли, окруженные чадом самого ада.

Какая-то заминка, и они останавливаются под нашими окнами.

У нас укрепилось убеждение, что люди из зондеркоманды —

чудовища, ибо как иначе они могли бы выполнять такую работу. Смотрю поэтому на них холодно и презрительно. Задерживаюсь взглядом на одном, лицо которого кажется мне интеллигентным. Как может он сжигать человеческие трупы!

Человек из зондеркоманды выпрямляется и глядит на меня вызывающе.

— Почему вы на меня так смотрите, что вам во мне не нравится?

— Ваша работа, — отвечаю я зло.

Он подходит ближе и начинает объяснять — нервно, возбужденно, взволнованно, — будто каждое слово решает вопрос его жизни. Меня испугала его реакция на один только взгляд.

— А вы думаете, я напрашивался на эту работу? Вы ведь должны знать, как нас набирают, как нам приказывают. Как мы ни голодаем, но стараемся любым способом скрыться во время этих кошмарных перекличек, чтобы не быть выловленными. Но меня нашли, вытащили из толпы. Конечно, я мог броситься на проволоку, это всегда возможно. Некоторые так и делали, не выдержали. А я хочу жить. Вдруг произойдет чудо, которого мы все ждем! Может, сегодня, может, завтра нас освободят. Тогда я буду мстить, тогда я, непосредственный свидетель, расскажу миру, как там… внутри… как это происходит.

Он оглядывается, нет ли кого-нибудь, и продолжает с горечью:

— Что касается этой «работы», то если не сходишь с ума в первый день… после можно привыкнуть. Вам кажется, что тот, кто работает на фабриках боеприпасов, выполняет более благородные функции? Или те, в «Канаде», которые трудятся для них, сортируют все это и высылают? Мы все работаем по приказу и все работаем на них. Только наша работа — более неприятна. Верьте мне, я хочу уцелеть не для того только, чтобы жить… У меня нет никого, всех моих родных удушили газом. Я хочу жить для того, чтобы отомстить и чтобы рассказать!..

— Почему вы не восстаете? — рискую я спросить. — Почему вы не противитесь?..

— А вы почему не восстаете? Только потому, что принадлежите к тем немногим, что сидят в канцелярии? Сколько вас? Шесть десятков? А те тысячи, которые медленно умирают в лагере, почему они не восстают? Вы хорошо знаете, что при малейшей попытке сопротивления всех сразу расстреляют из автоматов. А попробуйте организовать заговор, всегда найдется негодяй, который донесет, — ради лишней порции, из усердия, мало ли из-за чего. Шпионов везде хватает, иначе вы не попали бы в Освенцим. Разве без шпионов они что-нибудь знают? Имеете

вы хоть какое-нибудь представление о том, сколько людей пытались поднять восстаний и сколько их пошло туда?..

Он указывает пальцем вверх.

— Вам кажется, что зондеркоманда это страшные люди… Поверьте, это такие же люди, как вы все… только гораздо более несчастные.

Он поднимает охапку ветвей и идет, не оглядываясь, идет за колонной, которая ушла вперед.

— Вот видишь, — говорит Ирена, — никогда нельзя осуждать, не зная всей правды. Что они могут сделать?.. Разве имеешь ты право сказать ему: «Убей себя», или: «Убей их». У него столько же права сказать это тебе. Почему ты сидишь и спокойно смотришь на все из окна — разве не потому, что тебе повезло, что схватили не тебя? А сколько наших подруг погибло? А сколько человек осталось в живых, ну, например, из твоего транспорта? А мы живем… и тоже ждем чуда, как те из зондеркоманды. Зачем же думать, что мы лучше?

— Человек всегда боится заглядывать в себя, — говорит медленно, в раздумье Неля. — Мы предпочитаем повторять то, что для нас удобнее всего. А удобнее всегда выгородить себя.

Молчу. Я потрясена. Как могла я считать, что те, в крематории, не так же чувствуют, не так же страдают?

Лес веток исчезает на участке четвертого крематория. Их нарвали для маскировки, чтобы густо оплести ограду, окружающую территорию крематория.

— Какие идиоты! — говорит сквозь зубы Неля. — Они еще заботятся о внешнем виде, как будто это может кого-нибудь обмануть.

Дверь канцелярии приоткрывается, и показывается шрайберка Дануся. По лицу видно, что у нее какая-то радостная новость.

— Шефа нет? Я не могла выдержать до вечера, пришла вам сказать…

Мы окружаем ее.

Лицо Дануси принимает официальное выражение.

— Вы, наверное, будете огорчены, — заявляет она торжественно, — но во Львов, Вильно, Белосток, Брест писать уже нельзя.

Новость в самом деле чудесная! Мы подбрасываем Данусю вверх. Таня гордо оглядывает всех:

— Видите, это идут наши… товарищи! Они нас освободят.

Я решаю во что бы то ни стало послушать сводку вермахта. Как раз время, — уже около трех.

Заглядываю через щель в двери в комнату шефа. В кабинете

нет ни его, ни Янды. Бася выходит на разведку. Неля становится у двери. Ирка у второго входа в барак. Капо, к счастью, нет. Поворачиваю ручку приемника. Сердце громко стучит, я медленно передвигаю стрелку, перескакиваю через веселую музыку, тирольские песни, и вдруг:

«Внимание, говорит Москва. Передаем последние известия… Наши войска выбили немцев из Львова, столица Западной Украины освобождена!»

— Шеф! Спасайся!

Бася дергает дверь. Выключаю радио. Только я успела войти в канцелярию, как раздается треск открываемых входных дверей.

Бегу в барак к Зосе с новостью. Жажду поделиться ею со всеми. Проходит мимо Вацек. Зову его. Рассказываю, что сама, собственными ушами, слышала сообщение из Москвы. Вацек подтверждает эту новость. Мужчины тоже слушали. В мрачных бараках расцвела надежда.

В жилом блоке происходит торг и раздача ужина. Каждодневная суматоха, возвещающая о конце работы. Пустой барак, в течение дня обслуживаемый двумя штубовыми, озабоченно поправляющими «канты» на кроватях, наполняется шумом прибывших. Французские, венгерские, словацкие, польские еврейки предлагают свои трофеи. Ничего удивительного, нельзя требовать от людей, чтобы они вечно помнили только о пылающих печах. Они должны есть, о чем-то говорить, должны заглушать свою боль. Впрочем, есть и такие, которые безучастно лежат на нарах. Вспоминают свой дом. Свое далекое детство, короткий отрезок жизни, когда были людьми. Упорно живут этими обрывками воспоминаний о прекрасной Варшаве тех времен, когда можно было свободно ходить по Маршалковской, когда еще не было стен вокруг гетто.

Французские еврейки напевают пикантную песенку. Песенка раздвигает мрачные, набитые людьми нары, переносит в свободный, радостный Париж. В самом темном углу нар лежит венгерская еврейка, она прижалась к измятой фотографии, случайно найденной при просмотре чемоданов сегодняшнего транспорта. Это фотография ее матери. Она целует ее и рыдает и не видит никого вокруг, не слышит пения француженок. Она сейчас с матерью у себя дома, под Будапештом. Она гладит фотографию, прижимает к ней мокрое от слез лицо, ласково шепчет что-то. А мать ее в эту минуту горит в крематории.

Сабинка, польская еврейка, показывает Ирене свитер из ангорской шерсти цвета морской травы. Ирка натягивает свитер на ночную рубашку.

Ирка решила спать в свитере, хотя тепло. Вытягивается в постели, жаждет отгородиться от действительности. Закрывает глаза.

Но Сабинка не отходит. Свитер ведь только предлог, чтобы прийти в эту часть блока, где можно поговорить о Варшаве. Ей хочется убежать от плача венгерских евреек, от оживленной болтовни француженок. Хочется услышать чей-нибудь рассказ, как на трамвае — «девятке» — ездили в Аллеи. Хочется услышать от кого-нибудь, что есть еще надежда, она еще может туда вернуться. Сабинка робко смотрит на Ирену.

— Есть какие-нибудь новости?

— Есть. Львов освобожден. Фронт приближается.

— Это правда? Боже мой! Ирена, скажи мне откровенно, как ты думаешь, они отправят нас «в газ»… перед этим? Может, не успеют, скажи, как ты думаешь?..

— Все мы в опасности, — отвечает убежденно Ирка. — Но я уверена, что не успеют, убегут в панике.

— Ах, дожить бы до такой минуты! — вздыхает Сабинка.

— Цуганги, цуганги! — Из комнаты фолькcдейчек влетает к нам полураздетая капо.

— Живо! Десять человек к цугангам.

— Где они?

— В цыганском лагере. Одеваться!

Минуту спустя мы стоим, готовые к отправлению. Давно не было «нормальных» заключенных. Тем более вечером. Мария сообщает нам по дороге, что мы должны принять их сразу. Нельзя занимать зауну. Надо освободить место для венгерских евреек.

По пути к нам присоединяется шеф. Ночь очень темная. В цыганский лагерь надо идти тем же путем, что и в женский лагерь, — «дорогой смерти». Цепь электрических лампочек на проволоке вокруг лагеря освещает повисшие в воздухе будки часовых. Каждый шаг вперед — это шаг в черную пропасть, из которой вырываются языки пламени, зловещее шипение.

Этой ночью крематории работают с небывалым напряжением. Все четыре печи извергают пламя. Из ям и рвов поднимается над землей густой дым. Взвивается вверх, колышется и расползается над нашими головами. Искры, сажа выедают глаза.

Сквозь маскировку второго крематория можно различить в блесках огня тени мужчин с вилами в руках. Они переворачивают трупы, складывают на колосниковые решетки, подливают специальную жидкость, чтобы лучше горели. Над лагерем плывет удушающая одурь гари. Проезжающие грузовики оставляют за собой трупный запах. Из белого домика доносятся стоны.

Ослепляющий свет прожекторов, багровое пламя из труб и эти стоны… Страшная, кошмарная, неизбывная жалоба несется в мир…

У меня стучит в висках, от страха шевелятся волосы на голове. Мне чудится, что земля вот-вот разверзнется и поглотит нас, должно же произойти что-то, не может вечно длиться этот ад. Пройти через это, видеть все это и жить дальше? Разговаривать, улыбаться?.. Нет, это не поддается пониманию.

— Осторожно, труп, — кричит Бася и до боли сжимает мне руку.

Конвульсивно, словно пронзенная током, я прыгаю через что-то огромное, черное. Оборачиваюсь… Распухший, наполовину обгоревший труп женщины выпал из проезжающей машины. Немного дальше валяется на земле рука.

Машины перевозили трупы, согласно «разнарядке». В четвертом крематории, очевидно, переполнено, а из третьего дали знать, что у них подходит к концу. К ним и подвозили поэтому добавочную партию.

Бася смотрит на меня безумными глазами.

— Кристя, мне страшно, я, наверное, схожу с ума. Так непонятно мешаются мысли…

— Успокойся… уже скоро, пойдем, как-нибудь забудешь!

Говорю, сама не понимая того, что говорю.

Прибывает к платформе новый поезд, выбрасывает новый груз. Сотни собак лают на привезенных, большинство которых, наверное, уже лишилось рассудка от множества «впечатлений».

Мы входим в ворота «цыганского лагеря».

Внезапно откуда-то сверху, словно с самого неба, раздается громкий голос:

— Люди! Слушайте! Вы идете на смерть, всех вас уничтожат.

Мы остолбенели. Я взглянула вверх. Но тут рядом с нами загремели выстрелы. Мы легли на землю.

Я поняла, кто кричал. Это был часовой. Не выдержали нервы. Много ночей он здесь стоял и видел все из своей будки. Его окружал дым, кошмарные видения, постичь которые невозможно. Он не смог больше выносить это. И вот закричал…

Покончив со списками новоприбывших, мы возвращаемся той же дорогой, дорогой ужаса и безумия, в Бжезинки. В комнате эсэсовцев горит свет. Под звуки аккордеона пьяные эсэсовцы бьют посуду. Распахивается окно — появляется голова «Венского шницеля», музыка плывет в спящие бараки, а он бормочет пропитым голосом:

— Хороша выдалась ночка, а?.. Жизнь прекрасна!

Ад продолжался. Норма выполнялась. Не могла не выполняться, ибо к Венгрии приближалась Красная Армия. По плану требовалось сжечь всех, а Будапешта еще и не коснулись…

К платформе подходило сейчас до 13 поездов в сутки. В бешеном темпе производилась «селекция», после чего сжигали 20 тысяч. Весь день непрерывно шли смертники. Шли всеми дорогами, во все четыре крематория. Впереди шествия, в лимузине — Крамер. Затем карета Красного Креста, развозящая банки с газом, затем зондеркоманда с дровами и, наконец, — жертвы. Они замыкали процессию собственных похорон.

На некотором расстоянии от этой процессии шли счастливцы, которым «даровали» жизнь. Все происходило, как на современной крупной фабрике. Старики и дети исчезали в крематориях, в «Канаду» отъезжали нагруженные до краев машины. Женщины, которым была «дарована» жизнь, входили в зауну. Элегантные, загорелые, полные очарования, с прекрасными, тщательно сделанными прическами… Войдя в зауну с одного конца барака, они выходили с другого: обритые, в платьях не по размеру, с крестами на спине, босые. Их строили, пятерками, и тут оказывалось, что все они на одно лицо. Худые утопали в широких, падающих до земли платьях, у более полных были еле прикрыты колени. Изорванные платья обнажали то спину, то плечи. Так простаивали они часами возле зауны и ждали, пока соберется нужное количество для отправки на указанный участок.

А их одежду грузили на машины и отвозили в «Канаду», где непрерывно, без всякой передышки, выгружали, сортировали, связывали в узлы, укладывали штабелями. А когда бараки были переполнены, подъезжали пустые машины и вывозили неисчислимые богатства в «непобедимый третий рейх».

Было что-то фантастическое в организованности этого грабежа. Грабилось все, что только могло каким бы то ни было образом пригодиться для военной машины, — золото, бриллианты, одежда, посуда, обувь, меха, чемоданы. Грабился труд человека — до последнего его вздоха. Но и после его смерти продолжался грабеж: зубов, волос, всего человеческого тела.

Те, что были оставлены в живых, использовались как даровая рабочая сила на фабриках боеприпасов, на постройке дорог. Их кормили один раз в день, только чтобы они не умерли с голоду до той минуты, когда они еще на что-нибудь годятся. У них забрали все, что им принадлежало, а их достояние отсылалось в рейх, чтобы утереть там слезы. Дочери сожженных родителей должны были чистить, стирать, гладить свои вещи и доставлять их в немецкие магазины. А мебель, ковры, картины вывозили из гетто всех городов Европы.

Не раз еще у меня была потом возможность поговорить с людьми из зондеркоманды. Они подробно рассказывали, как это происходит внутри. Как после «газа» приступает к работе парикмахер, снимая волосы с трупов; если бы собрать все эти волосы, они весили бы тонны.

Как затем специальный зубной врач осматривает у трупов рот и вырывает золотые зубы. Волосы идут на пароходные канаты, а людские тела на производство мыла.

Ничего не должно пропасть. Гитлеровская Германия — великая, хозяйственная, бережливая страна.

Неожиданно для нас в гардеробную явились новые абганги. Конечно, черные винкели. Они стояли в коридоре, не веря своему счастью.

Я заметила какую-то женщину, очень располагающую к себе. На ее винкеле стояла буква «Э» — эрциунгсхефтлинг. Полька… Я решила действовать. В удобный момент шепотом спросила, не возьмет ли она на волю письмо, рассказывающее о положении в лагере. И стихи. Конечно, я предупредила ее, что в случае обнаружения письма ее ждет смерть.

— Возьму! — решительно ответила она. — Я член подпольной организации и считаю своим долгом сделать это.

— Как это случилось, что вас освобождают?

— Я ведь здесь очутилась за контрабанду. Не за что-нибудь другое. Знаю, что мне угрожает, если обыщут, но ведь кто-то должен вывезти это письмо. Отсюда редко выходят те, кому можно довериться.

Я пожала ей руку. Пусть передаст дома условный знак: если в посылке я получу три крутых яйца, буду знать, что письмо дошло. Зашью я его в пояс для подвязок. Прошу передать только лично, желательно в кратчайший срок. Но если не будет надежного случая — ждать.

В эту минуту мне казалось чрезвычайно важным сказать правду о лагере. Пока еще не поздно. Я считала, что никто из нас никогда отсюда не выйдет. С лихорадочной поспешностью я приготовила письмо. На папиросной бумаге изложила необходимые сведения. Сообщила количество удушенных, конструкцию крематориев. Маленькая черная Ада очень искусно зашила письмо в пояс.

Вечером, проходя мимо мужского барака, я услыхала негромкую музыку, мужские и женские голоса. Я заглянула в щель между досками. Вурм, шеф мужской эффектенкамер, откормленный эсэсовец, работавший до войны билетером в одном из крупных венских кинотеатров, взглядом властолюбца смотрел

куда-то вперед и притопывал ногой в такт музыки. Я тихонько перешла к следующей щели. Из этого наблюдательного пункта я увидела сперва женскую ногу в высоких красных ботинках, а потом всю танцовщицу. Ей было лет 17, не больше. Гибкая, прекрасно сложенная, с темными волосами и лукавым личиком, она была в тоненькой блузке и короткой, обшитой мехом юбочке. С необычайным изяществом, она задорно отбивала каблуками чардаш. В глубине комнаты стоял Ральф, хефтлингрейхсдейч, он многозначительно переглядывался с Вурмом.

Подойдя к следующей щели, я увидела за столом Херберта (хефтлинг из Италии) и эсэсовца Бедарфа… Они мирно беседовали. Печальный, тощий венгерский еврей играл на аккордеоне. Юная танцовщица кружилась, подбоченясь одной рукой, другой рукой щелканьем пальцев подражала звукам кастаньет.

Вот они, закулисные забавы. Вкупе с избранными заключенными. Их объединила та чудодейственная сила, которая и здесь имела власть. Их объединило золото. Общая дьявольская тайна. С молчаливого согласия эсэсовцев, при безусловном сохранении тайны, эти хефтлинги «организовали» золото. Взамен они поставляли еврейских танцовщиц из еврейских бараков. Ральф был по происхождению еврей. Все об этом знали. Но здесь он носил значок рейхсдейча — таким образом компаньонов покрывали.

Херберт отсидел 8 лет в разных тюрьмах и лагерях. Он уже с полуслова понимал, что начальству требуется, знал, чем угодить. Смерть была всегда так близка. И если только есть такая возможность — отчего же не пропьянствовать в закоулках лагеря эту проклятую войну!.. А если удастся выбраться отсюда живым — за золото всех купишь. Можно будет спокойно пожить, как порядочный человек.

Светлая прядь волос упала на пресыщенное лицо Бедарфа. Мутным, пьяным взглядом он следил за движениями танцовщицы, причмокивая мокрыми губами.

Уходя, я наткнулась на какую-то парочку. Это был Юрек, поляк из Варшавы, заключенный, исполняющий здесь должность пожарного, и его подруга — французская еврейка Элен. Все знают об их романе.

Здесь бывали короткие, случайные связи, и бывало настоящее глубокое нежное чувство, крепнущее с каждым днем, несмотря на опасность быть обнаруженным. Его порождала потребность заботиться о ком-нибудь, потребность в утешении, ободрении, потребность опереться на сильное мужское плечо, услышать эти несколько слов: «Не бойся, маленькая, все будет хорошо,

прижмись ко мне».

Между притаившимися парочками, за которыми бдительно следили фонари дежурных эсэсовцев, пробежав открытые, переполненные тряпками бараки «Канады», я влетела в наш блок.

— Уф-ф! — вздохнула я, запыхавшись, разбудив уже засыпавшую Басю. — Едва успела, уже закрывали ворота…

Я легла. Перед глазами вертелась юная танцовщица. Я думала о ней.

Танцуй, девчонка,
как приказали,
скрой под улыбкой
свои печали.
Пред господами
танцуй, бедняжка,
хоть в горле слезы,
на сердце тяжко,
хоть эти люди
тому причиной,
что братья, сестры
гибнут невинно.

Танцуй, девчонка,
не открывайся,
пусть эти ножки
кружатся в вальсе,
танцуй под звуки
томного джаза,
забудут расу
в пылу экстаза.

Танцуй, девчонка,
под ритм фокстрота,
ведь это тоже
твоя работа.
Днем упаковка,
это всем ясно,
вечером — танцы,
это негласно.

Танцуй, девчонка,
танцуй им танго,
они пугают
высоким рангом,

они пугают
смертью тотальной
и ободряют
улыбкой сальной.

Танцуй им чардаш,
лакеям мерзким,
печали лечат
вином венгерским.
Расшевели их
пляскою жаркой,
мать твоя тоже
была мадьяркой.

Танцуй им румбу
под джаза звуки,
не вечен сон твой
про кровь и муки.
Кружись, порхая,
птицей крылатой,
мать умертвили,
убили брата.

Танцуй, девчонка,
в пятнах румянца,
они заплатят
за эти танцы.
Пусть войско смерти
всё в землю ляжет.
Тебя простит бог,
а их накажет.

Глава 3
Везут дрова

Однажды Пири, молодая венгерская еврейка из «Канады», увидела свою мать, идущую «в печь». Она ожидала этого каждый день… Не могло быть иначе — везут и везут все новых людей из ее страны. Ее схватили, когда она случайно была не у себя дома. Поэтому очутилась здесь отдельно от семьи… Каждый раз, когда приходил новый транспорт, Пири бежала на Лагерштрассе, за что получила не одну пощечину от капо Манци: как смеет она убегать из бараков во время работы. Однажды ее встретил сам гауптшарфюрер и велел вернуться. После она вбила себе в голову, что именно тогда, в том транспорте, который ей не удалось увидеть, была ее мать. Пири работала в ночной смене. Но она не спала и днем. Все удивлялись: «Когда эта Пири спит?»

Однажды ночью она слезла с койки и вышла из барака. Бросив взгляд на дорогу, она вдруг побежала с безумным криком: «Мама! Мама!» Одна из девушек тащила ее назад:

— Пири, успокойся, попробуй лучше упросить гауптшарфюрера, может, он спасет твою маму. А если вот так побежишь, попадешь в печь с ней вместе. Вернись назад!

Но Пири как безумная металась, не отрывая взгляда от матери, которая была уже в нескольких шагах от крематория. Все же уговоры подруги дошли до ее сознания: она спросила:

— Гауптшарфюрер? Где? Что ты говоришь? Где он? Надо скорее…

Собрались подруги Пири. Они разбежались во все стороны искать гауптшарфюрера, хотя хорошо понимали, что мать Пири уже там, внутри. Все же они разыскали его, бросаясь из барака в барак.

— Где гауптшарфюрер? Надо спасать мать Пири! Вы не видели гауптшарфюрера?

— Только что проходил здесь с Манци.

Он действительно возвращался после осмотра 13-го барака, размахивая хлыстом, улыбаясь своим мыслям. Работа шла отлично. Как знать, он может получить повышение, станет комендантом всего лагеря. Неужели не оценят такую работу?

Пири подбежала к нему, она пыталась что-то объяснить ему по-венгерски, помогая себе жестами.

Гауптшарфюрер пожал плечами не понимая. Подошла одна из подруг Пири и сказала по-немецки:

— Ее мать…

Не докончила. Он понял.

— Ну что же, моя дорогая. Я ничего не могу сделать. Я шеф «Канады», а не крематория.

Дорога уже опустела. Пири беспомощно озиралась вокруг, потом опустила голову, руки ее бессильно упали, она вернулась в свой барак. Молча лежала час, два, не слыша — лов подруг, не глядя ни на кого. Вдруг она встала, взглянула в сторону крематория, поглотившего ее мать. Труба уже дымила. Пири подняла руки вверх и с криком упала на пол.

После этого она часто приходила на нашу сторону барака, выискивала разные фотографии, оставшиеся от транспортов. Она искала мать. Она показывала нам эти фотографии, по-детски что-то рассказывала, мешая венгерские и немецкие слова. В ее черных сверкающих глазах затаилась тоска. Вначале она находила среди нас внимательных слушательниц и утешительниц. Но постепенно, занятые своими бедами, мы забыли о ней. Пири замолчала, замкнулась в себе, перестала есть. У нее был взгляд побитой собаки. Впала в меланхолию. Мы уже привыкли к виду несчастной Пири и не заметили, как наступила минута, когда она, словно что-то вспомнив, вдруг начала танцевать чардаш и при этом странно улыбалась.

— Как это хорошо, что она совсем сошла с ума, — сказал кто-то, всмотревшись в ее движения, — сейчас ей уже легко.

Это верно. Пири было уже легко. Она стала усердно, жадно есть и не давала нам покоя своими безумными танцами. Милое, прелестное дитя превратилось в дикую сумасшедшую.

Пири танцевала один из своих неистовых танцев в пестрых юбках, вытащенных из барака, когда вошла венгерская еврейка — врач по профессии, и рассказала нам, что была сегодня в городе Освенциме на допросе. Утром ее вызвали из барака, проверили номер и забрали. Она думала, что идет на смерть, и не понимала, чему приписать эту честь, что идет одна. Ее ввели в какую-то комнату, стали задавать вопросы. Какой-то эсэсовец, любезно обращаясь на вы, попросил ее сесть и спросил, как она доехала. Она удивленно смотрела на него, думая, что эта комедия через минуту окончится и ее начнут бить. Однако ей вежливо разъяснили, что речь идет лишь о простом установлении некоторых фактов и что ее просят дать сведения. Били ли ее? Голодает ли она? Жалуется ли на что-нибудь? Она молчала, потрясенная. Велели ей подписать какую-то бумагу, указав свой номер, местность, откуда она родом, и точный адрес. Поблагодарили и привели обратно.

— Ясно. Готовят алиби, — догадалась Ада.

— Но зачем, кого они убедят после всего, что здесь творили и творят?

— Ах, кто обнаружит все их мерзости? После войны они представят документы, удостоверяющие, что не имели никакого отношения к массовым убийствам. Они начали свою карьеру поджогом рейхстага, что им стоит свалить на других ответственность и за эти свои преступления.

Догадки и предположения долго не давали нам уснуть в эту ночь. Неужто они действительно даже после проигранной войны осмелятся все отрицать? А вдруг они и в самом деле успеют замести следы? Возможно ли? Я думала о моих письмах, отправленных с той женщиной. Она уже на свободе. Нет, даже если всех здесь уничтожат, найдутся свидетельства против них. Успокоенная, я уснула.

Вдруг какой-то предмет влетел в наш блок через решетку в окне. Разбуженные шумом, мы сели на койках.

Неля слезла с третьего «этажа» и нагнулась над предметом, валявшимся на полу. Все замерли.

— Медвежонок, — закричала она.

И подошла ближе, показывая нам большое чучело мишки.

— Кто мог бросить его сюда ночью?

Вдруг за окном раздалась тирольская песня:

— Ойля-ля риа-ла…

— «Венский шницель». Это его голос!

— Что за идиот! — разъярилась Неля. — Напился и не знает, что придумать…

«Венский шницель» с каким-то еще эсэсовцем подошли к нашему окну.

— Эй, девушки… Спите? Спать вы можете после смерти. Надо наслаждаться, пока живешь, а?

— Мы предпочитаем спать — и, пожалуйста, уходите отсюда, — смело сказала Неля.

Ее смелость объяснялась просто: если бы гауптшарфюрер или кто-нибудь из лагерного начальства узнал об этой «вылазке», кавалеры могли бы сразу попасть на фронт.

— Ах, вы глупые, глупые, — продолжал, не смущаясь, «Венский шницель», — вы такие же глупые, как и ваш шеф.

Мы остолбенели. Не сошел ли он с ума, позволяет в присутствии хефтлингов так отзываться о шефе эсэсовцев…

— …как и ваш шеф, который ничего не смыслит в любви, откуда он может смыслить?..

Тут последовал ряд непристойных слов в адрес шефа.

Его приятель захохотал. Некоторые девушки тоже стали смеяться. Этот грубый монолог пьяного эсэсовца за обнесенным

решеткой окном хоть кого рассмешил бы.

— Ведь вы же арийки, — не унимался «Венский шницель», — и в вас течет та же кровь, что и в нас, кровь благородных людей, умеющих любить?.. Другое дело эти еврейки…

— Кинь в него ботинком, — прошептала Бася.

Долго еще не унимался «Венский шницель», вызывная девушек по именам. Наконец Неля сошла с койки и затворила окно. Это его разозлило. Слышно было, как он вынул револьвер. Испуганные, мы сжались под одеялами, ожидая выстрела. Он действительно выстрелил, но… вверх. Его приятель, очевидно не столь еще пьяный, оттащил его от окна.

— Невозможно уснуть! — стонала Чеся.

Мы вышли из барака.

Теплая июльская ночь была прекрасна, несмотря на зловоние, ползущее отовсюду, несмотря на пылающие огнем печи. Стройная Чеся стояла в бледно-голубой шелковой рубашке, унаследованной после какой-то сожженной венгерки. Танцевальным шагом она подошла к маскировочной ограде вокруг крематория. Мы стояли зачарованные этим изящным видением и непроизвольно начали напевать вальс. Чеся грациозно раскланялась и объявила:

— Сейчас вы увидите современный танец. Танец освобожденной. Танец подыхающего хефтлинга. Называется этот танец: «Под пылающими печами».

Она стала кружиться как безумная. То утопала как золотая фея в отблесках пламени из труб, то выплывала в свете луны. Движения ее были умоляющие и грозные, стремительные и спокойные. Она выражала невысказанную тоску, возмущение, отчаяние, жажду мести и беспомощность… И вот уже образ смерти, конец… Стремительно кружась, она вдруг печально поникла и разразилась рыданиями.

— Я никогда не смогу танцевать. Если даже уцелею, всегда мой танец, мою радость будут заглушать стоны замученных. Даже в самом чудесном саду, всегда, повсюду, не оставит меня этот трупный запах…

А дни шли. Знойные, дымные, чадящие дни. Полные не проходящего нервного напряжения, постоянного ожидания конца… Черные от дыма дни, и ночи, красные от огня. Мимолетные проблески надежды, редкие мгновения радостного волнения. Посылка, письмо из дому, чья-то улыбка, чье-то слово ободрения. Сплетня, вызывающая жалость к другому, дрожь страха за себя. Одной девушке сбрили волосы за разговор с мужчиной. У другой при обыске нашли золото. Любимого какой-то женщины вдруг выслали транспортом. Наташа из эсэсовской

кухни рассказывала:

— Они все твердят о каком-то новом оружии, которое спасет их в последнюю минуту, знают, что дело плохо.

Кого-то притянула проволока, потому что стоял слишком близко, — лежит в ревире. Какой-то эсэсовец влюбился в еврейку из «Канады». Приходит, чтобы только смотреть на нее, и объясняет ей, что он не виноват. Другой эсэсовец в том же бараке избил француженку. Одна девушка получила полную бутылку гусиного жира. В восьмом бараке кто-то нашел зашитый в пальто огромный бриллиант. Хочет сменить его на яблоко для больной сестры, которой нужны фрукты.

А «норму» продолжали выполнять. Двадцать тысяч в сутки. Моль носился на мотоцикле во все стороны, телефонируя, распределяя «сырье». Машины перевозили обугленные трупы. У крематориев стояли хвосты людей, ожидающих своей очереди. Карета Красного Креста развозила баллоны с газом. По мере того как людей сжигали, вводились усовершенствования. Раньше в раздевалках крематория заключенные просто раздевались и шли принимать мнимую ванну в газовые камеры. Тысячи пар ботинок, торопливо сваливаемых в машины, терялись, и трудно было потом комплектовать их. Велели поэтому людям связывать ботинки шнурками: «Чтобы они у вас не смешались в раздевалке», — говорили им. И люди старательно связывали ботинки. В «раздевалке» им давали номерки. Некоторые возвращались от двери камеры, прося другой номерок, первый, мол, потерялся в давке. И только после того, как впускали газ, люди, наконец, понимали в чем дело. Они бежали, обезумевшие, к выходу и вместо дверей натыкались на глухую стену. Тот, кто стоял дальше от газовых сеток, мучился дольше. Обычно удушение продолжалось от пяти до восьми минут. Тела, вынимаемые из камер, скрюченные и сплетенные между собой, свидетельствовали о невероятных муках: откусанные части тела, глаза, вылезшие из орбит, сломанные пальцы…

Бывали транспорты, в которых люди знали, что их ждет, либо просто предчувствовали. Эти перед входом в камеру сопротивлялись. Кто-то крикнул, кто-то вдруг догадался, и психоз передавался всем. В этих случаях, которые происходили все чаще, на обреченных выпускали специально выдрессированных волкодавов, и собаки загоняли в камеры людскую массу.

Однажды после открытия газовых камер мужчины из зондеркоманды услышали писк ребенка. Они были свидетелями самых ужасных сцен, какие можно только вообразить, но на этот раз и они оцепенели от ужаса.

Оказывается, ребенок остался живым потому, что сосал грудь

матери и газ не получил доступа в легкие. Дежурный эсэсовец Моль, разъярившись, бросил живого ребенка в пылающую печь.

В транспорте из Венгрии прибыла пожилая еврейка. В лагере был ее сын, он работал в зондеркоманде. Вступив на территорию крематория, мать вдруг увидела сына, он укладывал дрова. Обрадованная, подбежала к нему. Сын, давно искавший свою мать среди удушенных газом, отступил в ужасе. Мать, ничего не понимая, спросила, что ждет их здесь. Он ответил, что они тут отдохнут.

— Что это за странный запах?

— От сжигаемого тряпья…

— А зачем нас сюда привели?

— Чтобы вымыться после дороги.

Сын подал матери полотенце и мыло и вошел с ней вместе внутрь. Вместе они исчезли в пасти печи.

Подобных трагических случаев, потрясающих душу встреч было множество. Не проходило дня, чтобы какая-нибудь подобная новость не доходила бы до нас от непосредственного свидетеля или посредством тайной записки.

Нас уже ничем нельзя было ни удивить, ни возмутить.

Здесь все было возможно… Все, кроме надежды на свободу. Благоприятные вести с фронта уже не могли больше поддерживать эту надежду. Нами владела теперь только одна мысль: из ада не выходят. Если кто-нибудь говорил: «А вот когда я буду дома…» — на него смотрели с состраданием…

Мужчин из зондеркоманды уведомили, что они будут отправлены в другой лагерь. Вот он конец. Они ведь знали, что он для них неминуем. В постоянном страхе ждали его. Но просто так они не дадутся… нет! Как прибудут в лагерь, поднимут восстание. Пусть только подвернется кто-нибудь из начальства. Чтобы игра стоила свеч. Условились обо всем. Послали записки в лагерь, что их отправляют ночью, что они будут сопротивляться, не дадут себя сжечь. На всякий случай и мы должны быть готовы. Известие это передавалось шепотом из барака в барак.

А потом им приказали идти в Освенцим, сменить белье и полосатые халаты. Высоко подняв головы, с песней, они прошли мимо наших окон. Окончилась неизвестность и мучительное ожидание. Теперь они знают, что смерть на пороге, и они должны бороться. Их «транспортом» не обмануть. Слишком хорошо им известны гитлеровские методы. По прибытии они вошли, пошучивая, за бельем. Двери захлопнулись. В барак, обычный по-виду барак, такой же, как все другие, пустили газ.

Гитлеровцы, как всегда, перехитрили. Даже все познавшую, все видавшую зондеркоманду…

Бережно с осторожностью развертываю посылку. Каждый клочок бумаги смотрю на свет. Нашла яйцо. Не могу понять, как случилось, что оно дошло целым. Показываю Басе:

— Видишь, как мои умеют упаковывать!

Бася осмотрела яйцо, повертела его, поцеловала меня и шепнула:

— Крутое яйцо! Ищи дальше, ты что, не помнишь знака?

Я взволнованно продолжаю поиски и нахожу еще два крутых яйца. Письмо дошло! Письмо получили! Значит, обо всем знают!..

— Кристя, ты понимаешь, что это значит? — говорит радостно Бася. — Это значит, что даже если мы все погибнем, *мир узнает*!

Мне сказали, что в Бжезинках работает команда столяров из Освенцима. Я решила: написать Анджею. Написала, что я здесь, что за несколько тяжелых месяцев у меня выдался первый светлый день — это потому, что наконец *там все знают*.

Когда я трудилась над этим письмом Анджею — почти уже нереальному, настолько далекой, настолько неправдоподобной казалась мне встреча с ним на берегу Солы, — вошла в шрайбштубу Таня, дала мне знак — выйти.

— Кто? — спросила я, проходя мимо нее.

— Какой-то мужчина, ждет за третьим бараком, иди туда, но будь осторожна, сегодня они как взбесившиеся собаки.

За бараком стоял Анджей. Он был смущен, видя мое изумление.

— Понимаешь, прошел год с той встречи, я должен был тебя увидеть. Я сюда пробрался вместе со столярами. Это, конечно, рискованно, потому что в лагере меня знают. Но мне необходимо сказать — тебе что-то очень важное, — он заколебался, — может быть, у меня не будет другого случая… я…

Он замолчал. Я поняла, что он замышляет: хочет бежать. Он мог и не объяснять мне.

— А это верное дело?

— Ничего не знаю. Но я уже не могу. Столько лет! У меня сейчас исключительный случай… попробую. Если удастся, постараюсь повидать твоих… если не…

— Ты подумал, что будет с тобой, если не удастся?

— Тогда отомсти за меня, может, тебе больше повезет.

— Возьми меня с собой. Я готова хоть сейчас идти, достану гражданское платье, у меня уже отросли волосы…

— Нет, взять тебя с собой не могу. Иду с товарищем. Сегодня. Прощай, Кристя. Увидимся в свободной Польше… или никогда.

Он осмотрелся вокруг, улыбнулся мне белозубой улыбкой и со всех ног бросился к воротам, куда уже выходила команда столяров, возвращавшаяся в мужской лагерь. За воротами Анджей еще раз обернулся. Я стояла у барака и смотрела, пока не исчезли вдали полосатые халаты.

Вечером после апеля завыла сирена. Протяжным, долгим тревожным воем. Я сжала руку Баси. Она посмотрела на меня в изумлении.

— Что ты так волнуешься? В первый раз слышишь сирену? Это прекрасно, что все-таки бегут!

На другой день вновь пришли столяры. Под усиленной охраной. Несмотря на это, одному из них удалось переслать в барак записку:

«Анджея, моего друга, поймали, был задержан у последнего поста. Скажите Кристе. Второму товарищу удалось пройти. Где он сейчас — неизвестно. Анджей убит пятью выстрелами. Тело будет сегодня сожжено».

На платформе свистели поезда. Разрывая записку на мелкие куски, я медленно возвращалась в барак.

Итак, никогда уже больше не будет сияющей улыбки Анджея. Не будет встречи в свободной Польше.

Погиб у самого порога свободы, которую он лелеял в мечтах целых четыре года! Туча черного дыма, опустившаяся на лагерь, поглотила Анджея вместе с миллионами других — сожженных людей.

В течение нескольких дней не видно транспортов. Перерыв.

Под окнами барака группа цыганских детей навалилась на одного малыша. Они заталкивают его в грязь, кричат «лос», «аб», делая при этом грозные лица. Их жертва, вся в грязи, вырывается, брыкается, орет во всю глотку.

Мы в «цыганском лагере». Принимаем новых цугангов, группу цыган из Германии.

Подхожу к детям.

— Что вы делаете?

— Играем.

— Играете? Что же это за игра?

— Это сожжение евреев.

Навсегда запомнилась эта ночь, 1 августа 1944 года. В эту ночь были сожжены все цыгане — те, что остались из Белостокского воеводства, и те, что были согнаны из Германии, и

все маленькие цыганята, игравшие в сожжение евреев, и стройные смуглые цыганки, черноокие, гибкие, ловкие.

Все были удушены газом.

Поскольку цыгане были занесены в картотеку и имели свою нумерацию, пришло распоряжение из политического отдела пометить их смерть 1-м августа.

Этот образчик идиотского педантизма вызвал всеобщие насмешки. Кто может поверить, что в один вечер умерло естественной смертью пять тысяч человек? Для кого эта комедия? Ordnung. Священное слово — порядок.

Однако все было слишком явно, надо было выдумать дополнительное «алиби», и оно оказалось еще глупее, еще наглее.

Среди хефтлингов разыскали двадцать врачей, работавших одно время в «цыганском лагере», и заявили им, что они виновны в распространении таинственной заразы среди цыган. По всем признакам это чума. Этих врачей обвинили в том, что они не приняли мер предосторожности, эпидемия могла перебросится на другие участки лагеря, и приговорили к каторжным работам.

И вновь наступает перерыв. Отовсюду мы слышим, что Красная Армия приближается к Варшаве, уже освобождена часть Венгрии, этим и объясняется задержка транспортов из Будапешта. На лицах у всех появилась тень надежды. После нескольких дождливых дней, намного освеживших зловонный лагерный воздух, наступила жара. В глубоких тайниках души пробуждается тоска, дремавшая под оболочкой отупения. И вот уже разгорается огонек мечты, мысли несутся к широким просторам, к быстро текущей реке, к пологим склонам гор. Всего лишь несколько дней тишины, освежающий дождь и радостные известия, — и уже начинает оживать вера в спасение. Теперь уже, наверное, конец сожжению — радуемся мы. Старательно убеждаем друг друга, что уж если при этих темпах сжигания сделали перерыв, значит, им некого сжигать.

Полуголые, оборванные венгерки отправляются транспортом на уборку щебня. Их приводят в зауну в Бжезинках на последнюю санобработку. Они умоляют дать им хотя бы тряпки, чтобы прикрыться. Они отделены от всего лагеря, у них нет возможности что-нибудь «организовать», они ходят, в рубищах, иные и вовсе голые.

Безумным взглядом смотрят они на наши окна. Одни просят застенчиво, со слезами, другие, завистливо, недобро глядя на нас, стоят, почесывая бритые головы. А их изысканное белье отправляют из бараков «Канады» погрустневшим Гретхен.

Знойную тишину августовского дня внезапно потрясает грохот грузовиков с дровами. За грузовиками давно уже не

появлявшаяся зондеркоманда тоже с дровами. Мы идем в женский лагерь и видим вдоль всей дороги штабеля дров.

«Это уже, наверно, для нас», — стучит одна мысль в голове у всех.

Язык присыхает к нёбу, ноги слабеют. Кажется, сейчас лопнет череп, выскочит из груди сердце. Тело и душа опять охвачены томящим предчувствием смерти. Мы уже не в состоянии ни думать, ни говорить. Все становится темным, запутанным, теряет смысл. Сквозь учащенную пульсацию крови пробивается только одно: дрова и смерть. Смерть, потому что дрова… Дрова — значит смерть…

В жилой блок входит Марыля и в болезненно-застывшей тишине ожидания читает… стихи. Эти стихи польского поэта-коммуниста Станислава Выгодского брошены к нам через проволоку из мужского ревира…

Везут дрова, везут…

Не понимаю слов. Они сливаются в одну зловещую мелодию. О приближающейся, неминуемой смерти. У Выгодского погибли в крематории жена и дочь, а он там лежит в бараке и пишет стихи, которые, наверное, погибнут вместе с ним и вместе с нами…

Везут дрова, везут..

читает Марыля, и слова эти вторят нашим предчувствиям, нашему страху, бессильному отчаянию.

— Прекрати это! — нервно кричит Чеся. — Вижу, что везут. Сумасшедший! Хотела бы я знать, в газовой камере он тоже будет писать стихи?

— Но, Чеся!.. — пытаюсь я ее успокоить.

— Знаю, знаю, тебе нравится… Я не желаю этого слушать, я хочу жить… На свободе буду читать стихи… а это страшная проза! Когда я буду свободна, прочту о любви, послушаю музыку. Здесь не желаю слушать ни этот аккордеон Болека, ни сентиментальные танго под трубами крематория, ни стихи о дровах, на которых горят люди.

Глава 4
На платформе Варшава!

Ложимся и встаем в напряженном ожидании. Давно уже перестали вспоминать о купанье в море, о прогулках в горы. Ничему этому не бывать. Лучше и не мечтать об этом. Всегда будет вокруг только проволока и это страшное ожидание.

Получила записку от Вацека. На маленьком клочке бумажки он пишет:

«Кристя! 1 августа в Варшаве вспыхнуло восстание.

На Западе союзники движутся в глубь Германии. Красная Армия освобождает Венгрию. Моя милая, чего же еще желать?»

В эту минуту в барак влетает бледная Бася с криком:

— На платформе Варшава!

Что это значит? Мы не верим. Никто не верит. Какая Варшава? Повстанцы? Гражданское население?

В лагерь? За что?

Мы давно освоились с мыслью, что мы преступники.

Отправлены сюда по какому-то делу или подозреваемые…

Но не привезут же сюда все городское население? Быть этого не может! Нет, опять, наверное, венгры.

Бася, у которой мать и сестра в Варшаве, и другие варшавянки все время беспокойно выглядывают на Лагерштрассе, пытаются хоть что-нибудь узнать. Я сержусь на Басю, говорю ей, что стыдно повторять глупые, непроверенные слухи. Надо же хоть немножко соображать. Варшава сражается. Вот Вацек пишет, что 1 августа… Не успели мы услышать о восстании, а варшавяне уже здесь! Может ли это быть? Некоторым кажется, что весь мир будет брошен в Освенцим. Видно, все сошли с ума.

— Идут! — прерывает мои рассуждения Неля.

Выбегаем из барака. Видим, как медленно приближается плотная масса людей. Глядим, не отводя глаз, и ждем. Подходят первые женщины с узлами на спине.

Да, это так. Это Варшава. Можно и не спрашивать. Узнаем варшавян с первого взгляда.

У женщин испуганные глаза.

— Где мы?.. Что это за местность?

— Освенцим.

— Езус Мария! — кричит одна, заламывает руки и плачет. — Меня привезли туда, где умер мой Ясек!..

— Это в самом деле Освенцим? — удивляются другие.

— Из какого квартала? — спрашиваем мы в свою очередь.

— Площадь Нарутовича, Груецкая.

— А что с восстанием?

Машут рукой, не отвечая. Из толпы выходит женщина.

— Вы разве ничего не знаете? Не знаете, что Варшавы больше нет?

Варшавы нет? Что она болтает, глупая, несет всякий вздор! В 1939 году тоже так болтали, а потом что оказалось?

Идут и идут и повторяют, будто сговорившись, одни и те же слова: «Нет больше Варшавы. Остались груды развалин. Варшавы нет!»

Бася не отрывает взгляда от толпы, всматривается в каждое лицо, выискивает своих.

— Я предчувствовала, что будет что-то плохое, — шепчет она, не спуская глаз с проходящих мимо нас женщин, — горевала, что мы тут бездействуем, когда они там борются… И вот… они уже здесь. Как это могло случиться?..

— Что мы можем знать, Бася? Два года от всего оторваны…

— Я знаю только одно, — говорит Бася упрямо, — нельзя нам ни на минуту обольщаться надеждой, верить в возможность какого-то улучшения, в то, что мы когда-нибудь выйдем на свободу! Только-только мелькнул робкий луч надежды, и вдруг — как обухом по голове.

Столько месяцев мечтали мы о Варшаве, и вот Варшава сама приходит к тебе сюда. Изгнанные, несчастные, погибшие люди. Мы ждали, вздыхали, тосковали… Ну, вот она, здесь, приехала к тебе площадь Нарутовича, приедут наши матери, сестры и так же, как и мы, пойдут во вшивые бараки. Мы ждали Варшаву, — вот мы получили ее.

— Бася, может быть, не так уж страшно! Один какой-то район. Остальные сражаются. Многим, наверно, удалось избежать этой участи.

Теперь проходят мужчины, только пожилые. Ищу отца. Последнее время он был в Варшаве. Если он окажется здесь, надо сразу бежать в «Канаду», за шарфом. Знаю, что глупо, но все почему-то думаю об этом шарфе. Что за чушь? Теперь август, ведь он не выдержит здесь и месяца… Зачем я об этом шарфе?.. Чему это поможет? Но мысль эта упорно преследует меня. Вот идет кто-то похожий на отца, седой. Подхожу ближе… Нет, какое счастье; что не он… Впрочем, ведь транспорт из Варшавы только начинается…

— Нас не сожгут? — осведомляется какой-то пожилой мужчина.

Он, видимо, достаточно наслушался об Освенциме.

— Нет, сжигают только евреев…

Этим транспортом приехали четыре тысячи человек.

В том числе полторы тысячи женщин. Их загоняют в освобожденные бараки «Канады». Они ложатся на пол — и каждого нового человека, который входит в барак, встречают подозрительным взглядом.

И вот мы расставляем столы в зауне и начинаем «прием Варшавы».

Подходят измученные, ошеломлённые, недоверчивые женщины. Сообщают свои анкетные данные. Идут и идут, и не видно конца. Когда же конец?.. Приближается вечер, наступает ночь. В горле пересохло, язык деревенеет, голова лопается от повторения одних и тех же вопросов, от выслушивания жалоб: «Что же это такое? За что мы страдаем? В чем мы виноваты?»

— Вы ни в чем не виноваты, — пытаюсь я объяснять некоторым. — Но вы польки, этого достаточно, за это вы должны страдать.

Из всей массы испуганных вопросов, вздохов, жалоб удается выловить обрывки рассказа о восстании: 1 августа в 5 часов пополудни вдруг завыли сирены… Никто ничего не подозревал… Никто и не предполагал…

— Знаете вы, что такое миномет?.. Счастливая, что вы не знаете этого. Мой сын погиб от миномета… Я просила его спрятаться в погреб… а он только смеялся: «Мама, если это должно меня настигнуть, найдет повсюду». И муж так же погиб… Дочка осталась… Она участвовала… связисткой, а я была на Оценте… Невозможно было добраться… И вот забрали, провели через опустевший город. Дома горят, трупы… Ах, вы не можете себе представить, что там творится!..

— Что такое трупы — это мы знаем. Следующая. Фамилия? Прошу вас, — начинаю я, — может быть, вы знали дом на Нарбута пятьдесят два, там жил…

— Этот дом в развалинах.

— А может, вы случайно бывали на Фильтровой шестьдесят восемь. Там на втором этаже живет пани Войцеховская.

— Что вы все спрашиваете да спрашиваете. Поймите же наконец: Варшавы больше нет!

— Нет, не могу это понять.

— А что на Лешно? — останавливает Бася каждую проходящую.

— Лешно горит.

— Не будем больше задавать вопросов, — говорю я Басе. — Оставь их в покое, не затевай разговоров. Постараемся вообразить, что это итальянский транспорт. Невозможно слушать то, что они рассказывают.

— Следующая! Прошу отвечать быстро, скорее все окончится и вы пойдете в бараки. Фамилия?

— А у меня есть время, я не спешу, — пожимает плечами какая-то толстуха.

— Как вы разговариваете? Ведь я такая же заключенная, как и вы!

— Вот именно… Ты заключенная, а я нет, — вызывающе говорит толстуха. — Нас выпустят, потому что мы ни в чем не виновны, а вы преступницы. Меня выпустят, потому что мой брат фольксдейч. Какой дьявол затеял это восстание?..

Я подмигиваю Басе. Надо взять ее в работу!

— Если у вас брат фольксдейч, то это, конечно, совершенно меняет положение, надо было сразу сказать.

Толстуха улыбается, довольная.

— И мой жених тоже фольксдейч, он в армии.

— Ну, если так, — Цежу я подчеркнуто любезно, — то немедленно раздевайся. Снимай все. Понимаешь по-польски? А может, предпочтешь, чтобы сказали тебе по-немецки?

Толстуха поднимает крик, ищет глазами, кому бы пожаловаться.

Я встаю.

— Именем немецкой власти приказываю тебе немедленно раздеться!

Скандалистка умолкает.

— Откуда такие берутся? — возмущается Бася.

Неля объясняет, что в этом транспорте много таких, — которые вывесили белый флаг в знак сдачи, и показывает нам немецкое воззвание.

«Ультиматум к населению города Варшавы… I. Предлагается покинуть Варшаву в западном направлении с белыми флагами в руке»..

Какая-то женщина, видя, что мы читаем воззвание, разъясняет:

— Я не вывесила флага, так меня взяли силой, вытащили из дома…

Некоторые плачут, другие проклинают — трудно разобрать кого: повстанцев или немцев. Чувствуется, что они растеряны, в голове у них хаос, все перемешалось, не разберешь — где геройство, где трусость, а над все этим усталость и покорность судьбе. Нас мучит, что мы теперь уже ничего не можем понять. Что там происходит, почему? Непостижимость этой трагедии гнетет душу. После стольких лет ожиданий, надежд мы вынуждены глядеть на такую Варшаву!..

Голые варшавянки после сдачи вещей толпятся перед входом

в вашраум. Смотрю на старушек «профессиональным», освенцимским взглядом. Может, и проживут еще несколько недель. Зависит от того, в какой барак попадут, как долго будут стоять на апелях. Молодых, наверно, пошлют дальше, на работу.

Какая-то старая женщина плачет, что, растерявшись, сдала с вещами свою искусственную челюсть. Как же она теперь будет есть?.. Мы переворачиваем неисчислимое множество мешков, на одном из них находим ее фамилию и эту оплакиваемую челюсть. Подаю ее старушке. Она благодарит, тронутая. Как хорошо оказать услугу в этой трагической суматохе! Силюсь убедить себя, что я совершила что-то полезное, предотвратила несчастье мирового масштаба…

Нет Варшавы, нет родных, все потеряли друг друга, оказались здесь, за проволокой. Варшава осаждена, а мы тут аккуратно записываем. И снова возвращаются те же вопросы: «Зачем и для кого столько дров?»

Мысли мешаются, путаются; как в калейдоскопе, проходит перед нами изгнанная Варшава. За окнами зауны светает. Последние измученные люди подходят к столу, осталось еще только нескольким задать вопрос: «Фамилия, имя? Прошу раздеться».

В синем рассвете стоят пятерками варшавянки в ожидании утреннего апеля. Уже не воют минометы, не слышно разрывов снарядов. Баррикады разрушены: окончилась борьба за Варшаву. Началась другая борьба: с голодом, вшами, холодом и постоянной тоской по свободе…

Слова ультиматума к «населению города Варшавы» звучат, как издевательство: «Все мужчины и женщины, способные работать, получат работу и хлеб, все больные и старики, женщины и дети получат жилье и медицинскую помощь».

— Бедная Варшава! — восклицает кто-то.

— Отупеют, привыкнут, как и мы, — слышится голос.

Варшавяне привезли с собой книги, при этой «эвакуации» они забрали все, что было у них самого дорогого. Собирали книги в спешке, не зная, что едут в концлагерь. В этом хаосе, еле держась на ногах от утомления, мы вылавливаем из бумажных мешков, куда уложены самые трогательные мелочи, бесценные для нас томики. Это, правда, «личная собственность» цуганга, так же, как свитер или пальто… но мы считаем, что книги принадлежат всем. После стольких месяцев изоляции мы заслужили небольшую порцию «духовной пищи». И поэтому каждая, кто заметит книжку, откладывает ее в сторону.

— У нас теперь есть «Призраки» Элизы Ожешко, —

наклоняется ко мне Зютка, — будем читать по вечерам.

Смотрю на нее с грустью.

— Будет ли время читать, если Варшава только начала поступать. Придется работать по ночам и все время выслушивать, что «нет Варшавы». Придут и наши близкие…

— Не каркай. Ты хорошо знаешь, что все на свете проходит. Будем еще и книжки читать, будем и смеяться… Ведь ты знаешь, проходит плохое и страшное, и потом в памяти остаются только хорошие минуты.

Кроме книг, Варшава привезла еще и деньги. На другой день после приема цугангов мы отодвигаем во всех комнатах барака столы, садимся на пол, высыпаем из мешков давно невиданные польские злотые. Сортируем и считаем. Мрачная, убитая тем, что произошло с Варшавой, Бася пригоршнями подбрасывает вверх ассигнации.

— Мусор! — говорит она с горечью. — Мусор и ничего больше. А когда-то, боже, сколько когда-то можно было купить на одну такую бумажонку. Сколько трудиться надо было человеку, чтобы ее заполучить. Неужели я еще должна это считать и передать гитлеровцам?.. Ведь это имущество изгнанной Варшавы лежит здесь…

Я слушаю её с удивлением.

Вдруг Бася встает и с ожесточением ударяет ногой по куче сложенных ассигнаций.

— Не буду считать, пусть они сами считают!

Шатаясь, она ступает по разбросанным деньгам, идет к двери и распахивает ее, ловя открытым ртом воздух. Мы подбегаем к ней. Бася бессильно опускается мне на руки.

— Не могу. Варшавы нет, Кристя, спаси меня!..

Мы относим ее в блок. Все время стучат в мозгу слова ультиматума: «Население Варшавы знает, что немецкая армия борется только с большевизмом».

Бася рыдает в нервном припадке. Мы слышим бессвязные слова:

— Конец света, ничего больше не будет, Варшава… развалины… мама… конец… конец…

Наша команда в период регистрации Варшавы превращается в музей. Перехожу в комнату «личного имущества». Кучи фотографий, альбомы, дневники, письма.

Беру первую попавшуюся учетную карточку: Анджеевская… шестьдесят лет. На фотографии, приложенной к ее бумагам, молодой человек в очках и надпись: Ежи Анджеевский… В памяти шевелится какое-то воспоминание… Неужели он?.. Автор «Мира сердца» — книги, которая так нравилась мне. Значит, в лагере его

мать? Подхожу к Неле, показываю. Неля понимает.

— Надо помочь, — улыбается она в ответ на мои мысли. — Мать писателя, правда, Кристя?..

И уже минуту спустя находятся для старушки свитер, чулки.

— Я сама отнесу, — предлагает Неля.

Раскрываю чей-то дневник, исписанный мелким почерком. С трудом разбираю слова — стертый карандаш.

«Подумать только, что Антось со своим полком может быть совсем близко. Мне кажется, это мой последний час… Наш поезд обстреливают. Мамочка, веди себя мужественно, скажи Антосю, если он вернется…»

На этом дневник обрывается, несколько чистых страниц — и дальше тем же почерком:

«После стольких лет пишу снова. Сейчас 1944 год. Перевязываю раненых на Мокотовской. Кругом горят дома, через минуту нужно бежать».

И дальше:

«Нас силой вытащили из домов, везут в неизвестном направлении…»

Рассматриваю фотографии автора дневника. Потертый снимок молодой женщины верхом на лошади, сестры милосердия среди солдат, снимок ребенка, снимок красивого мужчины с надписью: «Моей навсегда самой дорогой. Антось».

Где я видела то же самое недавно?.. Стараюсь припомнить. Ах, да, на Лагерштрассе подняла с земли карточки венгерского еврея. Похожая надпись, только на немецком языке.

Война. Я в Освенциме, сижу печальная над чужими фотографиями! Что за бессмыслица эта привязанность людей к памяткам прошлого…

Собираем хлеб для варшавян — пайков еще нет. Отдаем наш ужин. Советуемся между собой, как помочь им в эти первые, самые ужасные дни испытаний. Мы подвергаемся риску, вертясь среди мужчин с кувшинами, наполненными кофе.

Варшавские парни на этой территории, увы, утратили свой прославленный задор. Они беспомощно глядят на проволоку.

— Бежать невозможно, что зря болтать, ток высокого напряжения, черт возьми! — решительно заключает какой-то сметливый подросток.

— Скажите, пожалуйста, — обращается он ко мне, — правда ли, что эта проволока притягивает и перелезть невозможно?

— Даже не пробуй. Если здесь пройдешь, тебя все равно поймают, лагерь тянется далеко. Отсюда бежать невозможно.

Мальчик украдкой вытирает слезу и говорит стоящей рядом

матери:

— Не убивайся, мама, и тут живут люди. — Он силится улыбнуться: — Все будет хорошо, увидишь, мы еще будем сажать их за проволоку.

Варшавяне прошли санобработку, их отправили в бараки. Едва мы справились с подсчетом денег, еще не успели осмыслить все то, что видели и слышали, а уже появляется следующий транспорт.

И снова начинается выискивание родных, знакомых, вопросы отчаяния, ответы, убивающие надежду. Второй транспорт привозит больше газет. Они помогают нам ориентироваться в событиях. Начинаем понимать весь трагизм и бессмысленность восстания. Люди из этого транспорта более ожесточены, более мрачны. Все равно — всему конец.

И снова ночью мы записываем прибывших, а днем считаем деньги, кучи денег.

Снова роемся в учетных карточках. Передо мной письмо отца, умоляющего вернуть ему ребенка, дневники… Эти отдельные драмы кажутся мелкими, наивными, они тонут в трагедии множества людей, переполняющих бараки.

Итак, возвращаемся к «нормальной жизни». Появляются цуганги из Италии. Понемногу все сливается, как всегда, в сплошную, безликую массу.

Эти люди еще опьянены воздухом Италии, ее вином. Они даже смеются, совсем не отдавая себе отчета, где находятся. Сопротивляются, спорят, думают, что могут чего-то требовать. Но никто не реагирует на все это.

Прибыли несколько женщин-партизанок из Югославии. Гордые, полные достоинства, смелые — все любуются их выправкой. Эти хорошо знают, что такое Освенцим и за что их сюда пригнали.

Приезжают женщины из особой тюрьмы в Мысловицах по приговору специального суда. Они рады уже тому, что не были осуждены на смерть. Все еще находятся под впечатлением страшного следствия, жестокой тюрьмы и потерн многих товарищей. Рядом с загорелыми, полными жизни итальянцами они выглядят хилыми, жалкими. Горящие глаза смотрят с недоверием: неужели это возможно, что они живут, что будут жить?

Из Вены с транспортом попала в Освенцим семидесятилетняя еврейка. В последнюю минуту наш шеф Вурм, тот, который был когда-то шефом мужской эффектенкамер, вытаскивает ее из рядов, выстроенных для отправки «в газ».

Вурм ведет удивленную старушку в канцелярию, предлагает

сесть. Старушка понятия не имела, куда направлялась колонна, из которой ее только что вытащили, она и сейчас не понимает, что избежала смерти.

— Я вас знаю, — обращается к ней Вурм, — вы социал-демократка.

— Да, я уже сорок лет в партии. А откуда вы меня знаете?

— По вашим выступлениям.

— Ах, так вы тоже… Но что же вы делаете здесь — и этот мундир на вас?..

Вурц смущенно улыбается и говорит, оправдываясь:

— Как венке, вам ведь известно, что почти в каждой австрийской семье было столько партий, сколько членов семьи. Один из моих братьев был социал-демократом, другой коммунистом, а мне пришелся по душе национал-социализм.

Спутницы старушки уже давно пошли в печь, а в канцелярии все еще идет задушевная беседа между эсэсовцем и социал-демократкой.

— Сейчас осталось мало семей, в которых вы нашли бы национал-социалистов по убеждению. Сочувствую вам, что вы придерживаетесь такой ограниченной идеологии. Но если вас не оттолкнула система и вы служите ей столь активно… то, может быть, вас убедят последние события и ваше поражение в войне. Тогда вы поймете.

Семидесятилетняя женщина говорит это спокойно, со снисходительной улыбкой.

— Вы все еще не перестаете быть борцом, несмотря на ваш возраст, — в свою очередь снисходительно улыбается Вурм. — Ну, как Вена? Очень пострадала? Я давно не был в отпуске.

Старушка рассказывает интересно и живо о бомбардировке, о жизни в Вене. Собеседники находят общих знакомых. Оказывается, они долго жили в одном и том же районе Вены.

Вдруг, ничего не говоря, Вурм выходит. Мы получаем распоряжение выдать ей одежду. На пальто, которое старушка получает и в котором «она должна вернуться в Вену», не хватает пуговицы. Она требует, чтобы пуговица была пришита, «потому что у нее будет неряшливый вид». Меня охватывает истерический смех, вместе со мной смеется Бася. Старушка не понимает, над чем мы смеемся. Разве это так смешно, что она желает выглядеть опрятно? К ней подходит Таня. Ей не до смеха.

— Знаете ли вы, какова была бы ваша судьба, если бы не случайная встреча с этим Вурмом? Знаете ли вы, где ваши спутницы?

— Не знаю, они, кажется, пошли мыться.

Смягчившись, Таня говорит более спокойно:

— А вы слышали у себя в Вене о крематориях, об удушении людей?

— Слышала, но ведь это, пожалуй, преувеличено.

— Так вот, вы, заслуженная деятельница социал-демократического движения, теперь можете убедиться, что это нисколько не преувеличено, — с новым приступом ярости говорит Таня.

— В таком случае, над чем же смеются эти девушки?

— Они смеются над тем, что вы так настойчиво требуете оторванную пуговицу. Вам надо уходить отсюда, не оглядываясь, как только перед вами откроются ворота лагеря.

Надо признать, что эта старая женщина необыкновенно владеет собой. Выслушав Таню, она говорит твердо:

— Может быть, все это и так, как вы утверждаете, но раз я еще живу, то хочу иметь пуговку на месте, и нет в этом ничего смешного.

Таня с торжественным видом вручает старушке какую-то огромную пуговицу.

— Австрийской социал-демократии от русских коммунистов… на память.

К нашему удивлению, старушка и в самом деле выходит за ворота лагеря, провожаемая часовым. На прощанье Вурм подает ей руку и желает всего хорошего. Бася озорно толкает меня.

— Ты что-нибудь понимаешь? Я ровным счетом ничего. Куда она идет и почему? Разве оттого, что он ее узнал, изменилась ее еврейская кровь, ее раса?

Опять прибывают небольшие транспорты: «эрциунгсхефтлинги» из Германии, французские партизаны, маленькие истощенные мальчики из Дахау, переведенные сюда неизвестно почему.

Прибывает группа советских офицеров. Один из них — с бородкой — сразу привлекает наше внимание. Офицеры проходят мимо наших окон без знаков отличия, без ремней, но с высоко поднятой головой, как на параде. У всех лица сознательных солдат. Военнопленных привезли в концлагерь вопреки всем международным законам.

Русские женщины беспокойно следят за тем, куда ведут этот транспорт, так же, как мы перед тем следили — куда отправят жителей Варшавы. Что сделают с этими офицерами? В газ? На расстрел?

Наташа, Таня украдкой идут в отдалении за ними. У зауны минута наивысшего напряжения: если не повернут, пойдут прямо, — значит, идут на гибель. В последнюю минуту группа

поворачивает и входит в зауну. Мы с облегчением вздыхаем.

В зауне разыгрывается эпизод, невероятный в истории лагеря. Один из офицеров не позволяет сбрить себе бороду. Вызывают эсэсовца, который приказывает немедленно выполнить обязательное распоряжение. Ведет он себя при этом, как обычно, вызывающе и нагло.

— Не дам! — заявляет русский. — А кроме того, как ты смеешь говорить мне «ты». Стать «смирно», гитлеровский щенок, перед советским генералом!

Эсэсовец, как загипнотизированный, берет под козырек и убегает из зауны. Никто уже не вмешивается. Генералу оставляют бороду, не трогают и остальных.

Мы хорошо помним судьбу тысяч русских пленных уморенных голодом. Этот случай вызвал в лагере особое волнение. «Фронт приближается, вот нацисты и боятся», — говорят все в лагере.

Но почему так много заготовлено дров? Факт этот все еще не получил объяснения.

В бараках «Канады» по-прежнему оживление. В «Канаде» без устали сортируют, штемпелюют, связывают и отправляют все в рейх. То и дело находят скрытые в одежде какие-нибудь драгоценности. Некоторые из работающих там копят золото на случай чудесного избавления.

Манци и Эрна по-прежнему избивают женщин. Мужчинам за любой пустяк приходится прыгать «лягушкой».

Аккордеон Болека все так же играет по вечерам.

Не нужны мне никакие миллионы…

По вечерам мы читаем книги, «организованные» из варшавского транспорта. А когда гасят свет, лежим и прислушиваемся к отголоскам ночи.

Наша ауфзеерка Хопман вызывает кого-то своим хриплым голосом, ей вторит лай собак. Через окно в тишину барака врываются ее грубые ругательства и повелительные крики капо «Канады»: «Закрыть бараки! Живее, ты, глупая гусыня! Эй ты, сумасшедшая корова…»

Доносятся приглушенные звуки музыки. Это устраивают оргии господа эсэсовцы.

Тяжелым вздохом заканчивается один из тысяч лагерных дней.

Глава 5
Лодзинское гетто

Однажды в посылке от сестры я получаю первую записку, хорошо запрятанную в стенке ящика. Сестра пишет о наступлении, о приближающемся освобождении.

«Еще немного продержись!»

Заучиваю записку наизусть и мчусь в барак к Зосе встретиться с Вацеком. Теперь мы смеемся над тем, что они заготавливают дрова. На этот раз у них ничего не получится, просто-напросто не успеют.

Вацек тоже потирает руки после сообщения которое ему удалось подслушать.

— Мы еще будем жечь их трупы на этих дровах.

Зося, стоящая на посту у двери, кричит:

— Смотрите, туча людей идет от платформы!

Радостного настроения как не бывало. Опять Варшава?

Это пригнали евреев из лодзинского гетто. Кошмар начинается снова. Идут люди-скелеты. После пяти лет изоляции за стенами гетто, голода и тяжелой работы — они видят березовый лесок и не подозревают, что это их последняя прогулка!

В облаках пыли, поднимаемой ветвями орешника, вновь проходит обросшая, одичавшая, с глазами, опущенными в землю, зондеркоманда. За нею везут дрова, несут дрова, тащат неисчислимое количество дров. Впереди карета Красного Креста. Проходит час — и вырывается пламя из крематория. Еще два часа — и темный, едкий дым подымается из ям и рвов. А потом ударяет в голову чад от сжигаемых человеческих тел.

И никуда нельзя ни убежать от этого, ни скрыться…

Отяжелевшей головой наклоняюсь над дневником молодой еврейки из лодзинского гетто. Дневник свежий, «еще теплый», как говорит Марыля, которая его нашла. Последние слова написаны всего несколько часов назад, в переполненном поезде, везущем их в Освенцим. Сейчас, когда я это читаю, автор дневника уже горит в яме возле, крематория. Вот эти последние слова; «…а теперь мы едем в неизвестный край. Что нас там ждет? Что бы ни случилось, всюду лучше, чем там, за стенами… Проклинаю каждое воспоминание об этом аде. Проклинаю всех тех, кто выслуживался перед убийцами. И мою вечную темную, холодную, голую каморку на Бжезинской улице, и эту безжалостную стену, отгородившую нас от всего мира, и нашу неописуемую нужду, и

мерный топот колодок перед рассветом, и чахотку, и страшную уголовную полицию. Проклинаю это место, лишенное и листочка зелени, место, где погибли мои лучшие годы, где умерли дорогие мне люди, где я отдала все свои силы смертельному врагу — взамен на продуктовую карточку.

Пишу в тесном уголке, полоса света падает на бумагу сквозь щель в вагоне. Два дня я ничего не ела. Ну что ж! Все-таки мы едем и видим сквозь щели золотистую рожь…»

К зауне подъезжает лимузин. Выходят доктор Менгерле и Крамер.

Бася и Неля отправляются на разведку. Какая цель этого необычного визита?

Я продолжаю читать дневник, заглядываю в другую тетрадь, принадлежащую той же девушке. Нахожу там — стихи. Печальные стихи о гетто, о жизни прокаженных.

О голоде и преследованиях. Стихи мстительные, о владыках денег и фабриках оружия, о богах гетто.

Нахожу замечательный отрывок, благословляющий желтый свет фонаря, стоящего за стеной. Этот фонарь, свет из иного мира, проникает в темный угол поэтессы из гетто и позволяет ей творить.

А вот и последние стихи, написанные под влиянием v плакатов, сообщающих о выезде в неизвестные края. Радостные, полные надежды стихи. Повторяющийся рефрен поражает меня, он сейчас звучит издевательски, ужасно:

Пататай, пататай,
Мы поедем в чудный край!..

Бася вернулась из разведки, наклоняется надо мной.

— Опять «селекция». Как страшно смотреть!

Выхожу из барака. Возле зауны раздеваются женщины из лодзинского гетто. Доктор Менгерле в сопровождении Крамера и гауптшарфюрера Хана производит отбор. Небольшая группа женщин средней полноты стоит на стороне «жизни». Менгерле набирает их из проходящей колонны. Огромное число остальных, истощенных женщин уже ни на что не пригодится великому рейху. Поэтому они идут на сторону «смерти». Идут друг за другом, обезумевшие от стыда. Мимо нас проходит девушка-полускелет, мы хорошо знаем, что она испытывает. Озираясь кругом, как затравленная, она никого и ничего не видит и кричит:

— Люди! Где люди?

Ответа нет. Девушка продолжает кричать:

— Эй, весь мир сошел с ума! Весь мир сошел с ума!

Она останавливается и прислушивается. Мы съежились за бараком. Вдруг она побежала все быстрее и быстрее. Я выглядываю из-за угла и вижу, как она проталкивается через группу голых женщин, как пробивает себе дорогу в газовую камеру…

Пататай, пататай,
Мы поедем в чудный край!..

Фронт приближается

Глава 1
Налет

Все признаки в небе и на земле указывали на то, что великий рейх распадается с гулом и треском, лопается, трещит и неминуемо развалится под победным шагом наступающих войск.

И хотя все еще шли «в газ» человеческие тени из лодзинского гетто, хотя непрерывно неслись грузовики, нагруженные «живыми трупами», — все же за каждым грузовиком бежала надежда: последний… один из последних… Они спешат, но всех не успеют сжечь.

Они окружены… Окружены! Это уже не наши иллюзии первого или второго года войны, нет, это настал их последний час, да, последний… Но те, которых они еще гонят сюда, те, которые сейчас входят в печь, уже не дождутся…

Вероятно, и мы погибнем за час до освобождения, но что из того? Мы испытали ни с чем не сравнимую радость — узнали, что пришел час возмездия, что они погибают. Эта радость безраздельно владеет нами и заглушает даже жажду личной свободы… Нет у них никакого нового оружия! Вранье, пропагандистский трюк! Настоящая правда, вот она: на Западе союзники освободили Ахен, на востоке советские войска вышли к Висле…

Мы все чаще получаем сведения из «конспиративных» писем, из подслушанных сообщений, из газет, тайком унесенных из кабинета шефа. О многом говорит нам и перемена в поведении господ нацистов: неопределенное выражение на их лицах и переходы от самого дикого садизма к небывалой мягкости. Все эти признаки их трусости и свойственных им наклонностей вызывают и радость и отвращение. К избиениям, к стоянию на коленях, к «лягушечьей гимнастике» хефтлинги относятся теперь с холодным спокойствием, с обостренной ненавистью. Подмигивают многозначительно друг другу: «Они нервничают. Посмотрим. Выдержим и это».

В первых числах сентября мы замечаем, что прекращаются транспорты «в газ». Проходит еще несколько дней. По-прежнему тишина. Поезда к платформе не подходят. Лишь один крематорий слабо дымится. Радио молчит, будто его и не было. Нет и машины с посылками. Единственным признаком не изменившегося порядка являются переполненные грузовики из «Канады», они спешат, они несутся с еще меньшими промежутками, чем обычно.

Мы вслушиваемся в тишину.

— Пожалуй, надо «организовать» хорошие ботинки, — говорит Неля. — Пойду в «Канаду», прочная обувь — необходимая вещь. Может быть, нам предстоит долгий путь…

Однажды в двенадцать часов дня вдруг слышим шум самолетов, и тут же — вой сирены. На наших лицах появляется восторг. Мы смотрим вверх. Слушаем рокот моторов, как прекраснейшую музыку. Медленно появляется с севера, тяжело грохочет крылатая эскадра, вибрирующий воздух несет к нам волны радостной надежды.

— Хоть бы начали бомбить! — мечтает Бася, не отрывая глаз от самолетов.

Ирена тоже провожает их взглядом.

— Вот если бы бомбы упали на проволоку и разорвали ее… Образовался бы проход, а там и партизанские отряды вблизи!..

Неля, тоже с поднятой вверх головой, смеется, передразнивая Ирену.

— Если бы, если бы! Если бы жених рядом в машине… Если бы золотые часы и звездочка с неба.

И вдруг… Что это? Бум! Бум!.. Вбегаем в барак. Из эсэсовской кухни стремительно, выскакивают господа эсэсовцы, повелители Бжезинок, и мчатся к воротам, где, оказывается, построено убежище. Мы не можем отказать себе в удовольствии и наблюдаем за бегущими. Чудовище Бедарф бежит первым, бледнее, чем всегда, за ним торопятся другие. Только одна Янда остается у барака, стоит, спокойно засунув руки в карманы.

Бомбы падают где-то совсем рядом. Мысленно просим бога, чтобы это продолжалось как можно дольше. Чеся прерывает молчание детским заявлением:

— А я когда-то так боялась бомб…

Бомбардировка длилась полчаса. Отчетливо виден пожар в лагере С.

— Горят бараки, — замечает кто-то, — хорошо, если бы ветер дул в нашу сторону!

— Ну и что ты от этого выиграешь? — говорит другая отрезвляюще. — Негде будет спать, будешь спать под открытым небом, да еще собак выпустят.

Увы, «поэма моторов» кончается, и самолеты, сбросив груз, улетают.

Бедарф и другие эсэсовцы вылезают из убежищ, и снова перед нами лица повелителей. Они пытаются шутить, прикидываясь храбрецами.

После полудня, видимо, по случаю сегодняшнего избавления от смерти, они устраивают себе сногсшибательную пирушку.

Пьют до бесчувствия — так пьют обреченные на тонущем корабле. Бьют все, что только можно разбить, орут во всю глотку. Мы затворяем дверь, ожидая их визита. Действительно, вскоре появляются, шатаясь «Венский шницель» и «Кривой». Не знаем, что нам придумать. Делаем вид, что заняты работой. «Кривой» кричит, сверкая единственным глазом:

— Ну что, глупые свиньи, весело?

Никто ему не отвечает. «Кривой» вынимает пистолет и целится в Ирену.

В эту минуту распахивается дверь, и в детской коляске, пронзительно визжа, въезжает подталкиваемый самим гауптфюрером Ханом лоснящийся, безвредный Вурм, вдребезги пьяный.

Одновременно отворяется дверь служебной комнаты, и на пороге появляется Янда. Своим проницательным взглядом она сразу оценила положение. Воцаряется тяжелое молчание. «Кривой» прячет револьвер. Вурм перестает визжать. Хан бросает коляску и подходит к Янде. Отвратительно причмокивая, он пожирает ее глазами. Янда захлопывает дверь перед его носом. Разъяренный Хан лезет к ней в комнату через коридор. Раздается звон битого — стекла…

Мы не дышим, приросли к стульям. Только бы не увидели в нас женщин, не захотели бы с нами «поиграть». Против воли сочувствую Янде.

Наконец оргия эсэсовцев, вылезшая на этот раз из-под прикрытия ночи на дневной свет, кончается — о, чудо! — без всяких опасных для нас последствий.

Немного погодя дверь служебной комнаты отворяется, и бледная, как призрак, Янда велит убрать стекло.

На другой день мы узнаем, что в результате налета уничтожен эсэсовский госпиталь. Среди эсэсовцев есть убитые и раненые.

В Бжезинки приходит давно не появлявшаяся здесь Валя из политического и по секрету сообщает, что отныне уже не будут умерщвлять газом людей. Пришел приказ из Берлина, сообщение это верное. Авторитетные комментаторы, то есть «парни», предполагают, что это в связи с занятием немецкой территориии. Гитлеровцам будто бы пригрозили, что с ними сделают то же самое. Хотя всем известно, что Валя имеет доступ к официальной информации, мы, однако, не верим. Уже столько раз мы решали, что массовым убийствам пришел конец, а новые жертвы шли «в печь».

Расспрашиваю Валю о подругах из моего транспорта. Валя

знает все: кто умер, кто ходит на аусен, кто получил работу под крышей и кто лежит в ревире. Подсчитываю мысленно и вижу — осталось очень немного. Вспоминаю, как в первые дни меня поразила статистика смертей. Каждая, кого я тогда встречала, уже в начале разговора заявляла: «Что из того, что я еще живу… нас приехало сорок, осталось четверо…»

Валя приносит список транспортов из Освенцима в лагерь Равенсбрюк; утверждает, что это первый эвакуационный транспорт, а за ним последуют остальные.

В картотеке, рядом с фамилиями переведенных, мы вписываем букву «ü» (überstellt). В эвакуационном списке много подруг. Встречаю фамилию Стефы, прибывшей со мной из Павяка.

Еще приходят списки, а транспортов что-то не видать на платформе.

Видим из окон, как мужчины, французские партизаны, ремонтируют разбитую, вытоптанную сотнями тысяч ног «дорогу смерти».

Холодный сентябрьский дождик покрывает изморосью тиковую одежду французов. Голод и апатия преобразили их лица — а еще так недавно эти люди боролись с оружием в руках. Иззябшие, смирившиеся, они перекапывают Лагерштрассе.

Неля не может смотреть, как мерзнут эти славные парни. В минуту, когда часовой отвернулся, она подает знак, открывает окно и выбрасывает хлеб и носки. Часовой вдруг поворачивается. Заметил. Стараясь спасти положение, обезоруживающе улыбаясь, Неля кричит часовому:

— Не трогай его, я могла бы быть твоей матерью! Ведь я не сделала ничего плохого.

Эти слова неожиданно подействовали. Часовой делает вид, что ничего не заметил. Француз жадно глотает огромные куски хлеба, взгляд его оживляется благодарностью. Товарищи завидуют ему и смотрят на нас с немым ожиданием. Но у нас больше нет хлеба, да и боимся часового. Опускаем головы и «работаем». Что можно сделать? Столько голодных заключенных мокнет сейчас в поле за проволокой, столько голодных варшавян, лодзинских, венгерских евреев! Невозможно всем им помочь.

Приезжают поодиночке цуганги. С платформы ведут трех беременных женщин.

Беру ведро — наш обычный предлог — иду в зауну за водой. Подхожу к женщинам. Венгерские еврейки. Они уже были здесь прежде. Их тогда отправили в лагерь — беременность еще не была заметной. Послали на уборку щебня. Там все обнаружилось. Женщины догадываются, зачем привезли их обратно. Одна из них, со спокойным, сёрьезным лицом, указывает на крематорий.

— Знаю. Там сожгли мою мать, и я туда пойду. Так будет лучше всего. Скорей бы только.

И горько усмехается.

Не пытаюсь ни возражать, ни утешать. Кто может все это знать лучше, чем они? Но не могу и отойти просто так, чувствую, что должна что-то сказать. Мне стыдно, что я буду жить в то время, как они…

— А мне так хотелось иметь ребенка, — печально говорит вторая женщина. И оглядывается вокруг: — Когда, наконец, они за нами придут?

— Долго ли «это» продолжается? — спрашивает третья, самая молодая, она взволнована больше других.

— Недолго, — выпаливаю я и убегаю.

У дверей нашей канцелярии ко мне обращается какая-то женщина.

Она сильно накрашена, с часами на руке, на высоких каблуках, в узкой юбочке и, о диво, с пришитым номерком.

— Команда эффектенкамер? — спрашивает она.

— Здесь. Ты заключенная?

— Я зондерхефтлинг, особая заключенная, — отвечает она вызывающе.

— Что это значит? Ты пришла без часового?

— Не твое дело. Мне надо капо.

Входим в канцелярию. Все открывают рот от удивления при виде этого «зондерхефтлинга».

Девушка на высоких каблуках разговаривает вполголоса с капо и кокетливо выходит.

— Вы разве не знаете, кто это? — смеется капо. — Зондерхефтлинг из пуфа! Пришла из Освенцима, из мужского, за драгоценностями. У нее освобождение.

Едва она ушла, как я опять увидела часового, ведущего какую-то пожилую женщину.

— Еще один цуганг. Какой-то странный день сегодня, эти цуганги, будто дождевые капли капают на голову по одной, — ворчит под нос капо.

Лицо вошедшей в канцелярию кажется знакомым. Узнаю. Это социал-демократка из Вены.

— Вы опять здесь? — в один голос спрашиваем мы, удивленные. — Где же вы были все это время?

— В Освенциме. Посадили в бункер, вели следствие. Допрашивали, били. Хотели узнать, кто из нашей партии действует против Гитлера. Я ничего не сказала. Никого не выдала.

Ада снимает с плеч старушки пальто с исторической

пуговкой. Нам очень жаль старушку.

Проходит несколько минут — и она уже с бритой головой, в коротеньком узком платье, с красным крестом на спине и дрожит от холода, под дождем.

Мимо нее медленно проходит Вурм, закутанный в плащ. Старушка минуту колеблется… Наконец подходит, напоминает ему о себе, протягивает руку.

Но Вурм сегодня в другом настроении, и старая еврейка уже не развлекает его. Он останавливается, но тут же идет равнодушно дальше. Рука старушки падает, будто ее отсекли.

— Жили в одном районе, — насмешливо говорит Таня, — и так некрасиво поступил… Правда, бедная маленькая старушка? Он венец, вы венка… как это грустно… Вы думали, он вас отправит в Вену, а он отправил вас в бункер… Вы немного поумнели? Надо было смотреть не на его гладкое лицо, а на его череп мертвеца. Он его носит не случайно… Ни один из них не носит случайно свой трупный череп. Это и есть их подлинное обличье.

Глава 2
Дуновение свободы

В этот памятный день Янда велит Неле, Аде и мне раздобыть кувшины. Я несусь в «Канаду» и отыскиваю их там, не понимая, зачем они понадобились.

— Пойдем гулять, — усмехается Янда, — по грибы.

Мы не можем сдержать крика радости. Не верим собственному счастью. Янда надевает пилотку, берет овчарку на поводке, мы хватаем кувшины и отправляемся.

Выйдя за ворота, поворачиваем направо, туда, где стоит белый домик. Земля по-осеннему сырая, а небо светлое, голубое. Нас обдает свежий легкий ветерок. Остается позади тошнотворный запах трупов, не слышны крики из «Канады».

Походка становится легкой, свободной. Стараемся мягкими шагами как бы обласкать этот свободный, не огороженный колючей проволокой кусочек земли. Входим в березовый лесок. Никто не нарушает ненужными словами торжественную тишину. Янда движением головы позволяет нам сесть. Я сажусь на пенек и прижимаю руку к сердцу, оно неистово колотится в груди. Неля прислонилась к дереву. По ее лицу текут слезы.

Будем ли мы когда-нибудь ходить по лесу, по полям и не видеть в этом ничего необыкновенного? Разве замечала я раньше, сколько красоты в каждой веточке, в каждом оттенке зелени, в каждой травинке? Разве умела я с таким наслаждением вдыхать запах земли?

Не знаю, не помню, каким все это было. Как я хочу, чтобы вот эта минута никогда не кончалась. Беру пригоршню чистой земли, не пропитанной человеческой кровью, без пепла сожженных. Земля сыплется сквозь пальцы…

Янда смотрит на меня. «Вот мой враг, — думаю я спокойно. — Достаточно выхватить у нее револьвер, застрелить ее и собаку. И пойти вперед. Этой лесной тропинкой, потом через поле. Дышать глубоко, надышаться райской; тишиной, свободой… а потом… все равно, что будет потом… Ради одной этой минуты стоит. Как смогу я теперь опять вернуться туда?..»

Очевидно, в глазах у меня злые огоньки, потому что Янда подходит и кладет руку мне на плечо; дрожь охватывает меня от этого прикосновения…

— Пойдем дальше?

Как невыносимо тяжело. Знаю, что ничего ей не сделаю, знаю, что вернусь туда. Начинаю жалеть, зачем я пошла на эту

прогулку. Будет еще ужаснее теперь. Ведь завтра, в любой день, могут повести нас пятерками в крематорий. Очарование украденной свободы рассеивается как дым. Боюсь смотреть вокруг. Не хочу больше поддаваться покоряющей силе природы. Поскорее вернуться туда и забыть.

А когда-нибудь… Если удастся выйти на свободу, смогу ли я смотреть на прекрасный пейзаж, на радующие глаз уголки земли, и не вспоминать этот черный дым, кровавое пламя, отчаянный последний крик сжигаемых людей? Никогда, никогда. У людей будут свои дела, а я мыслями, сердцем буду всегда здесь. Другие, счастливые, будут в лесу, а передо мной постоянно будут эти пылающие рвы, печи, извергающие огонь. Ничто не изгладит это из памяти. Ничто не сможет вычеркнуть это из души.

— Это, пожалуй, как увечье, — говорю я вслух.

Неля смотрит на меня изумленная.

— Ты о чем?

— Мы навсегда искалечены.

Неля задумывается. Она понимает меня.

Солнце весело освещает молодой лесок. Мы ищем грибы. Их не очень много. Неля несмело обращается к Янде:

— Мало грибов, фрау Янда, может быть, еще как-нибудь пойдем по грибы? Хорошо?

Янда молча смотрит на часы, наконец говорит медленно, подчеркивая каждое слово:

— Наверно, вы не раз пойдете еще по грибы…

— А вы?

— Я тоже… пойду… по грибочки, — говорит она срывающимся голосом. — А теперь назад.

Солнце уже высоко. Вспоминаю свой первый выход на аусен год назад. Все теперь иначе. Я сыта, волосы у меня отросли, на мне фартук, ноги в чулках. Я похожа на человека. А тогда… Тогда жила Зосенька. Тогда я встретила Анджея…

И только солнце светило так же, так же пахла земля. Так же мучительно трудно было возвращаться. Тогда и сегодня было одно общее, как и в любой день здесь, за проволокой: вечное томящее беспокойство — что с нами сделают завтра.

Возвращаемся той же дорогой. Стараемся продлить прогулку, но, кроме замедленных шагов, ничего другого нельзя придумать. И снова перед нами проволока. «Повернуться и бежать, — мелькает безумная мысль, — не возвращаться, не входить туда…»

Овчарка прыгает рядом со мной, ноги механически переступают линию ворот. И вот уже слышен крик мужчины из зауны. Нам навстречу выбегает Бася.

— Это какой-то еврей получил двадцать пять. Ну, как в лесу?

Как я вам завидую. Много грибов?

— Свобода очень приятна, Бася. Но хорошо, что я вернулась. Знаешь, я уже, пожалуй, привыкла. Новые эвакуационные списки пришли?

В этот день не могу дождаться конца работы. То и дело смотрю на часы. Добраться скорей до постели, еще раз пережить прогулку. Наконец четыре часа. Ставлю в шкаф ящики с карточками. Зютка, без перерыва стучащая на машинке, подмигивает мне, с удовольствием глядя на часы.

Вдруг влетает в канцелярию Зося, дрожа от волнения.

— Горит третий крематорий!

В ту же минуту раздаются выстрелы. Выбегаем из барака. Крематорий объят пламенем.

Из «Канады», из эсэсовской кухни, со всех сторон мчатся к месту пожара эсэсовцы с винтовками наперевес. Начинается обстрел крематория. Но огонь разгорается ярче и ярче.

Мимо нас пробегают мужчины из эффектенкамер. Вацек быстро, на ходу, рассказывает:

— Взбунтовалась эондеркоманда. Их отправку задержали… Должны были сегодня вывезти. Они решили не дать обмануть себя, как те, перед ними… Может, это станет сигналом к восстанию во всем лагере.

Огонь охватил крышу, вырывается из окошка газовой камеры. А трубы торчат. Сильное возбуждение охватывает меня. От странного волнения сжимается сердце. Как загипнотизированная я упорно смотрю на трубы и жду: они должны рухнуть. Трубы — этот страшный символ сожжения, они должны рухнуть. Неважно, что останутся другие крематории, что останутся пулеметы и прочее смертоносное оружие. Важна теперь сама борьба. Важно то, что накануне решительного разгрома гитлеровцев в огне возмездия пылает место их самых подлых, чудовищных преступлений. Место, которое они хотели бы скрыть от мира и от самих себя. Теперь это зарево уже не означает, что горят удушенные миллионы людей. Это зарево уже не следствие пассивного повиновения коварному, преступному, казалось бы, непобедимому врагу. Это зарево — участок фронта, который приближается к нам. Какое это торжество — видеть «властителей жизни и смерти» трусливо бегающими вокруг горящего здания. Как они перепуганы, как ничтожны перед горсточкой героев, перед горсточкой презираемых ими евреев.

— Все евреи на апель! — кричит разъяренный владыка Бжезинок, гауптшарфюрер Хан. — Все проклятые евреи на апель!

Евреи из обслуживающего персонала зауны, из «Канады»

бегут, бледные, на площадь апелей. В глухом молчании строятся пятерки. Хан стоит посредине, размахивая хлыстом.

За этими проклятыми евреями надо следить в оба, они еще что-нибудь выкинут. Тут, во всяком случае, Хан чувствует себя в большей безопасности, чем в районе обстрела.

С платформы прибывает подкрепление: эсэсовцы на мотоциклах и велосипедах. Едва они подъехали, как раздаются выстрелы из второго крематория. Все бросаются туда. В эту минуту с грохотом рушится одна из труб объятого пламенем первого крематория.

— Становится жарко, — возбужденно шепчет Бася.

Появляется Вацек.

— Дела идут хорошо, возможно, удастся бежать, надо держаться поближе друг к другу.

Из Освенцима, из мужского лагеря приезжает пожарная команда, состоящая из заключенных. Клубы дыма вырываются уже со всех сторон здания. Оно распадается на части, как карточный домик. Пожарники развертывают шланги. Дрогнула вторая труба и тоже с грохотом падает на землю. В третьем крематории не прекращается стрельба.

Из второго крематория доносятся единичные выстрелы. Едва вспыхивают то там, то тут маленькие огоньки. Наконец, все гаснет. Эсэсовцы медленно возвращаются с «поля битвы».

Я очнулась как после кошмарного сна. Проволока стоит нетронутая. Заходящее солнце медленно скрывается за Бжезинками. Над нами невозмутимой лазурью простирается небо.

Октябрь. Мелким дождем моросит наша покорность. Так что же это? Как же с молниеносным наступлением? Еще один год приближается к концу, и, кроме эвакуационных транспортов, — никаких перемен. Впрочем, перемены есть. Больше не появляются цуганги. По приказу коменданта эвакуируемые мужчины должны пройти через зауну в Бжезинках. Перед нашим окном по-прежнему крутится трагический фильм о скорби и беспросветной жизни.

Мужчины невероятно исхудали и голодны. Живут только лагерным пайком. При раздаче супа происходят бои. Если немного мороженой брюквы с кашей проливается на, землю, несколько хефтлингов ложатся и жадно вылизывают ее.

— Никогда бы я этому не поверила, — говорит Бася печально, — если бы не видела собственными глазами. Я и сама недавно тоже страшно голодала, а теперь даже не могу представить, что можно дойти до такого состояния.

«Организовываем» хлеб. Подать его через окно невозможно —

тотчас же собирается толпа с протянутыми руками, а это может привлечь внимание шефа. Приходится маневрировать, договариваться с каждым в отдельности. Но наш, с такими трудностями добытый хлеб — это капля в море. Съежившиеся, измученные, озябшие скелеты в полосатых халатах едва таскают ноги в огромных колодках.

После того как исчерпаны все запасы хлеба, принимаемся за «организацию» шарфов, перчаток и носков. Ирена смело похищает из «Канады» целый узел с шарфами и никем не замеченная проносит его. Зютка пользуется перерывами в работе и вяжет на спицах перчатки и наушники, тихонько всхлипывая при этом.

Всех донимает холод. В мире царит ненастье и мрак. Вид бродящих в поисках пищи полосатых халатов угнетает душу. Лишь контуры гор становятся как бы более отчетливыми и близкими. Время тянется безнадежно.

В «Канаде» из-за отсутствия новых партий товара, с молчаливого согласия эсэсовцев и капо, замедляется темп работы. Это в интересах самих эсэсовцев, потому что тогда их роль будет окончена и их вышлют на этот ужасный восточный фронт. Они ловко растягивают «работу» на долгие недели. Однако неопровержимый факт налицо — транспорты перестали прибывать.

В один прекрасный день начинается разборка четвертого крематория.

Нам трудно поверить, что мы дождались такой минуты.

Женщины, разбирающие крематорий, рассказывают нам подробно о конструкции печей, об устройстве раздевалки, газовой камеры…

Снова мы расстаемся с надеждой на освобождение, настойчиво бьется мысль: «Раз они уничтожают следы преступлений, значит, уничтожат и нас — свидетелей. И никто в мире ни о чем не узнает. А если кто-нибудь и выберется отсюда — кто ему поверит, его не захотят и слушать…»

После краткого «семейного» совещания в бараке у Зоей мы решаем оставаться здесь, пока это будет возможно. Тут мы уже знаем что и как. Если нас ждет конец, он настигнет нас всюду, если нам суждено уцелеть, спасемся и здесь. Впрочем, наше решение меняется каждый час.

Наконец заставляю себя не думать больше об этом и не принимать близко к сердцу… «Что будет, то будет, только бы скорей», — как говорили венгерские еврейки перед смертью. А мы? Ведь мы столько лет ждали этой минуты. Стоит ли теперь изводить себя бесплодными предвидениями? Нельзя требовать

слишком много. Мы столько раз повторяли: «Вот бы дождаться их разгрома, больше ничего не надо…» Почему же теперь так сильно хочется жить?..

Все мы впадаем в меланхолию. Говорим только об одном. Что с нами сделают? Каким образом избавятся от нас? Известно уже это им или еще ждут приказа из Берлина? Умерщвлять газом, наверное, не будут, ведь крематории разбирают. Ну, так могут расстрелять…

Распространяется слух, что в последнюю минуту они сбросят бомбу на лагерь и заявят на весь мир, что это союзники ее сбросили. И никто, наверное, не станет проверять это.

Раздумываем о том, а не выбраться ли нам в другой лагерь. Возможно, что для нас условия там будут гораздо хуже. Но не единственная ли это возможность остаться в живых? Лагерь в глубине Германии может продержаться до конца войны. Затеряемся там среди полосатых халатов, никто и знать не будет, что мы тут видели.

Со всех концов рейха возвращаются обратно посылки с вещами «умерших», отправленные эсэсовцами своим семьям. При каждом появлении почтовой машины мы не можем скрыть радость даже в присутствии шефа и сопровождающего его эсэсовца. Открываются двери всех комнат, и толпа девушек мчится к машине, чтобы по вернувшимся посылкам собственными глазами убедиться, какие города уже освобождены.

Чеся с невинным видом спрашивает у шефа:

— Герр шеф, почему вернулись?

— Затор на железной дороге! — не моргнув глазом, отвечает тот.

Чеся поворачивается к нам, подмаргивает.

Перед окончанием работы капо сообщает, что после работы шеф вызывает всех нас к себе. Мы выстраиваемся в коридоре. Не знаем, что и думать. Предвидим самое худшее. Роспуск команды, транспорт, «в газ»? Даже капо не знает, зачем нас собирают. Входит шеф. Стоящая рядом со мной Бася дрожит. Сердце у меня громко стучит. Да, на этот раз уже ничто не поможет. Это конец.

Шеф торжественно произносит:

— Мы должны признать, что вы работали хорошо. Я вами доволен, и потому…

Рука Баси судорожно сжимается. Капо, белая как мел, напряженно слушает. Шеф обращается к ней:

— Ну, Мария, выбери из них пять лучших.

«Эти будут уничтожены первыми», — лихорадочно стучит в

мозгу.

Растерявшаяся Мария называет первые попавшиеся имена. Девушки выступают вперед.

Тут происходит что-то совсем невероятное. Шеф вынимает из кармана пачку ассигнаций и начинает их раздавать.

— Великая Германия дает вам премию за вашу работу.

Напряжение проходит. Хочется смеяться. Итак, снова мы выиграли жизнь. Мы даже можем за эти две марки купить в ларьке немного горчицы, ничего другого там нет. Эта внезапная перемена в отношении к хефтлингам наводит на радостные мысли. Премии за хорошую работу… Чего же они хотят этим добиться? Может быть, думают, что за две марки мы все забудем? А если им важно, чтобы мы забыли, то, значит, нас не будут ликвидировать…

Зютка, получив из рук шефа премию, бормочет:

— Слишком поздно, милый цветик, никакое подлизывание вам не поможет после того, как вы уничтожили миллионы людей.

После премирования следует приказ, смысл которого убеждает самых отъявленных пессимисток в том, что палачам пришел конец. Шеф приказывает в течение двух дней достать из общей картотеки все карточки умерших и эвакуированных. Списки перепечатать на машинке. Карточки эти вместе со списками прибывших и умерших должны быть отосланы в Бухенвальд.

Несколько машинисток будут работать всю ночь, чтобы выполнить распоряжение.

В канцелярии, обычно в эту пору уже пустой, машинки в бешеном темпе выстукивают номера, — начиная от иервого транспорта, — фамилии и при них пометки о смерти — «v» (verstorben) либо о перемещении — «ü» (überstellt). Передо мной красноречивая, страшная статистика. Почти каждый номер помечен буквой «v». Рассматриваю страницу за страницей и вижу против многих тысяч номеров только пометку «v». Лишь изредка кое-где мелькнет буква; «ü». Целые транспорты по нескольку тысяч человек — ферштербен!

Следующей ночью, подгоняемая общим темпом работы и понуканьем шефа и капо, я заканчиваю список своего транспорта. № 55 907 — ферштербен. № 55 909 — ферштербен. Все номера впереди и позади моего, все — ферштербен. А я живу, № 55 908. Как это случилось, что я осталась жить?

Ревир, тиф, чесотка, штабеля трупов под стенами бараков — все это снова встает перед моими глазами. Да, это было всего лишь год назад. Умерла Зосенька, умерло так много других. Тогда мне казалось, что не смогу пережить еще один день. Но

прожила целый год.

Сквозь открытую дверь из комнаты шефа доносится музыка:

На свете все проходит,
Всему скажи прощай!
И за декабрьской стужей
Опять настанет май…

Я выхожу на крыльцо. Пушистые хлопья снега мягко ложатся на землю, покрывают фундаменты крематориев, облепляют проволоку, тают на ресницах… Ровные ряды бараков дремлют, укутанные белой пеленой. Я не одна в великой тишине этой зимней ночи. Вокруг меня, рядом со мной все «ферштербен». Горящими глазами они хотят проникнуть вдаль, за невозмутимую белизну, умоляюще протягивают руки. Те, из Павяка, и эти, из карантина.

Их все больше, они обступают меня, я слышу их повелительный шепот: «Никогда не забывай нас, не позволяй забыть и другим. Вы должны отомстить, иначе ни в зимнюю ночь, ни в весенний день не будет вам спокойной жизни. Приближается свобода. Те из вас, кто познает это счастье свободы, пусть никогда…»

— …никогда не забудем вас, клянемся! Мы не можем забыть вас!..

Часовой, съежившись от холода, в своей «ласточке», наверно, следит за мной, за странной фигурой, гуляющей у проволоки ночью, и кричит:

— Что ты там делаешь?.

— Жду, — отвечаю я.

— Чего ждешь? — кричит часовой.

— Auf Freiheit… Свободы… Понимаешь?

Из будки над проволокой раздается смех. Я возвращаюсь в барак.

Меня вызывает шеф. Вхожу, полная ненависти.

— Ну что, много там еще у вас? — спрашивает он, дописывая какое-то письмо.

Заглядываю через плечо: «Моя любимая Ева…»

Радио играет цыганский романс.

Эх раз, еще раз… еще много, много раз…

Итак, пока мы составляем списки умерших, шеф пишет любовные письма. Он любит, тоскует по какой-то Еве. Она,

наверное, тоже любит его. Он похож на человека, приветливый… Меня охватывает острое желание схватить пресс-папье, что лежит на письменном столе. Как трудно овладеть собой, удержать собственную руку…

Он поднимает голову.

— Ну, что?

Я вздрогнула, будто очнувшись от сна.

— Ну что же? Много еще вам осталось переписывать?

— Немного, герр шеф!

Он закуривает сигарету, смотрит в окно.

— О, что я вижу, выпал снег.

— Да, выпал.

Я продолжаю разглядывать шефа, как самое непонятное существо. Он так же радуется снегу, как и мы. Так же, как и мы, встает, выходит из барака. Становится рядом с Басей. Оба одинаково поддаются очарованию зимы. Эсэсовец говорит:

— Как красиво! Какая тишина!

Бася молча слушает. Знаю, что она думает. Когда он был шефом крематория, тоже было так красиво и тихо?..

— Совсем не похоже на лагерь, — продолжает эсэсовец, — все следы занесены…

Я пячусь к двери. Сажусь снова за машинку. Он прав. Следы занесены, заметены. И я в эту минуту занята не чем иным, как заметанием следов. Улики преступлений, будут скрыты в Бухенвальде. Освободительные армии застанут здесь только снег.

4 декабря именины Баси. Пользуемся случаем и устраиваем праздничный вечер. Объясняю нашей капо, что у нас здесь так мало приятных минут и это торжество следует как-то отметить.

Самая возможность подобного разговора показывает, насколько все изменилось. Иное настроение, иное отношение к хефтлингам. Все же капо не может скрыть, что удивлена нашей дерзостью. Взгляд ее говорит: «Вы ведете себя, как в пансионе, забываете, где вы находитесь».

Вдруг вбегает Ирена и печально сообщает:

— «Парни» сегодня уезжают. Все.

— Как все? И «наши» также?

— Да и все поляки. Начальство боится беспорядков в лагере, боится, что мужчины организованы.

Хорошо знаю, что в нашем положении безразлично, является ли битый, приниженный хефтлинг мужчиной или женщиной, и все же понимаю, что печаль, которая всех нас охватывает, вызвана не только сочувствием. Очевидно, сознание, что мужчины рядом, как-то придавало нам храбрости. Мы как бы чувствовали их

молчаливую опеку, надеялись на их выступление «в случае чего».

— Мы остаемся совсем одни… — огорченно говорит Ирена.

Выхожу, чтобы поискать Вацека. Повсюду снуют озабоченные мужчины из Бжезинок. Царит предотъездная лихорадка. «Сегодня едем!» Циприян, друг нашей команды из мужской эффектенкамер, встретившись со мной на Лагерштрассе, протягивает руку, не обращая внимания на проходящих эсэсовцев.

— Прощай, Кристя. Встретимся в Лодзи, перед Гранд-Отелем на Петроковской.

— Когда?

— Ровно через год, в этот же день, в двенадцать часов. Приду непременно.

Вацек прощается с Зосей. Увидев меня, останавливается на пороге темного барака. Серые вещевые мешки хефтлингов висят над нашими головами. В узком проходе между полками стоим и молчим, не зная, что сказать. Наконец Вацек говорит со смущенной улыбкой:

— В такие важные минуты всегда ведь молчат, неправда ли? Я так хочу верить, что это не последняя наша встреча… Можем ли мы сейчас о чем-нибудь загадывать? Но мы столько пережили вместе, и связавшие нас узы разорвать невозможно.

— Да.

— Разве кто-нибудь в состоянии почувствовать так глубоко, как мы, радость от всего, что встречает человека. Дом, тишина… даже тиканье часов…

— Да.

— Мне поможет жить мысль… что ты будешь помнить…

— Да.

— Ты все только повторяешь «да». Скажи что-нибудь на прощанье.

— Будь здоров, Вацек. Все, что ты говорил, все, что ты делал здесь, — было прекрасно.

На площадь апелей собрались мужчины со всего лагеря — съежившиеся полосатые халаты с землистыми лицами. Стоя на месте, они притопывают отмороженными ногами. Один из них нагнулся, изо рта его течет кровь и оставляет след на искрящемся снегу. Вытирает рот рукавом. Люцина быстро открывает окно и выбрасывает чистый носовой платок. Его поднимает кто-то другой. Люцина делает отчаянные знаки, что платок предназначается для того, у которого кровотечение.

Заключенные строятся пятерками. Медленно шевелится

иззябшая человеческая масса. Те, кто привык к своему месту на нарах, к бараку; те, кто завел друзей в кухне или в эссенколонне — продовольственной колонне, и уже наловчился получать дополнительную порцию супа; и те, кому повезло работать под крышей, — всех их опять ждут перемены на незнакомой территории новых, переполненных концентрационных лагерей. Здесь они уже знали — кто злее бьет, кого надо избегать, а там, пока сориентируешься — легко и погибнуть. Единственное, что поддерживает теплящуюся жизнь, что вызывает мимолетное прояснение на измученных лицах, — это мысль о приближающемся фронте.

Идут наши из Бжезинок. Они отличаются от полосатых халатов: в гражданском пальто, в фуражках. Они улыбаются нам, машут руками на прощанье. Красавица Геня плачет — уезжает ее Болек вместе со своим аккордеоном.

— Застегни пальто! — кричит она, ему.

Застенчивый Павел последним влюбленным взглядом ласкает стоящую рядом со мною Зюту. Идет Вацек. Как сквозь, туман, вижу синее пальто, очки и сжатые губы… Бросаю из окна наушники.

— Надевай, иначе, замерзнешь, — говорю я с деланным спокойствием.

Вацек хватает на лету наушники, снимает фуражку и кланяется.

— Если я не вернусь, постарайся отыскать мою маму… Скажи ей, что мне здесь было хорошо.

Пятерки трогаются с места, — на этот раз бесповоротно. Неля плачет.

— Только ты не плачь, — просит она меня, — ведь здесь мог быть и мой сын.

Геня выбегает из барака. Я тоже. Геня кричит вслед Болеку:

— Запомни мой адрес — Быдгощ…

Кричу и я Вацеку:

— Не забудь мой адрес — Лодзь.

Вацек улыбается.

— Держись! — кричит он.

Слышу вблизи чей-то издевательский смех. Это гауптшарфюрер, пьяный, как всегда, смеется над нами во всю глотку.

Наши исчезают из виду. Еще долго тянутся ряды полосатых халатов. Из последней пятерки к нам поворачивает лицо молодой парень. Светло улыбаясь, он кричит нам:

— До встречи на свободе!

Стало совсем пусто и тихо. Заканчиваем список последнего, тринадцатого транспорта женщин. В данный момент в лагере осталось десять тысяч женщин. Переписывая их, мы все время думаем, что принесет им эта пересылка в Флоссенбург, Берген-Бельзен, Равенсбрюк, Бухенвальд… Мы пока не подлежим эвакуации, и нас снова охватывают сомнения.

Снова ползет слух: «Тех, кто остался, уничтожат».

Продолжается разборка крематориев. И вдруг приезжают из Ченстохова заключенные. Они рассказывают, как поспешно эвакуировали тюрьму. Вывезли всех до единого…

Вслед за этими прибывают заключенные из других окрестных тюрем. Отсидевшие свой срок и подследственные, а также схваченные в облавах, совсем случайные, задержанные на одну ночь. Похоже на то, что эвакуация поголовная.

Приезжают еврейки, работавшие на военных заводах в Пёнках, в Плошове. Их отправили в лагерь. Все они, впрочем, молодые и здоровые. Занимают освободившиеся места. Лагерь снова заполняется. Продовольственных посылок приходит все меньше. Пайки все такие же. Опять начинается страшный голод. Лагерный хлеб с маргарином, хлеб, которого всегда мало.

Глава 3
Последнее рождество

Наступает рождество. Последнее рождество в Освенциме, это мы знаем. Мы уже заранее припасли из посылок яблоки и конфеты. Получаем из кухни капусту и картофель. Надеваем платья, приготовленные для этого дня, и ставим столы полукругом. Шеф дал разрешение веселиться всю ночь. Сейчас нам позволяют все, о чем бы мы ни просили. Даже привезли елку. Бедарф, который вдруг стал по-человечески обращаться; к нам, даже улыбнулся однажды. Но вот он приказывает проходящему еврею вынести из машины елку. Еврей что-то отвечает и отходит.

Через несколько минут раздаются крики, шум. Заглядываю через щель в кабинет шефа. Бедарф бьет еврея по лицу, приговаривая: «Проклятый жид, проклятый жид!»

Избиваемый стоит на коленях. Из носа, и ушей течет кровь. Он стонет, старается что-то сказать, но Бедарф, не слушая, бьет его ногой со все возрастающим бешенством. Вурм и «Кривой» стоят рядом. Держа руки в карманах, Вурм взглядом одобряет поведение Бедарфа. Наконец, дав последний пинок, Бедарф в изнеможении падает в кресло, избитый человек с трудом подымается и, шатаясь, выходит. «Кривой» догоняет его и, со смехом, наносит ему еще один удар.

Дело было, оказывается, так. Еврей ответил Бедарфу, что не может отнести елку, так как его вызвал гауптшарфюрер и он должен немедленно к нему явиться. Бедарф разрешил ему идти к гауптшарфюреру, но затем вернуться. Вот он и вернулся…

Зося получила письмо из дому. В него вложена фотография ее сестры, которую Зося не видела три года. Ставим снимок на праздничный стол. Каждая вытаскивает карточки своих близких и тоже ставит на стол.

Как же отличается этот сочельник от прошлогоднего! Как удивляли меня санитарки в ревире, что они умели отгородиться от окружающей их смерти, что у них было праздничное настроение, что они принарядились и как бы помолодели.

Гляжу на подруг. Все сегодня очень красивые. Глаза блестят, все говорят и держат себя как на свободе. А вокруг по-прежнему голод, грязные нары и дрожащие от холода полосатые халаты.

Стараюсь не думать об этом. Смотрю на елку. Она великолепна. На макушке — звезда, на ветках — горящие свечи. Но это только в нашем бараке такая елка и такой сочельник.

Отгоняю воспоминания, но они возвращаются снова и снова.

Как умоляла я Эльжуню тогда, в ревире, чтобы она принесла «напиться» — хоть немного снегу. Эльжуня объяснила, что снег возле барака грязный, что всюду трупы, но я твердила: «Выбери чистое местечко между трупами».

Свет погашен, Ирена становится перед зажженной елкой и читает мои стихи:

Солнышко светит,
птички порхают,
играют дети,
цветы срывают.

Жизнь так прекрасна,
полна богатства,
никто не хочет
с нею расстаться.

Дорогой дальней,
лесом, оврагом
проходят люди
усталым шагом.

Все эти люди давно в дороге,
устали спины, разбиты ноги.
Свои пожитки несут с собою,
бремя всей жизни, все прожитое.

Плетутся рядом, держась за полы,
дети, которых лишили школы.
Спокойна местность, но знают люди
что где-то битва, ревут орудья.

Младших забрали
в первом отборе,
а кто постарше —
в профилакторий.

Тот, кто умеет, прочтет таблицу,
ее воткнули прямо в пшеницу.
И так спокойно, вдаль, друг за другом,
они шагают лесом и лугом,

в немом восторге глядят повсюду,
как будто верят такому чуду,

что тут на смену годам мученья
придет к ним радость и возрожденье.

Вдруг стали, смотрят застывшим взглядом
над рощей пламя… Пахнуло смрадом.
Окаменели… Что это, боже?
Прошел от страха мороз по коже.

Тут крикнул кто-то:
«Стойте, ни шагу,
людей сжигают
здесь, как бумагу!»…

Но подошел тут
патруль солдатский
и человек с ним
в одежде штатской,
с виду приятный,
глядит не хмуро:
«Верьте! Ведь мы же
несем культуру.

Людям, живущим в двадцатом веке,
можно ль так думать о человеке?
Можно ли бросить живых в могилу,
употребляя так гнусно силу?
Кто же поверит в такие басни?

Вы оглянитесь,
где тут опасность?
Ручей струится,
цветы сияют…
Горят лохмотья,
тряпки сжигают.
А запах этот
вам показался.
Неужто кто-то
тут испугался?»

— Наш страх напрасный, — люди сказали,
смерть ждет нас в тюрьмах или в подвале
в камерах тесных,
где мрак годами,
на эшафоте,

в угрюмой яме.
Он прав, все это нам объясняя,
картина смерти
совсем другая.

Серые стены, везде засовы,
угрюмый сумрак, замки, оковы,
страшная кара за преступленье…
Приговор смертный и исполненье.

Но умереть здесь, среди пшеницы,
где солнце греет, порхают птицы,
за то, за то лишь жизни лишиться,
что ты не немцем посмел родиться?

Кому тут польза от нашей смерти,
детей ли наших?.. Нет, нет, не верьте!
Пойдемте смело! Чего вы стали?
И зашагали…
Мимо посева,
крестьянской хаты,
зеленой руты,
душистой мяты
идут ясным лугом
ручью навстречу.

Летают осы, трубит кузнечик,
слышны удары земного ритма,
земля сияет, солнцем омыта.
За ними тоже евреи, братья,
зондеркоманда… Легко узнать их.

Парни маршируют,
слышно их пенье,
на плечах вязанки —
хворост и поленья.

Что может быть плохого в пенье?
И что опасного в полене?

Кто смотрит
в сомненье?

А для чего машина эта?

То Красного Креста карета.
Нам Красный Крест несет подмогу.
Ушиб, должно быть, кто-то ногу,
ослаб под ношею походной.
Крест этот — знак международный.
Крест этот — помощь, врач, больница,
А вам везде плохое мнится!

Вдруг голос:
— Обманули вас,
в карете этой
возят газ…
Смертельный газ…
Смертельный газ…
Уносит эхо в лес от нас —
и звук погас.

А люди тропкой в полях шагают,
куда — не знают.
Солнышко светит,
птички летают,
играют дети,
цветы срывают.

Идут, а если б не захотели?

Погнали бы силой.
Идут, не зная
ужасной цели.

— Что-то теперь дома? — шепчет Зося.

— Думают о нас, — говорит Бася.

После ужина мы долго поем коляды. Наступает ночь. За окном мелькает силуэт шагающего часового. Наверное, озяб. Неля подымается, подходит к ведру, наполненному праздничным ужином, кладет в миску дымящуюся капусту с картошкой и выносит на улицу часовому. Видим в окно, как он, растроганный, берет миску у Нели и тихо говорит:

— Спасибо.

Неля возвращается на свое место. Пение прекратилось. Мы холодно смотрим на нее. Неля, смутившись, объясняет:

— Ну и что же такого? Несчастный, замерзший человек. Разве он виноват, что в его стране фашизм? Ведь сегодня сочельник.

Никто ей не отвечает.

Входит капо. Говорит, что Янда просила передать нам праздничные пожелания.

Праздник подходит к концу. Можем еще спеть что-нибудь.

Зютка начинает, мы подхватываем:

Смело, Польша, сбрось оковы!..

В дверях появляется улыбающийся шеф — слегка пьяный. Держась за руки, мы продолжаем:

Эй, поляк, примкни штыки…

Шеф хмурится, мелодия его пугает. Но тут же он успокаивается — по-польски ведь он не понимает. А если и догадывается о содержании, предпочитает, очевидно, сегодня не придираться.

Мы возвращаемся в блок. Снег скрипит под ногами, искрится в серебристом свете луны. Ночь тиха, только издали доносится слабый стон. Может быть, это стонет избитый Бедарфом еврей?.;

К зауне подъехала машина. Из нее выскочили два эсэсовца. Быстро достали из кузова какой-то прибор и огромный ящик. Как ни всматриваюсь, ничего не могу разобрать. Нас охватило беспокойство. Что это за прибор, что они собираются делать?

Прибегает, запыхавшись, смеющаяся Ирка.

— Привезли кино!..

— Для кого?

— Для нас.

В самом деле, в зауне нам показали фильм о коварных методах «агентов Советского Союза» в нейтральных странах и о «невинных» гитлеровцах, втянутых в бесчестное сотрудничество во вред собственной стране. «Бедные» благородные «жертвы» с ангельскими лицами защищались в фильме от «щупальцев мрачных большевистских агентов». А в зауне сидели «бедные» эсэсовцы — еще недавно они были господами положения, — производили «селекцию» бесчисленного множества людей, уничтожали миллионы невинных советских военнопленных, а теперь… Теперь эти «бедные» эсэсовцы, кажется, поняли, как глупо, как бесцельно показывать подобный фильм тем, кто ожидает прихода Красной Армии, вот-вот она принесет с собой освобождение. Здесь, где на наших глазах они сожгли сотни тысяч людей, после стольких лет страданий, когда все в нас

дышит ненавистью и сердца бьются жаждой возмездия, — здесь они осмеливаются показывать свой пропагандистский антисоветский фильм!..

В начале января солнце уже начало пригревать сильнее и горы отчетливо вырисовываются на светлой лазури неба. Приближается решительный день. Крематории в Бжезинках сравняли с землей. Только еще в Освенциме торчала труба последнего крематория. Потребность в одном крематории всегда можно объяснить: надо сжигать трупы умерших естественной смертью.

Странно ходить по чистой, застланной белым покровом земле. Мороз щиплет щеки, снег так весело скрипит, но можно ли забыть о том, что под ногами пепел миллионов сожженных? Пепел прелестной итальянской девочки с лицом мадонны, польских, венгерских, французских, голландских и цыганских детей. Каждый шаг по этой земле восстанавливает в памяти «шествие смерти». Перед мысленным взором возникает то чья-нибудь печальная улыбка, то расширенный ужасом взгляд, то чей-нибудь умоляющий жест, чей-то последний стон, последний душераздирающий крик.

Здесь пепел моей самой любимой, самой дорогой Зосеньки, пепел Гани, Янки, Наты и многих других девушек из Павяка.

Время прокатилось, будто колесо пыток, и раздавило, сделало нечувствительными наши сердца, стерло даже воспоминания.

Идешь под солнцем по их пеплу, по занесенным снегом следам чудовищнейшего преступления… Идешь… и словно здесь никогда ничего и не происходило. Солнце весело освещает белые поля, и даже во мне сейчас, когда я прохожу здесь, шевелится сомнение: действительно ли все «это» происходило?

А что же говорить о тех, кто придет сюда после нас?

5 января нам удалось подслушать сводку немецкого верховного командования: «Давно предвиденное наступление советских войск началось по всему фронту».

Наконец-то! Значит, наши спасители опять двинулись вперед, значит, могут прийти сюда через несколько дней. Мы высчитывали, сколько времени потребуется им, чтобы подойти к Освенциму… Самое большое неделя. Через неделю решится наша судьба! Наконец-то! Наконец они приближаются!

— У меня такое предчувствие, — говорит Зютка, — что те, кому удалось до сих пор продержаться, будут спасены. Только я не могу представить себе, как это будет на свободе… Прошло

столько лет…

Зютка задумывается. Знаю о чем. Она старается охватить мыслью весь период заключений. Переворошить в памяти пять лет блуждания по тюрьмам и концентрационным лагерям. Здесь умерла ее мать. Эти пять лет страданий оставили печать на ее лице. В скорбных ее глазах никогда не исчезает тоска. Вместе с надеждой на приближение свободы появляется и страх. Найдем ли мы себе место в жизни, что будет с нами в новом месте, куда нас забросят обстоятельства? Без дома, без родных.

Зютка чувствует себя одинокой, она испытывает страх перед жизнью.

— Боюсь, что именно теперь у меня уже не хватит мужества.

Я прерываю ее.

— Не говори так. Ты проявила столько твердости в эти страшные годы, зачем же отгонять от себя радость, которую несет свобода? Скорее бы она пришла к нам! За проволокой ты снова найдешь себя, будешь знать, что тебе следует делать, вернется желание жить, найдется и цель.

Входим в мужской лагерь. Время вечернего апеля. Мы должны переждать его. Чувствуем, что это необычный апель. Ряды замерли в молчании. На пустой площади мы замечаем виселицу и на ней четырех женщин.

Четыре польские еврейки, работающие на фабрике боеприпасов «Юнион Верке», находящейся на территории лагеря, сознались, что это они передали взрывчатку восставшим зондеркомандам для взрыва крематория. Их повесили здесь, сейчас, во время апеля, чтобы это всем послужило уроком.

Перед смертью женщины крикнули: «Да здравствует свободная Польша!.. Смерть убийцам!..»

Смерть убийцам!

— Да, они этого не дождались… А ведь свобода может прийти через час, — говорит Зютка и умолкает, подавленная.

Мы вернулись в Бжезинки. Там еще продолжалось радостное возбуждение. Бася выбежала нам навстречу.

— Знаете, что они еще придумали? — кричит она. — Нас поведут в «театр»!..

— О чем ты говоришь? — спрашивает Зютка. Настроение Баси ей непонятно. Перед ее глазами все еще стоит картина казни.

— Я говорю, что мы пойдем в театр. Представление будет происходить в зауне. Выступают женщины и мужчины из «Канады».

— Не пойду, — говорит Зютка и смотрит на меня.

— Не пойду, — повторяю и я. — Нельзя после виселицы

смотреть представление.

Но нас заставили пойти в театр.

В зауне расставили скамьи и сколотили подмостки.

Мы рассаживаемся, гаснет свет, раздвигается занавес.

Первый номер программы — танец. Греческая танцовщица изгибается в восточном танце «Табу», тело ее молодо и красиво. Теплые глаза Ольги смотрят на нас. Как зачарованные, глядим на танцовщицу, на ритмичные движения тела в зеленом облаке тюля. Ольга почти обнажена, глаза эсэсовцев в зале с вожделением впиваются в нее. Но вся она поистине «табу». Неуловимая, недоступная, гордая и далекая, она красотой своего танца подымается над всем ничтожным и преступным. Совсем забываю, где я, кто я… Ольга извивается все стремительнее…

Оборачиваюсь и бросаю взгляд на стоящего вблизи гауптшарфюрера. На его лице явный восторг.

Перед нашими глазами проходят разные номера. Представление окончилось. Взволнованные, Мы идем в блок. Вместе с нами возвращается Ольга. Вдруг она зарыдала.

— Что с тобой, Ольга? — спрашиваю я.

— Мою единственную подругу, — говорит Ольга, — сегодня отправили с транспортом. У меня больше никого нет на свете, нигде никого… Меня разлучили и с ней, а потом еще велели танцевать… Как могла я сегодня танцевать?!

— Не плачь, Ольга… Ты танцевала прекрасно. Это было изумительное зрелище, твой танец мы не забудем. Не терзай себя, может быть, все мы скоро будем свободны. Сегодня я видела четырех повешенных женщин. А мы живем. Ты живешь. Не плачь… Будешь жить, встретишь свою подругу…

Я говорила и говорила, как в бреду. Жажда свободы охватила меня вдруг с невероятной силой. В эту минуту я верила в нее, и моя вера передалась Ольге. Она крепко обняла меня и прошептала горячо, страстно, умоляюще:

— Жить!.. Жить!..

Глава 4
Конец Освенциму

На другой день у евреек из «Канады» брали кровь для переливания. Вежливо, «прилично». Людка отказалась.

— Пусть лучше сразу убьют. Возьмут всю кровь, а потом прикончат.

Лагерный врач очень удивился, когда она отказалась.

— Как это так, не желаешь дать кровь солдатам рейха?

— Нет никаких границ их садизму, — говорила мне после Людка. — Я должна, оказывается, дать кровь раненому солдату высшей расы, солдату господствующей расы, поработившей другие народы, — я, презренная, растоптанная еврейка, существо низшей расы. И они смеют это называть жертвовать кровью для «родины»… И еще делают вид, что не понимают, почему я отказываюсь…

Ежедневно мы узнавали из сводок о новых освобожденных городах. Ежедневно в лагерь приходили все новые распоряжения.

Комендант лагеря произнес речь, из которой мы узнали, что «Германия истекает кровью, что временно положение очень тяжелое, но новое оружие уже почти готово, и рейх возродится еще более могущественным, еще более великолепным». Он обратился к евреям и сказал, что доволен их работой. Они будут премированы, и вместо звезды на рукавах им нашьют винкель: красный треугольник, с маленькой, незаметной полоской вверху, совсем не выделяющейся на белом полотне номерка. Это необычайное изменение в самой важной лагерной эмблеме, пожалуй, больше, чем что-нибудь другое говорило о их близком конце.

Машина с посылками появлялась все реже. И наконец пришло сообщение, что почта Освенцима больше не принимает посылок. Как раз в этот день я получила последнюю большую посылку от своего самого верного, любимого друга. В ней были лимоны.

— Ну умница этот Болек, всегда что-нибудь такое придумает! — сказала с восторгом Бася. — Как это приятно перед смертью съесть лимон.

Теперь, когда решение уже висело в воздухе, прекратились дискуссии на тему: «Что с нами сделают». Все пришли к выводу, что «все равно не угадать».

17 января мы узнали, что освобожден Краков. Оказывается, истинное положение всегда можно почувствовать. Никто теперь и не думал, что это «сплетня», «преувеличение». Уже доносилось до

лагеря эхо отдаленных взрывов, отголоски так горячо и долго ожидаемого наступления. Вечером, ложась в постель, Неля заявила:

— Сегодня я не раздеваюсь, что будет, то будет, но какое это счастье, что наступит какой-то конец!

— Если тебе хочется непременно погибнуть в платье, — невозмутимо сказала Бася, — пожалуйста, это твое личное дело. Я раздеваюсь, мне все равно, в каком наряде это со мной произойдет.

— Довольно этих ваших глупых шуток, — возражали другие, — в такую серьезную минуту…

До поздней ночи в жилом блоке шел спор: раздеваться или не раздеваться…

Я решила раздеться. Сложила вещи так, чтобы можно было быстро отыскать их в темноте.

Но сон не шел к нам. Нервы у всех напряжены до предела. Иренка откуда-то узнала, что получен приказ Освенциму эвакуироваться пешком. Мы не поверили. «Какая чушь! Не могут же вдоль линии фронта гнать шестьдесят тысяч человек. Либо прикончат нас, либо оставят живыми, а сами убегут». С каждой минутой все убедительнее казались только эти два выхода.

Наконец я уснула, измученная гаданиями.

Вдруг раздался стук в окно. Я вскочила с бьющимся сердцем. Все другие уже проснулись и тоже прислушивались.

— Мария!..

Это голос Вурма. Мария подбегает к окну.

Ловим каждое слово. Вурм медленно, с нарочитым спокойствием говорит:

— Возьми, Мария, десять девушек и приходи с ними в канцелярию. Надо понемногу приготовиться.

На слове «понемногу» он сделал ударение, давая нам понять, что нет никаких оснований для паники, — а, может, подбадривал самого себя.

Нам не надо повторять два раза. Он еще не окончил, а мы уже стояли готовые к выходу. Нас оказалось больше десяти. Мария, пошутила: «Встаете совсем как для приема: цугангов».

С этой минуты началась горячка.

Мне и Ванде поручено складывать в сундуки имущество женщин.

— Ни одна из владелиц этих вещей уже ее получит их, — говорит Ванда. — Все это отправляется в лагерь в Гросс-Розен, наверное, и нас отправят туда же.

«Канада» уже давно не работает по ночам. Ночная смена теперь не нужна. В лагере тихо, мягко, бело. Идем молча между

бараками, оставляя свежие следы на снегу.

Кладовщик открывает седьмой барак «Канады». Этот барак заполнен мехами.

— Мы за чемоданами…

— Возьмите себе меха, — говорит он. — Меня это теперь не интересует. Хорошо они меня обвели вокруг пальца.

Я смотрю, не скрывая презрения, на его эсэсовский мундир и спрашиваю:,

— Кто это «они»?

— Ну эти, немцы. Что у меня с ними общего? Насильно меня сюда взяли и теперь думают, что я дам себя зарезать. Не такой я дурак. Уеду сопровождающим с этим транспортом золота, который вы готовите. Меня живым не возьмут. Пусть Вурм сидит тут до конца и следит… или гауптшарфюрер. Этот хитер. Все приготовил себе для бегства, а меня думает здесь оставить. Черт бы побрал этих большевиков и их наступление! Кто бы мог предположить, что это пойдет так быстро!

— Ну, вряд ли они уже так близко, — подзадоривает его Зютка, вызывая на откровенность, — быть этого не может.

— Не близко? — злобно кричит кладовщик. — Они уже вот, у нас под носом… А эти, — он тычет пальцем в сторону комнаты Хана, — велят мне сидеть здесь!

— Нам не нужны меха, — говорю я. — Если можно, мы возьмем себе только рюкзаки. Не знаете случайно, что собираются делать с нами?

— Они и сами понятия не имеют. Но я вам завидую!

Неописуемая радость заливает мне сердце. Этот гитлеровский холуй завидует мне! Сейчас он еще может одним мановением руки «ликвидировать» меня, но не делает этого только потому, что перед лицом собственной опасности это уже не доставляет ему удовольствия. Одной меньше или больше, — стоит ли трудиться, когда речь идет о его «драгоценной» жизни! Ему теперь хочется излить перед кем-нибудь душу. «Они» его обижают, каждый из «них» думает только о себе и трясется от страха. В эти последние часы он вдруг ищет в нас сообщников. Он вспомнил, что он родом из Словакии. Сам чувствует, как это смешно и глупо, но болтает об этом, знает, что мы не осмелимся возражать, ведь он тут еще господин.

Я не могу отказать себе в удовольствии — поиздеваться над ним. Говорю очень серьезно:

— Что же вам грозит, если вы даже и останетесь? Никто вас не тронет. За что же?

Зютка сильно щиплет меня, чтобы я не перестаралась. Однако сама добавляет:

— Правда, за что?

Кладовщик на минуту глупеет. Смотрит на нас дружелюбно и сам уже готов поверить, что он никогда ничего плохого не делал.

— Ну, дей-стви-тельно, — заикается он, — собственно говоря, за что?

Всю ночь старательно, согласно номерам, упаковываем в сундуки и чемоданы учетные карточки живых, паспорта, фотографии. Ликвидируем личный отдел.

В десять часов утра девушки едут на платформу, чтобы погрузить сундуки в вагоны. Через полчаса возвращаются, Геня кричит из машины:

— Первые пешие транспорты хефтлингов вышли из лагеря. Мы видели собственными глазами.

Итак — началось…

В последний раз обедаем в бараке у Зоей. С аппетитом уплетаем клецки. Барак наполовину еще наполнен мешками. Некоторое количество их удалось погрузить в поезд, но мы знаем, что они уже не дойдут до места назначения.

Через каждые полчаса слушаем сводку.

Выходит лагерь В. Выходит участок С. Выходит Райско.

Ждем и мы с минуты на минуту приказа о выступлении. Зося сложила в рюкзак все запасы, спрятанные нами на черный день. Лихорадочно тороплюсь уложить в рюкзак необходимые вещи. Никто из нас никак не может представить себе, что нас могут отправить в другой концлагерь. Прекрасный солнечный день и унылые лица эсэсовцев настраивают совсем на другой лад.

— Либо нас отобьют, либо я убегу, — решительно заявляю я. — Рюкзак беру на случай, если отобьют.

Девушки считают, что это правильно. Чувствую небывалый прилив энергии.

Вдруг близкий взрыв раздирает воздух. Выбегаем из барака.

«Они уже здесь!» — забилось радостно сердце.

Проходящий мимо хефтлинг разъясняет:

— Увы, рано еще радоваться — это взрывают фундаменты крематориев.

Под канонаду глухих взрывов продолжаем укладывать продовольствие в рюкзаки. Насколько мы счастливее и сейчас по сравнению с другими женщинами лагеря: у нас есть сапоги, мы тепло одеты. А многие тысячи несчастных выйдут в полосатых халатах, босиком!

Наконец, в половине четвертого, мы тронулись в путь. Покидаю Бжезинки со странным чувством. Что бы с нами ни случилось, это проклятое место перестанет существовать. Сюда не

приедет уже ни один транспорт «в печь». Не будут прыгать «лягушки», не будут выстаивать на коленях, здесь не будут избивать, и я не услышу больше стонов истязуемых. Окончились бесконечные апели, окончились драки из-за ложки мороженой брюквы, из-за обглоданной конской кости. Конец селекциям, конец грабежу ценностей, не будет больше запаха, трупов, крови. Конец Освенциму!

Ирена, согнувшись под тяжестью рюкзака, с порозовевшими щеками и блестящими от волнения глазами, смотрит на то место, где еще недавно стоял крематорий.

— Придет время, и здесь вырастет трава, — говорит она задумчиво.

Взволнованные значительностью того, что происходит, мы выходим из ворот лагеря. Мы не чувствуем тяжести рюкзаков, и ни одна из нас не думает о том, куда ведет эта дорога. Шагаем легко, ровно, ноги сами несут нас вперед, — только бы подальше от Бжезинок. Не обращаем никакого внимания на часовых, из груди у нас вырывается лагерный марш о свободе:

Настал освобожденья день
И радость улыбнулась нам.
Не будешь впредь бродить, как тень,
По Лагерштрассе в Биркенау.
Колодки сбрось, халат — долой!
Нет больше ноши на плечах.
Счастливая, вернись домой
С свободной песней на устах!

Оборачиваюсь назад и в последний раз охватываю взглядом картину, которая врезалась мне в память навеки. Между бараками еще мелькает фигура Вурма.

Зауна, площадь апелей, бараки женские, мужские, вытоптанная дорожка в третий и четвертый крематорий, там, в глубине леса, Бжезинки, а вокруг проволока. Над проволокой «ласточки». В будках теперь уже пусто. Под охраной часовых, которым уже некого стеречь, продолжаем петь:

Сгинь, Освенцим, место мрака,
Биркенау страшный, прочь,
Пусть в пустых твоих бараках
Воет ветер день и ночь…

На всех участках лагеря жгут бумагу. Перед

блокфюрерштубой эсэсовцы подбрасывают в пылающие костры документы, письма умерших, — уничтожают все, что свидетельствовало бы о правде. Сегодня нас на этом вот месте не будут обыскивать. Чем больше мы унесем с собой, тем лучше: перенесем в следующий лагерь. Там устроят санобработку и все отберут. О, мы уже съели собаку на этом. Но я не дам себя обмануть. В новый лагерь я добровольно не отправлюсь… Если не убьют меня, тогда только — побег.

С каждого участка к нам присоединяются новые группы эвакуируемых. Рядам пятерок не видно конца. Минуем женский лагерь. У ворот стоит эсэсовец Хустек. У нас сжимаются кулаки.

Пересекаем город Освенцим. На повороте, когда мы сходим с моста, я вижу, как длинной вереницей вьется шествие хефтлингов. На вокзале гудки паровозов. А мы идем как во сне. Из Освенцима стремительно эвакуируются и эсэсовцы: на машины торопливо грузят детей, чемоданы и перины. «Они бегут, — радуется сердце. — Бегут в неизвестность, совсем рядом с линией фронта. Наконец-то! Легче идти вперед, когда это видишь».

На пятом километре я сбрасываю с плеч рюкзак. Бася смеется надо мной:

— Уже устала?

— Лучше сбросить сейчас, чем на двадцатом километре. А впрочем, я все равно сбегу.

За каждой третьей пятеркой с двух сторон — часовой с собакой. Огромные дрессированные волкодавы обдают ноги горячим дыханием, не давая и думать о бегстве.

Из лагеря вышло шестьдесят тысяч человек. Из них тридцать пять тысяч мужчин с участка Буна-Верке (фабрика боеприпасов). В конце каждой четырехтысячной колонны — сани, запряженные собаками. На санях пулемет и фернихтунгскоманда. Вокруг нас — собаки.

Обращаюсь к идущему рядом со мной часовому, не знает ли он, как далек наш путь. Он отвечает: триста километров. А когда первая остановка?

— Не знаю, наверное, ночью.

— А если отойти в сторону? — продолжаю спрашивать.

— Получишь прикладом по голове.

— Прикладом? — удивляюсь я.

— А что, стрелять в вас? Жалко патронов.

Радостное настроение, охватившее при выходе, исчезает бесследно. Снова возвращается отчаяние. С трудом передвигаю ноги, в голове звенит: триста километров, триста километров. Прошли каких-нибудь семь километров, а в ушах шум, в глазах темно.

По обеим сторонам дороги — покрытые снегом поля. Никаких следов человеческого жилья. Бася, Зося и я держимся вместе. Пятерки, уже давно распались. Идем бесформенной массой, подгоняемые конвоем. «Вперед… Вперед… Живее, свиньи!»

Все чаще, все громче стоны вокруг. Кто-то отстает, смешивается с другой группой. Раздаются первые выстрелы. Звонки на санях вызванивают песню смерти.

На дворе темнеет, темнеет и у нас в мозгу. Все становится непереносимо трудным. Каждый шаг причиняет боль, стоит мучительных усилий. А в голове стучит: «Триста километров, первый привал ночью!.. Прошли только десять километров, а кажется, что я иду целый год… Триста километров, прикладом по голове, триста километров. А если даже дойду… Снова апели… снова голод и вши…»

Нет! Знаю, что не дойду…

Минуем незнакомую деревню. На дороге какая-то парочка. Держатся под руку. Она в меховой шубе, улыбается ему. Если бы так вот взять да и повернуть — и за ними…

Вздор! Крест на спине, номер, документов нет…

Уже совсем стемнело. Наталкиваемся на первые трупы. А идти становится все труднее.

— Послушай, Кристя, — говорит Неля, — если тебе удастся выжить, разыщи моего сына, скажи ему…

— Знаю, что сказать. Ты тоже знаешь, что сказать моей матери, сестре… Болеку… Адрес помнишь?

Неля повторяет адрес.

— Только я думаю, что ни одна из нас не выдержит этого похода.

Молчу. Нет сил для разговора. Состояние такое, словно во мне все оборвалось. Руки свисают, как плети, тяжелые, как свинец. Дикая жажда жжет душу. Дыхание прерывается, сердце стучит толчками. Ничего уже не поникаю, что говорят рядом со мной. Сквозь туман слышу голос Баси:

— Кристя, я больше не могу… не могу идти…

— Вперед!.. Шагать! — орет часовой над ухом.

Женщину рядом со мной он стукнул прикладом по голове, она падает в снег..

Волочу ноги дальше. Вокруг голые поля. Бася уже выбросила все из рюкзака. Дорога покрыта сапогами, свитерами, одеялами, пальто. Шагаем по ним. Ничто уже неважно. Ни о чем не помним. Только о том, как бы сделать еще один шаг, еще несколько шагов. Хотя бы километр. Ради тебя, мама, потому что ты ждешь и страдаешь. Может быть, именно на этом километре отобьют нас.

Упасть теперь — на последнем этапе страданий? Нет, нельзя. Еще шаг… Еще километр.

Вдруг в поле зрения мелькнула опрокинутая на дороге телега с сеном. Молниеносно принимаю решение. Часовой как раз в эту минуту прошел вперед. Я оглянулась: следующий был еще шагах в десяти от меня.

— Вот… — схватила я Зосю за руку. — Сейчас. И вы тоже! — добавила я повелительно, стараясь внушить волю к действию.

Мгновение — и я присела, упала на сено. В ту же минуту Зося накинула на меня охапку сена. Прошла дальше.

Непередаваемое никакими словами блаженство. Я лежу. Я не должна идти. Теперь можно и умереть. Через минуту меня ударят по голове. Но это ничего. Самое важное, что я могу не идти.

В следующую минуту стараюсь собрать спутанные мысли. Приближавшийся часовой прошел, это значит, он не заметил. Собака не остановилась. Но ведь еще столько собак позади! Сердце бьется все сильнее!.. Тело отдыхает, мышцы расслабляются, и только сердце бьется все сильнее… Впадаю как бы в полусон…

А колонна проходит мимо меня…

Кажется, что я лежу уже час. И вдруг Слышу голос Баси:

— Кристя, здесь выслеживают, иду дальше.

Губы мои шепчут беззвучно:

— Счастливого пути, Бася.

Идут и идут беспрерывно… Женские голоса, окрики часовых. Сани проскальзывают совсем рядом со мной… проехали… Дышу… значит еще живу… Но уже приближаются мужчины… Слышу голоса:

— Здесь… спрячемся здесь.

Лучше не прислушиваться. Все равно конец придет с минуты на минуту. Если не выследит собака, то как только здесь спрячется еще кто-нибудь, нас заметят, убьют и его и меня.

Но говорившие почему-то не спрятались в сено. Прошли. Снова со звоном проехали сани. Снова женщины, их усталые, полные отчаяния голоса… «Я больна… Не могу дальше». Слова страдания на всех языках… И все покрывает один и тот же крик: «Вперед! Вперед!..»

В нос, в глаза набилось сено. Лежу навзничь, голова запрокинута. Во рту кисло. Ежеминутно теряю сознание. Вдруг кто-то садится на сено. Садится прямо на меня. «Ох», — слышу я.

— Слезай отсюда! — вырывается у меня.

Сидевшая испуганно вскочила.

И предостерегает подругу:

— Не садись… там наделано…

Несмотря на все, улыбаюсь. Спасибо ей. Этой спасающей меня женщине…

— Вперед! Вперед! Ага, ты думала спрятаться здесь. — слышу я ненавистные слова.

Кого-то толкают, борьба, крики. О, боже!

Проходят дальше.

Меня еще не нашли. Чувствую озноб, лежать становится все неудобнее. Как долго я лежу?.. Пять минут, час, может быть, уже целую ночь?

Теперь на голову мне садится часовой. Отчетливо слышу, как роется в сене собака, ее дыхание совсем у моего лица. Теперь уже ничто не поможет!

Часовой, сидящий на мне, очевидно обращаясь к другому, говорит злобно:

— Проклятые свиньи, проклятая дорога!..

Они долго разговаривают. Я почти обезумела. Вдруг часовой поднимается. Вот он мой конец: меня проколют штыком!..

И однако я продолжаю жить… Возможно ли это? Тело мое одеревенело. Не чувствую ног, рук. Пробую шевельнуться и не могу. Сердце стучит громко, тяжко… Если бы его придержать. Но руки распростерты, я не могу Их поднять… Все еще идут и идут мимо меня…

Кто-то падает рядом со мной, разрывает сено. Раздается выстрел. Та, что хотела здесь спрятаться, испускает последний вздох.

Где прошла пуля? Может, через меня, а я ее не чувствую? Все это думается в полусне… Где-то шевелится мысль: «Лежу так долго, и не нашли». Мелькает надежда… А может быть…

Минута тишины. Надо выглянуть. Шевелю пальцами, расправляю руки, сгибаю их. Вдруг доносится грохот колес.

Телега останавливается возле меня.

Кто-то говорит по-немецки: «Иди сюда!» Бряцание ведер… Чья-то рука сгребает шелестящее сено. Теперь-то уж меня обнаружат, но это, наверное, солдаты вермахта. Может быть, и не убьют… Они за лагерных не отвечают. Складываю в уме и твержу немецкую фразу, чтобы выговорить ее одним духом, когда сгребут с меня сено. «Не трогайте меня, вы за меня не в ответе, прошу вас, не трогайте меня!»

Звон ведер стихает. Телега трогается.

Теперь встану. Возможно, что в двух шагах отсюда стоит солдат. Но больше уже не могу лежать.

Высовываю из сена голову. Вокруг тихо. Стремительно вскакиваю и вдруг замечаю на шоссе двух штатских.

— Поляки?

Один из штатских перекрестился при виде призрака, вылезшего из сена.

— Д… да, — заикается он.

— Где тут поблизости польская деревня?

Он указывает мне рукой направление.

— Там. Три километра от шоссе.

Увязая в глубоком снегу, бегу прямиком через поле, с большим трудом вытаскиваю ноги, спотыкаюсь и на бегу слышу, как по шоссе приближается следующий транспорт. Мчусь как безумная все дальше от дороги, но снова и снова долетают до меня голоса толпы, выстрелы и звон колокольчиков на санях.

Срываю номерок с пальто. Оглядываюсь. Могу наконец остановиться. Теперь меня уже не заметят.

Еще несколько шагов. Передо мной лежит спящая деревня. Вокруг меня нет проволоки. Крестьянский двор, забор, безбрежная тишина. Звон на дороге удаляется. Маленькая смешная дворняжка на цепи забавно лает.

Все во мне кричит безумной, безмерной радостью!

Я свободна! Я свободна! Буду жить!